

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке TheLib.Ru](http://TheLib.Ru)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

[Другие книги серии «Сага о Форсайтах»](#)

Приятного чтения!

БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА

Все вперед, все вперед,

Отступления нет,

Победа или смерть.

Гэй

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. ПРОГУЛКА

В этот памятный день середины октября 1922 года сэра Лоренса Монт, девятый баронет, вышел из «Клуба шутников», как прозвал его Джордж Форсайт в конце восьмидесятых годов, спустился по ступеням, стертым ногами приверженцев существующего порядка вещей, повел своим острым носом по ветру и быстро засеменил тонкими ногами. Занимаясь политикой скорей по долгу высокого рождения, чем по призванию, он смотрел на переворот, вернувший к власти его партию, с беспристрастностью, не лишённой юмора. Проходя мимо клуба «Смена», он подумал: «Да, им теперь придется попотеть! Пусть посидят без сладкого для разнообразия»!

Командоры и короли удалились из «Клуба шутников» еще до вступления туда сэра Лоренса; он-то не принадлежит к этим крохоборам, которым теперь дали отставку, нет, сэр! Он не из тех людей, что отмахнулись от земельной проблемы, как только кончилась война, — бррр! Однако целый час он слушал отклики на последние события, и его живой и гибкий ум, насквозь пропитанный культурой прошлого и полный скептицизма по отношению к настоящему и ко всем политическим платформам и декларациям, с насмешкой отмечал путаницу патриотических мотивов и забот о личной выгоде, которая осталась после этого знаменательного собрания. Как большинство землевладельцев, он не доверял никаким доктринам. Его единственным политическим убеждением был налог на пшеницу, и, насколько он мог судить, единомышленников у него не осталось; впрочем, он и не думал выставлять свою кандидатуру на выборах, — другими словами, на его принцип не могли покушаться избиратели, которым приходилось платить за хлеб. «Принципы! — думал он, — ведь au fond — это карман!» И, черт побери, когда же люди перестанут притворяться, что это не так! Карман, разумеется, в широком смысле слова, — так сказать, эгоистические интересы каждого как члена определенного общества. А как, черт возьми, это определенное общество английская нация — сможет существовать, если все его поля останутся необработанными, а вражеские аэропланы будут грозить разрушением английским кораблям и докам? В клубе он весь этот час ждал, чтобы хоть раз упомянули о земле. И никто — ни слова! Это, видите ли, не политика! Вот проклятье! Им бы только протирать брюки, чтобы удержаться на своем месте или добиться нового. Какая связь между их брюками и заботой о будущем страны? Никакой, ей-богу! При мысли о будущем страны ему неожиданно пришло в голову, что жена его сына до сих пор, по-видимому, никак этим будущим не озабочена. Два года! Пора им подумать о детях. Опасная привычка — не заводить детей, когда от этого зависят и титул и поместье. Улыбка тронула его губы и лохматые брови, похожие на путаные черные закорючки. Очень мила, удивительно привлекательна! И знает это сама! С кем только она не встречается! Львы и тигры, обезьяны и кошки — ее дом стал просто зверинцем для всяких

больших и маленьких знаменитостей. Есть в этом что-то неестественное. И, глядя на одного из бронзовых британских львов на Трафальгар-скверу, сэра Лоренса подумал: «Скоро она и этого затащит к себе в дом! У нее страсть к коллекционированию. Майклу надо быть начеку — в доме коллекционеров всегда есть чулан для старого хлама, и мужьям легко попасть туда. Да, кстати: я обещал ей китайского посланника. Придется ей, пожалуй, подождать до окончания выборов».

В конце Уайтхолла, под сереющим на востоке небом, на миг появились башни Вестминстера. «Что-то нереальное даже в них, — подумал он. — А Майкл со своими причудами! Впрочем, это модно — социалистические убеждения и богатая жена. Самопожертвование и безопасность! Мир и процветание. Шарлатанское снадобье от всех болезней — десять пилюль на пенни!» Миновав газетную сутолоку Чэринг-Кросса, обезумевшего от политического кризиса, сэра Лоренса повернул налево, к издательству Дэнби и Уинтера, где его сын состоял младшим компаньоном. Новая тема для книги только что зародилась в мозгу, уже подарившем миру «Жизнь Монтроза», «Далекий Китай» — книгу о путешествиях на Восток, и фантастический диалог между тенями Гладстона и Дизраэли, озаглавленный «Дуэт». С каждым шагом, уводившим сэра Лоренса от «Шутников» на восток, его прямая тонкая фигура в пальто с каракулевым воротником и худое лицо с седыми усами и черепаховым моноклем под темной подвижной бровью казались все более редким явлением. Но он стал почти феноменом в этом унылом переулке, где тележки застревали, словно зимние мухи, и люди проходили с книгами под мышкой, будто шли учиться.

Он почти дошел до дверей издательства, когда навстречу ему показались двое молодых людей. Один из них, конечно, его сын; он после женитьбы стал одеваться много лучше и, слава богу, курит сигару вместо этих вечных папиросок. А вот другой — ах да, поэт, любимец Майкла, был у него шафером — идет, закинув голову, велюровая шляпа, и лицо какое тонкое!

— А, Майкл!

— Алло, Барт. Ты знаком с моим родителем, Уилфрид? Это — Уилфрид Дезерт, автор «Медяков». Настоящий поэт, Барт, верно говорю! Непременно прочтите! Мы идем домой. Пойдемте с нами.

Сэр Лоренс повернул.

— Что нового у «Шутников»?

— «Le roi est mort»! Лейбористы уже могут начинать свое вранье, Майкл, — выборы назначены на следующий месяц.

— Барт вырос в те дни, Уилфрид, когда люди еще не имели понятия о Демосе.

— Скажите, мистер Дезерт, а вы-то находите что-нибудь реальное в нынешней политике?

— А разве для нас на свете есть что-нибудь реальное, сэра?

— Да, подоходный налог.

Майкл засмеялся.

— Кроме дворянского звания, нет ничего лучше простодушной веры.

— Предположим, твои друзья придут к власти, Майкл; отчасти это неплохо, они бы выросли немного, а? Но что они смогли бы сделать? Могут ли они воспитать вкус народа? Уничтожить кино? Научить англичан хорошо готовить? Предотвратить угрозу войны со стороны других стран? Заставить нас самих растить свой хлеб? Остановить рост городов? Разве они перевешают изобретателей ядовитых газов? Разве они могут запретить самолетам летать во время войны? Разве они могут ослабить собственнические инстинкты где бы то ни было? Разве они вообще могут что-нибудь сделать, кроме как переменить немного распределение собственности? Политика всякой партии — это только глазурь на торте. Нами управляют изобретатели и человеческая природа; и мы сейчас в тупике, мистер Дезерт.

— Вполне согласен, сэра.

Майкл пыхнул сигарой.

— Оба вы — старые ворчуны!

И, сняв шляпы, они прошли мимо Гробницы .

— Удивительно симптоматично — эта вот вещь, — заметил сэра Лоренс, памятник страху... страху перед всем показным. А боязнь показного...

— Говорите, Барт, говорите, — сказал Майкл.

— Все прекрасное, все великое, все пышное — все исчезло! Ни широкого кругозора, ни великих планов, ни больших убеждений, ни большой религии, ни большого искусства — эстетство в кружках и закоулках, мелкие людишки, мелкие мыслишки.

— А сердце жаждет Байроном, Уилберфорсов, памятника Нельсону. Бедный мой старый Барт! Что ты скажешь, Уилфрид?

— Да, мистер Дезерт, что скажете?

Хмурое лицо Дезерта дрогнуло.

— Наш век — век парадоксов, — проговорил он. — Мы все рвемся на свободу, а единственные крепнущие силы — это социализм и римско-католическая церковь. Мы воображаем, что невероятно многого достигли в искусстве, а единственное достижение в искусстве — это кино. Мы помешаны на мире и ради этого только и делаем, что совершенствуем ядовитые газы.

Сэр Лоренс поглядел сбоку на молодого человека, говорившего с такой горечью.

— А как дела в издательстве, Майкл?

— Что ж, «Медяки» раскупаются, как горячие пирожки, и ваш «Дуэт» тоже пошел. Как вы находите такой новый текст для рекламы: «Дуэт», сочинение сэра Лоренса Монта, баронета. Изысканнейшая беседа двух покойников». Должно подействовать на психологию читателя! Уилфрид предлагал: «Старик и Диззи — по радио из ада». Что вам больше нравится?

Но тут они оказались рядом с полисменом, поднявшим руку перед мордой ломовой лошади, так что ее движение разом остановилось. Моторы автомобилей жужжали впустую, взгляды шоферов вперились в запретное для них пространство, девушка на велосипеде рассеянно оглядывалась, держась за край фургона, на котором боком сидел юноша, свесив ноги в ее сторону. Сэр Лоренс снова поглядел на Дезерта. Тонкое, бледное и смуглое лицо красивое лицо, но какая-то в нем судорожность, как будто нарушен внутренний ритм; в одежде, в манерах — никакой утрировки, но все же чувствуется некоторая вольность; в нем меньше живости, чем в этом веселом повесе, собственном сыне сэра Лоренса, но такая же неустойчивость и, пожалуй, больше скептицизма — впрочем, он, наверно, способен на глубокие переживания! Полисмен опустил руку.

— Вы были на войне, мистер Дезерт?

— О да!

— В авиации?

— И в пехоте — всего понемногу.

— Трудновато для поэта!

— О нет! Поэзией только и можно заниматься, когда тебя в любую минуту может разорвать в клочки или если живешь в Пэтни .

Бровь сэра Лоренса приподнялась.

— Разве?

— Теннисон, Браунинг, Вордсворт, Суинберн — вот кому было раздолье писать: ils vivaient, mais si peu .

— А разве нет третьего благоприятного условия?

— Какого же, сэра?

— Как бы это выразиться... ну, известное умственное возбуждение, связанное с женщиной?

Лицо Дезерта передернулось и словно потемнело.

Майкл открыл французским ключом парадную дверь своего дома.

II. ДОМА

Дом на Саут-сквер, в Вестминстере, где поселились молодые Монты два года назад, после медового месяца, проведенного в Испании, можно было назвать «эмансипированным». Его строил архитектор, который мечтал создать новый дом — абсолютно старинный, и старый дом — абсолютно современный. Поэтому дом не был выдержан в определенном стиле, не отвечал традициям и был свободен от архитектурных предрассудков. Но он с такой необычайной быстротой впитывал колоть столицы, что его стены уже приобрели почтенное сходство со старинными особняками, построенными еще Рэном. Окна и двери были сверху слегка закруглены. Острая крыша мягкого пепельно-розового цвета была почти что датской, и два «премиленьких окошечка» глядели сверху, создавая впечатление, будто там, наверху, живут очень рослые слуги. Комнаты были расположены по обе стороны парадной двери — широкой, обрамленной лавровыми деревьями в черных с золотом кадках. Дом был очень глубок, и лестница, широкая и целомудренно-простая, начиналась в дальнем конце холла, в котором было достаточно места для целой массы шляп, пальто и визитных карточек. В доме было четыре ванных — и никакого подвального помещения, даже погреба. Приобретению этого дома помогло форсайтское чутье на недвижимое имущество. Сомс нашел его для дочери в тот психологический момент, когда пузырь инфляции был проколот и воздух выходил из воздушного шара мировой торговли. Однако Флер немедленно вошла в контакт с архитектором — сам Сомс так и не примирился с этой категорией людей — и решила, что в доме будут только три стиля: китайский, испанский и ее собственный. Комната налево от парадной двери, проходившая во всю глубину дома, была китайской: панели слоновой кости, медный пол, центральное отопление и хрустальные люстры. На стенах висели четыре картины, все китайские — единственная школа, которой еще не занимался ее отец. Широкий открытый камин украшали китайские собаки на китайских изразцах. Шелка были преимущественно изумрудно-зеленые. Два чудесных черных старинных шкафа были куплены Сомсом у Джобсона, и не дешево. Рояля не было, отчасти потому, что рояль — вещь неоспоримо западная, отчасти потому, что он занял бы слишком много места. Флер нужен был простор — ведь она коллекционировала скорее людей, чем мебель и безделушки. Свет, падавший через окна с двух противоположных сторон, не был, к сожалению, китайским. Флер часто стояла посреди комнаты, обдумывая, как «подобрать» гостей, как сделать эту комнату еще более китайской, не жертвуя уютом; как казаться знатоком литературы и политики, как принимать подарки отца, не давая ему почувствовать, что его вкусы устарели; как удержать Сибли Суона, новую литературную звезду, и заполучить Гэрдона Минхо — старую знаменитость. Она думала о том, что Уилфрид Дезерт слишком серьезно увлекся ею; о том, в каком стиле ей, собственно, надо одеваться, о том, почему У Майкла такие смешные уши; а иногда она стояла, просто Ни о чем не думая, а так, чуть-чуть тоскуя.

Когда трое мужчин вошли, она сидела у красного лакированного чайного стола, допивая чай со всякими вкусными вещами. Она обычно просила подавать себе чай пораньше, чтобы можно было как следует «угоститься» на свободе: ведь ей еще не было двадцати одного года, и в этот час она вспоминала о своей молодости. Рядом с ней, на задних лапах, стоял Тинг-а-Линг, поставив рыжие передние лапки на китайскую скамеечку и подняв курносую черно-рыжую мордочку к объектам своего философического созерцания.

— Хватит, Тинг-а-Линг! Довольно, душенька! Довольно!

Выражение мордочки Тинг-а-Линга говорило: «Ну, тогда и сама не ешь! Не мучай меня!» Ему был год и три месяца, и купил его Майкл с витрины магазина на Бонд-стрит к двадцатому дню рождения Флер, одиннадцать месяцев тому назад.

Два года замужества не сделали ее короткие каштановые волосы длиннее, но придали немного больше решимости ее подвижным губам, больше обаяния ее карим глазам под белыми веками с темными ресницами, больше уверенности и грации походке; несколько увеличился объем груди и бедер; талия и щиколотки стали тоньше, чуть побледнел румянец на щеках, слегка утеравших округлость, да в голосе, ставшем чуть вкрадчивее, исчезла бывшая

мягкость.

Она встала из-за стола и молча протянула белую круглую руку. Она избегала излишних приветствий и прощаний. Ей так часто пришлось бы повторять одинаковые слова — лучше было обойтись взглядом, пожатием руки, легким наклоном головы.

Пожав протянутые руки, она проговорила:

— Садитесь. Вам сливок, сэр? С сахаром, Уилфрид? Тинг и так объелся, не кормите его. Майкл, угощай! Я уже слышала о собрании у «Шутников». Ведь ты не собираешься агитировать за лейбористов, Майкл? Агитация — такая глупость! Если бы меня кто-нибудь вздумал агитировать, я бы сразу стала голосовать наоборот.

— Конечно, дорогая; но ведь ты не рядовой избиратель.

Флер взглянула на него. Очень мило сказано! Видя, что Уилфрид кусает губы, что сэр Лоренс это замечает, не забывая, что ее обтянутая шелком нога всем видна, что на столе — черные с желтым чайные чашки, она сразу сумела все наладить. Взмах темных ресниц — и Дезерт перестал кусать губы; движение шелковой ноги — и сэр Лоренс перестал смотреть на него. И, передавая чашки, Флер сказала:

— Что же, я недостаточно современна?

Не поднимая глаз и мешая блестящей ложечкой в крохотной чашке, Дезерт проговорил:

— Вы настолько же современнее всех современных людей, насколько вы древнее их.

— Упаси нас, боже, от поэзии! — сказал Майкл.

Но когда он увел отца посмотреть новые карикатуры Обри Грина, она сказала:

— Будьте добры объяснить мне, что вы хотели этим сказать, Уилфрид?

Голос Дезерта потерял всякую сдержанность.

— Не все ли равно? Мне не хочется терять времени на разъяснения.

— Но я хочу знать. Это звучало насмешкой.

— Насмешка? С моей стороны? Флер!

— Тогда объясните.

— Я хотел сказать, что вам присуща вся неутомимость, вся практическая хватка современников, но в вас есть то, чего лишены они, Флер, — вы обладаете силой сводить людей с ума. И я схожу с ума. Вы знаете это.

— Как бы отнесся к этому Майкл? Вы, его друг!

Дезерт быстро отошел к окну.

Флер взяла Тинг-а-Линга на колени. Ей и раньше говорили такие вещи, но со стороны Уилфрида это было серьезно. Приятно, конечно, сознавать, что она владеет его сердцем. Только куда же ей спрятать это сердце, чтобы никто его не видел? Нельзя предугадать, что сделает Дезерт, он способен на странные поступки. Она побаивалась — не его, нет, а этой его черты. Он вернулся к камину и сказал:

— Некрасиво, не правда ли? Да спустите вы эту проклятую собачонку, Флер, я не вижу вашего лица. Если бы вы по-настоящему любили Майкла клянусь, я бы молчал; но вы знаете, что это не так.

Флер холодно ответила:

— Вы очень мало знаете. Я в самом деле люблю Майкла.

Дезерт отрывисто засмеялся.

— Да, конечно; такая любовь не идет в счет.

Флер поглядела на него.

— Нет, идет: с ней я в безопасности.

— Цветок, который мне не сорвать?

Флер кивнула головой.

— Наверное, Флер? Совсем, совсем наверное?

Флер пристально глядела перед собой; ее взгляд слегка смягчился, ее веки, такой восковой белизны, опустились; она кивнула.

Дезерт медленно произнес:

— Как только я этому поверю, я немедленно уеду на Восток.

— На Восток?

— Не так избито, как «уехать на Запад»? Но в общем одно и то же: возврата нет.

Флер подумала: «На Восток? Как бы мне хотелось увидеть Восток! Жаль, что этого нельзя устроить, очень жаль!» — Меня не удержать в вашем зверинце, дорогая, я не стану попрошайничать и питаться крохами. Вы знаете, что я испытываю, — настоящее потрясение.

— Но ведь это не моя вина, не так ли?

— Нет, ваша: вы меня включили в свою коллекцию, как включаете всякого, кто приближается к вам!

— Не понимаю, что вы хотите сказать!

Дезерт наклонился и поднес ее руку к губам.

— Не будьте злоюкой, я слишком несчастлив.

Флер не отнимала руки от его горячих губ.

— Мне очень жаль, Уилфрид.

— Ничего, дорогая. Я пойду.

— Но вы ведь придете завтра к обеду?

Дезерт обозлился.

— Завтра? О боги — конечно нет! Из чего я, по-вашему, сделан?

Он отшвырнул ее руку.

— Я не люблю грубости, Уилфрид.

— Ну, прощайте! Мне лучше уйти!

На ее губах трепетали слова: «И лучше больше не приходите», но она промолчала. Расстаться с Уилфридом? Жизнь утратит частицу тепла. Она махнула рукой. Он ушел. Слышно было, как закрылась дверь. Бедный Уилфрид! Приятно думать об огне, у которого можно согреть руки. Приятно — и немного жутко. И вдруг, спустив Тинга-Линга на пол, она встала и зашагала по комнате. Завтра! Вторая годовщина ее свадьбы! Все еще больно ей думать о том, чем могла бы стать эта свадьба. Но думать было некогда — и она не останавливалась на этой мысли. К чему думать? Живешь только раз, вокруг: — люди, масса дел, многого нужно добиться, взять от жизни. Не хватает, правда, одного — ну, да впрочем, если у людей это есть, так тоже не надолго! Слезы, набежавшие на ее ресницы, высохли, не скатившись. Сентиментальность! Нет! Самое тяжелое в мире — нестерпимая обида! А кого с кем посадить завтра? Кого бы позвать вместо Уилфрида, если Уилфрид не придет — вот глупый мальчик! Один день, один вечер — не все ли равно? Кто будет сидеть справа от нее, а кто слева? Кто изысканнее: Обри Грин или Сибли Суон? Может быть, они оба не так изысканны, как Уолтер Нэйзинг или Чарльз Эпшир? Обед на двенадцать человек, — все из литературно-художественного мира, кроме Майкла и Элисон Черрел. Ах, не может ли Элисон привести к ней Гэрдона Минхо — пусть будет один из старых писателей, как один стакан старого вина, чтобы смягчить шипучий напиток. Он не печатался у Дэнби и Уинтера, но Элисон вполне его приручила. Флер быстро подошла к одному из старинных шкафчиков и открыла его. Внутри был телефон.

— Можно попросить леди Элисон?.. Миссис Майкл Монт... да, да. Это вы, Элисон? Говорит Флер. На завтрашний вечер Уилфрид отпадает... Скажите, не сможете ли вы привести мистера Гэрдона Минхо?.. Я с ним, конечно, не знакома, но, может быть, ему будет интересно... Попробуйте? Ну, это будет, просто восхитительно!.. Вы не находите, что собрание в «Клубе шутников» было страшно интересное?.. Барт говорит, что теперь, после раскола, они все там перегрызутся... Да, как же быть с мистером Минхо? Не можете ли вы дать мне ответ сегодня вечером? Спасибо, большое спасибо... До свидания!

А если Минхо не придет — кого тогда? Она задумалась над своей записной книжкой. В последнюю минуту удобно пригласить только человека без светских предрассудков; кроме Элисон, никто из родных Майкла не избежал бы едких насмешек Несты Горз или Сибли Суона. О Форсайтах и речи быть не может. Правда, они обладают своим особым кисло-сладким юмором (по крайней мере некоторые из них), но они несовременны, не вполне современны. Кроме того, она старалась встречаться с ними как можно реже. Они

устарели, были слишком связаны с грустными воспоминаниями, они не умели воспринимать жизнь без начала и конца. Нет, если Гэрдон Минхо пролетит, придется пригласить какого-нибудь композитора, только чтобы его произведения были сплошной загадкой и напоминали хирургическую операцию; или еще лучше, пожалуй, позвать психоаналитика. Флер перелистала всю книжку, пока не дошла до этих двух профессий. Гуго Солстис? Пожалуй; но вдруг он захочет сыграть что-нибудь из своих последних! вещей? В доме было только старое пианино Майкла, значит пришлось бы перейти в его кабинет. Лучше Джералд Хэнкс: они с Нестой Горз погрузятся в толкование снов, но от этого общее оживление не пострадает. Значит, если не Гэрдон Минхо пригласить Джералда Хэнкса, он, наверное, свободен, и посадить его между Элисон и Нестой. Она закрыла книжку и, вернувшись на свой ярко-зеленый диван, стала разглядывать Тинг-а-Линга. Выпуклые круглые глаза уставились на нее. Черные, блестящие, очень старые глаза. Флер подумала: «Я не хочу, чтобы Уилфрид ушел». Из всей толпы людей, снующих вокруг нее, ей никто не был нужен. Конечно, надо быть со всеми в прекрасных отношениях, надо быть в прекрасных отношениях с жизнью вообще. Все это ужасно занятно, ужасно необходимо! Только, только... что?

Голоса! Майкл и Барт идут сюда. Барт заметил насчет Уилфрида. Ужасно наблюдательный «Старый Барт». Ей всегда бывало не по себе в его обществе — он такой живой, непоседливый, но что-то в нем есть установившееся, старинное, что-то общее с Тинг-а-Лингом, что-то поучительное, вечно напоминающее ей о том, что она сама слишком суетна, слишком современна. Он как на привязи: может двигаться только на длину этой старомодной своей цепи; но он невероятно умеет подмечать все. Однако она чувствует, что он восхищается ею, — да, да!

Ну, как ему понравились карикатуры? Стоит ли Майклу их печатать, и давать ли подписи, или не надо? Не правда ли, этот кубистический набросок «Натюрморт» — карикатура на правительство — невысказанно смешной? Особенно старикан, изображающий премьер-министра! В ответ затрещала быстрая, скачущая речь: сэр Лоренс рассказывал ей о коллекции предвыборных плакатов, собранной его отцом. Лучше бы Барт перестал ей рассказывать о своем отце: он был до того знатный и, наверно, ужасно скучный — в особенности когда отдавал визиты верхом, в брюках со штрипками! Он, и лорд Чарлз Кэрибу, и маркиз Форфар были последними «визитерами» в таком духе. Если бы не это, их забыли бы совершенно. Ей надо еще примерить новое платье и сделать двадцать дел, а в восемь Пятнадцать начинается концерт Гуго. Почему это у людей прошлого поколения всегда столько свободного времени? Она нечаянно посмотрела вниз. Тинг-а-Линг лизал медный пол. Она подняла его: «Нельзя, миленький, фу, гадость! .. Ну вот, чары нарушены. Барт уходит, все еще полный воспоминаний. Она подождала внизу у лестницы, пока Майкл закрыл за Бартом дверь, и полетела вверх. В своей комнате она зажгла все лампы. Тут царил ее собственный стиль — кровать, непохожая на кровать, и всюду зеркала. Ложе Тинг-а-Линга помещалось в углу, откуда он мог видеть целых три своих отражения. Она посадила его, сказав: «Ну, теперь сиди тихо!» Он давно уже относился ко всем остальным собакам в комнате совершенно равнодушно; хотя они были одной с ним породы и в точности той же масти, но у них не было запаха, их языки не умели лизать — нечего было делать с ними — поддельные существа, совершенно бесчувственные.

Сняв платье, Флер прикинула новое, придерживая его подбородком.

— Можно тебя поцеловать? — послышался голос, и двойник Майкла вырос за ее собственным изображением в зеркале.

— Некогда, милый мой мальчик! Помоги мне лучше, — она натянула платье через голову. — Застегни три верхние крючка. Тебе нравится? Ах да, Майкл! Может быть, завтра к обеду придет Гэрдон Минхо — Уилфрид занят. Ты его читал? Садись, расскажи мне о его вещах. Романы, правда? Какого рода?

— Ну, ему всегда есть что сказать. Хорошо описывает кошек. Конечно, он немного романтик.

— О-о! Неужели я промахнулась?

— Ничуть. Наоборот, очень удачно. Беда нашей публики в том, что говорят они очень неплохо, но сказать им нечего. Они не останутся в литературе.

— А по-моему, они именно потому и останутся. Они не устареют.

— Не устареют? Как бы не так!

— Уилфрид останется...

— Уилфрид? О, у него есть чувства, ненависть, жалость, желания, во всяком случае, иногда появляются; а когда это бывает, он пишет прекрасно. Но обычно он просто пишет ни о чем — как и все остальные.

Флер поправила платье у выреза.

— Но, Майкл, если это так, то у себя мы... я встречаюсь совсем не с теми людьми, с которыми стоит.

Майкл широко улыбнулся.

— Милое мое дитя! С теми, кто в моде, всегда стоит — встречаться, только надо хорошенько следить и менять их У побыстрее.

— Но, Майкл, ведь ты не считаешь, что Сибли не переживет себя?

— Сиб? Конечно нет.

— Но он так уверен, что все остальные уже отжили свой век или отживают. Ведь у него настоящий критический талант.

— Если бы я понимал в искусстве не больше Сибли, я бы завтра же ушел из издательства.

— Ты понимаешь больше, чем Сибли Суон?

— Ну конечно, я больше понимаю. Вся критика Сибли сводится к высокому мнению о Сибле — и самой обыкновенной нетерпимости ко всем остальным. Он их даже не читает. Прочтет одну книгу каждого автора и говорит: «Ах, этот? Он скучноват», или «он — моралист», или «он сентиментален», «устарел», «плетет чушь», — я сто раз это слышал. Конечно, так он говорит только о живых. С мертвыми авторами он обходится иначе. Он вечно выкапывает и канонизирует какого-нибудь покойника — этим он и прославился. В литературе всегда были такие Сибы. Он яркий пример того, как человек может внушить о себе какое угодно мнение. Но, конечно, в литературе он не останется: он никогда ничего не создал своего — даже по ошибке.

Флер упустила нить разговора. Да, платье ей очень к лицу — прелестная линия. Можно снять — надо еще написать три письма, прежде чем одеваться.

Майкл, снова заговорил:

— Ты послушай меня, Флер. Истинно великие люди не болтают и не толкаются в толпе — они плывут одни в своих лодочках по тихим протокам. Но из протоков выходят потоки! Ого, как я сказал! Прямо — mot! Или не совсем mot?

— Майкл, ты на моем месте сказал бы Фредерику Уилмеру, что он встретит Губерта Марсленда у меня за завтраком на будущей неделе? Будет это для него приманкой или отпугнет его?

— Марсленд — милая старая утка, а Уилмер — противный старый гусь; право, не знаю!

— Ну, будь же серьезен, Майкл, — никогда ты мне не поможешь ничего устроить. Не щекочи мне, пожалуйста, плечи!

— Дорогая, ей-богу, не знаю. У меня нет, как у тебя, таланта на такие дела. Марсленд рисует ветряные мельницы, скалы и всякие штуки — я сомневаюсь, слышал ли он что-нибудь об искусстве будущего. Он просто уникален в смысле умения держаться далеко от современности. Если ты думаешь, что ему будет приятно встретиться с вертижинистом... — Я не спрашиваю тебя, захочется ли ему встретиться с Уилмером; я спросила тебя, захочет ли Уилмер встретиться с ним.

— Ну, Уилмер только скажет: «Люблю маленькую миссис Монт, уж очень здорово она кормит», и ты действительно хорошо кормишь, детка. А вертижинисту нужно хорошо

питаться, иначе у него голова не закружится.

Перо Флер снова быстро забегало по бумаге — строчки стали чуть неразборчивее. Она пробормотала:

— По-моему, Уилфрид выручит — ведь тебя не будет.

Один, два, три, Каких женщин звать?

— Для художников? Хорошеньких и толстеньких; ума не требуется.

Флер рассердилась:

— Где же мне взять толстых? Их теперь и не бывает. — Ее перо бегло застрочило:

«Милый Уилфрид, в пятницу завтрак: Уилмер, Губерт Марсленд и две женщины.

Выручайте!

Всегда Ваша Флер».

— Майкл, у тебя подбородок — как сапожная щетка!

— Прости, маленькая; у тебя слишком нежные плечи. Барт сегодня дал Уилфриду замечательный совет, когда мы шли сюда.

Флер перестала писать.

— Да?

— Напомнил ему, что состояние влюбленности здорово вдохновляет поэтов...

— По какому же это поводу?

— Уилфрид жаловался, что у него стихи что-то не выходят.

— Какая чепуха! Его последние вещи лучше всего.

— Да, я тоже так считаю. А может быть, он уже предвосхитил совет? Ты не знаешь, а?

Флер взглянула через плечо ему в лицо. Нет, такое же, как всегда, открытое, добродушное, слегка похожее на лицо фавна: чуть торчащие уши, подвижные губы и ноздри.

Она медленно проговорила:

— Если ты ничего не знаешь, то никто не знает.

Какое-то сопенье помешало Майклу ответить. Тинг-аЛинг, длинный, низенький, немного приподнятый с обоих концов, стоял между ними, задрав свою черную мордочку. «Родословная у меня длинная, — казалось, говорил он, — да вот ноги короткие; как же быть?»

III. МУЗЫКА

Следуя великому руководящему правилу. Флер и Майкл пошли на концерт Гуго Солстиса не для того, чтобы испытать удовольствие, а потому, что были знакомы с композитором. Кроме того, они чувствовали, что Солстис, англичанин русско-голландского происхождения, — один из тех, кто возрождает английскую музыку, великодушно освобождая ее от мелодии и ритма и щедро наделяя литературными и математическими достоинствами. Побывав на концерте музыкантов этой школы, невозможно было не сказать, уходя: «Очень занятно!» И спать под такую обновленную английскую музыку было тоже невозможно. Флер, любившая поспать, даже и не пыталась. Майкл попробовал и потом жаловался, что это все равно, что спать на Льежском вокзале. В этот вечер они занимали у прохода в первом ряду амфитеатра те места, на которые у Флер была своего рода естественная монополия. Видя ее здесь, Гуго и прочие могли убедиться, что и она принимает участие в английском возрождении. И отсюда легко было ускользнуть в фойе и обменяться словом «занятно!» с какими-нибудь знатоками, украшенными бачками; или, вытянув папироску из маленького золотого портсигара — свадебный подарок кузины Имоджин Кардиган, — отдохнуть за двумя-тремя затяжками. Говоря совершенно честно, Флер обладала врожденным чувством ритма, и ей было очень не по себе во время этих бесконечных «занятных» пассажей, явно изобличивших все перипетии тернистого пути композитора. Она втайне любила мелодию, и невозможность сознаться в этом, не выпустив из рук Солстиса, Баффа, Бэрдигэла, Мак-Льюиса, Клорейна и других обновителей английской музыки, иногда требовала предельного напряжения всех спартанских сторон ее

натуры. Даже Майклу она не решалась «исповедаться», и ей становилось труднее, когда он, с присущим ему непочтением к авторитету, еще усилившимся от жизни в окопах и работы в издательстве, бормотал вполголоса: «Боже, ну и заверчено!» или: «Эк его разбирает!» А ведь она знала, что Майкл гораздо лучше ее переносит эту музыку, потому что у него больше склонности к литературе и меньше танцевального зуда в пальцах ног.

Первая тема нового произведения Солстиса «Пьемонтская фантазмагория» — ради него они, собственно, и пришли — началась рядом тягучих аккордов.

— Вот это да! — прошептал Майкл ей на ухо. — Мебель двигают, штуки три разом, по паркетному полу!

Невольная улыбка Флер выдала тайну, почему брак не стал для нее невыносимым. В конце концов Майкл все-таки прелесть! Обожание и живость, остроумие и преданность — такое сочетание трогало и задевало даже сердце, которое принадлежало другому, прежде чем было отдано ему. «Трогательность» без «задевания» была бы скучной; «задевание» без «трогательности» раздражало бы. В эту минуту он был особенно привлекателен. Положив руки на колени, с остекленелыми от сочувствия к Гуго глазами, наострив уши и втайне подсмеиваясь, он слушал вступление с таким видом, что Флер просто восхищалась им. Музыка, очевидно, будет «занятой», и Флер погрузилась в состояние поверхностной наблюдательности и внутренней сосредоточенности, ставшее столь обычным для нее в последнее время. Вон сидит Л. С. Д. — знаменитый драматург; она с ним незнакома — пока еще. Вид у него довольно страшный, уж очень торчат кверху волосы. Флер представила себе, как он стоит на медном полу перед одной из ее китайских картин. А вот — да, конечно! Гэрдон Минхо! Только подумать, что он пришел слушать эту новую музыку! Профиль у него совершенно римский — аврелианского периода! Она оторвалась от созерцания этой древности приятным чувством, что завтра он, быть может, попадет ее коллекцию, и стала рассматривать по очереди всех присутствующих — ей не хотелось пропустить кого-нибудь нужного.

«Мебель» внезапно остановилась.

— Занятно! — произнес голос у плеча Флер.

Обри Грин! Весь нереальный, словно пронизанный лунным светом, — шелковистые светлые волосы, гладко зачесанные назад, и зеленоватые глаза; когда он улыбался, ей всегда казалось, что он ее «разыгрывает». Но ведь он в конце концов карикатурист!

— Да, занятно!

Он ускользнул. Мог бы остаться еще минутку — все равно никто не успеет подойти до исполнения песен Бэрдигэла. Вот уже выходит певец — Чарлз Паулз. Какой он толстый и решительный и как тащит маленького Бэрдигэла к роялю!

Прелестный аккомпанемент — журчащий, мелодичный!

Толстый решительный мужчина запел. Как не похоже на аккомпанемент! Мелодия, казалось, состояла из одних фальшивых нот и с математической точностью отнимала у Флер всякую возможность испытывать удовольствие.

Бэрдигэл, очевидно, писал, больше всего на свете боясь, что его вещь кто-нибудь назовет «певучей». Певучей! Флер понимала, насколько это слово заразительно. Оно обойдет всех, как корь, и Бэрдигэл будет изничтожен. Бедный Бэрдигэл! Конечно, песни вышли занятные. Только, как говорит Майкл: «Господи, что же это?» Три песни! Паулз изумителен — честно работает. Ни единой ноты не взял так, чтобы было похоже на музыку! Мысли Флер вернулись к Уилфриду. Только за ним, из всех молодых поэтов, признавалось право о чем-то говорить всерьез. Это создавало ему особое положение — он как бы исходил от жизни, а не от литературы. Кроме того, он выдвинулся на войне, был сыном лорда Мэллиона, вероятно, получит Мерсеровскую премию за «Медяки». Если Уилфрид бросит ее, то упадет звезда с сияющего над ее медным полом неба. Он не имеет права так уходить от нее. Он должен научиться сдерживаться не думать так физиологически. Нет! Нельзя упускать Уилфрида; но и нельзя опять вводить в свою жизнь слезы, душераздирающие страсти, безвыходное положение, раскаяние. Она уже раз испытала все это: заглушенная

тоска до сих пор служила предостережением.

Бэрдигэл раскланивался. Майкл сказал: «Выйдем покурить. Дальше — скучища!» А, Бетховен! Бедный старик Бетховен! Так устарел — даже приятно его послушать!

В коридорах и буфете только и было разговоров, что о возрождении. Юноши и молодые дамы с живыми лицами и растрепанными волосами обменивались словом «занятно!» .. Более солидные мужчины, похожие на отставных матадоров, загораживали все проходы, Флер и Майкл прошли подальше и, став у стены, закурили. Флер очень осторожно курила свою крохотную папироску в малюсеньком янтарном мундштуке. Она как будто больше любовалась синеватым дымком, чем действительно курила; приходилось считаться не только с этой толпой: никогда не знаешь, с кем встретишься! Например, круг, где вращалась Элисон Черрел, — политико-литературный, все люди с широкими взглядами, но, как всегда говорит Майкл, „уверенные, что они единственные люди в мире; посмотри только, как они пишут мемуары друг о друге“. Флер чувствовала, что этим людям может не понравиться, если женщины курят в общественных местах. Осторожно присоединяясь к иконоборца, Флер никогда не забывала, что принадлежит по крайней мере двум мирам. Наблюдая все, что происходило вокруг нее, она вдруг заметила у стены человека, спрятавшего лицо за программой. «Уилфрид, — подумала она, — и притворяется, что не видит меня!» Обиженная, как ребенок, у которого отняли игрушку, она сказала:

— Вон Уилфрид, приведи его сюда, Майкл!

Майкл подошел и коснулся рукава своего друга. Показалось нахмуренное лицо Дезерта. Флер видела, как он пожал плечами, повернулся и смешался с толпой. Майкл вернулся к ней.

— Уилфрид здорово не в духе, говорит, что сегодня не годен для человеческого общества. Чудак!

До чего мужчины тупы! Оттого, что Уилфрид — его приятель, Майкл ничего не замечает; и счастье, что это так. Значит, Уилфрид действительно решил ее избегать. Ладно, посмотрим! И она сказала:

— Я устала, Майкл, поедем домой.

Он взял ее под руку.

— Бедняжка моя! Ну, пошли!

На минуту они задержались у двери, которую забыли закрыть, и смотрели, как Вуман, дирижер, изогнулся перед оркестром.

— Посмотри на него — настоящее чучело, вывешенное из окна: руки и ноги болтаются, точно набиты опилками. А погляди на Фрапку с ее роялем мрачный союз!

Послышался странный звук.

— Ей-богу, мелодия! — сказал Майкл.

Капельдинер прошептал ему на ухо: «Позвольте, сэр, я закрываю двери». Флер мельком заметила знаменитого драматурга Л. С. Д., сидевшего с закрытыми глазами, так же прямо, как торчали его волосы. Дверь закрылась они остались в фойе.

— Подожди здесь, дорогая, я раздобуду рикшу.

Флер спрятала подбородок в мех. С востока дул холодный ветер.

За спиной раздался голос:

— Ну, Флер, ехать мне на Восток?

Уилфрид! Воротник поднят до ушей, папироска во рту, руки в карманах, пожирает ее глазами.

— Вы глупый мальчик, Уилфрид!

— Думайте, что хотите. Ехать мне на Восток?

— Нет. В воскресенье утром — в одиннадцать часов, в галерее Тэйт. Мы поговорим.

— *Convenu!*

И ушел.

Оставшись внезапно одна, Флер вдруг словно впервые досмотрела в лицо действительности. Неужели ей не справиться с Уилфридом? Подъехал автомобиль. Майкл

кивнул ей. Флер села в машину.

Проезжая мимо заманчиво освещенного оазиса, где молодые дамы демонстрировали любопытным лондонцам последнее слово парижских дезабилье. Флер почувствовала, что Майкл наклонился к ней. Если она намерена сохранить Уилфрида, надо быть поласковой с Майклом. Но только:

— Не надо целовать меня посреди Пикадилли, Майкл.

— Прости, маленькая. Конечно, это преждевременно: я собирался тебя поцеловать только у Партенеума!

Флер вспомнила, как он спал на диване в испанской гостинице в первые две недели их медового месяца; как он всегда настаивал, чтобы она не тратила на него ни пенни, а сам дарил ей все, что хотел, хотя у нее было три тысячи годового дохода, а у него только тысяча двести фунтов; как он беспокоился, когда у нее бывал насморк, и как он всегда приходил вовремя к чаю. Да, Майкл — прелесть. Но разобьется ли ее сердце, если он завтра уедет на Восток или на Запад?

Прижимаясь к нему, она сама удивлялась своему цинизму.

В передней она нашла телефонограмму: «Пожалуйста, передайте миссис Монт, что я заполучила мистера Гэрдина Миннер. Леди Элисон».

Как приятно! Подлинная древность! Флер зажгла свет и на минуту остановилась, любуясь своей комнатой. Действительно мило! Негромкое сопенье слышалось из угла. Тинг-а-Линг» рыжий на черной подушке, лежал, словно китайский лев в миниатюре, чистый, далекий от всего, только что вернувшийся с вечерней прогулки вдоль ограды сквера.

— Я тебя вижу, — сказала Флер.

Тинг-а-Линг не пошевелился. Его круглые черные глаза следили, как раздевалась хозяйка. Когда она вернулась из ванной, он лежал, свернувшись клубком. «Странно! — подумала Флер, — откуда он знает, что Майкл не придет?» И, скользнув Б теплую постель, она тоже свернулась клубком и заснула.

Но среди ночи она почему-то проснулась. Зов — долгий, странный, протяжный — откуда-то с реки, из трущоб позади сквера, — и воспоминание острое, болезненное — медовый месяц, Гренада — крыши внизу, — чернь, слоновая кость, золото, — оклик сторожа под окном, — строки в письме Джона:

Голос, в ночи звенящий, в сонном и старом испанском Городе, потемневшем в свете бледнеющих звезд.

Что говорит голос — долгий, звонко-тоскливый?

Просто ли сторож кличет, верный покой суля?

Просто ли путника песня к лунным лучам летит?

Нет! Влюбленное сердце плачет, лишненное счастья, Просто зовет: «Когда?» Голос — а может быть, ей приснилось? Джон, Уилфрид, Майкл! Стоит ли иметь сердце!

IV. ОБЕД

Леди Элисон Черрел, урожденная Хитфилд, дочь первого графа Кемдена и жена королевского адвоката Лайонеля Черрела, еще не старого человека, приходившегося Майклу дядей, была очаровательной женщиной, воспитанной в той среде, которую принято считать центром общества. Это была группа людей неглупых, энергичных, с большим вкусом и большими деньгами. «Голубая кровь» их предков определяла их политические связи, но они держались в стороне от «Шутников» и прочих скучных мест, посещаемых представителями привилегированной касты. Эти люди — веселые, обаятельные, непринужденные — были, по мнению Майкла, «снобы, дружочек, и в эстетическом и в умственном отношении, только они никогда этого не замечают. Они считают себя гвоздем мироздания, всегда оживлены, здоровы, современны, хорошо воспитаны, умны, Они просто не могут вообразить равных себе. Но, понимаешь, воображение у них не такое уж богатое. Вся их творческая энергия уместится в пинтовой кружке. Взять хотя бы их книги — всегда они пишут о чем-то: о

философии, спиритизме, поэзии, рыбной ловле, о себе самих; даже писать сонеты они перестают еще в юности, до двадцати пяти лет. Они знают все — кроме людей, не принадлежащих к их кругу. Да, они, конечно, работают, они хозяева, и как же иначе: ведь таких умных, таких энергичных и культурных людей нигде не найти. Но эта работа сводится к топтанию на одном месте в своем несчастном замкнутом кругу. Для них он — весь мир; могло быть и хуже! Они создали свой собственный золотой век, только война его малость подпортила».

Элисон Черрел, всецело связанная с этим миром, таким остроумно-задушевым, веселым, непринужденным и уютным, жила в двух шагах от Флер, в особняке, который был по архитектуре приятнее многих лондонских особняков. В сорок лет, имея троих детей, она сохранила свою незаурядную красоту, слегка поблекшую от усиленной умственной и физической деятельности. Как человек увлекающийся, она любила Майкла, несмотря на его чудаческие выпады, так что его матримониальная авантюра сразу заинтересовала ее. Флер была изящна, обладала живым природным умом — новой племянницей безусловно стоило заняться. Но несмотря на то, что Флер была податлива и умела приспособляться к людям, она мало поддавалась обработке; она продолжала задевать любопытство леди Элисон, которая привыкла к тесному кружку избранных и испытывала какое-то острое чувство, сталкиваясь с новым поколением на медном полу в гостиной Флер. Там она встречала полную непочтительность ко всему на свете, которая, если не принимать ее всерьез, очень будоражила ее мысли. В этой гостиной она чувствовала себя почти что отсталой. Это было даже пикантно.

Приняв от Флер по телефону заказ на Гэрдона Минхо, леди Элисон сразу позвонила писателю. Она была с ним знакома — правда, не очень близко. Никто не был с ним близко знаком. Он был всегда любезен, вежлив, молчалив, немного скучноват и серьезен. Но он обладал обезоруживающей улыбкой — иногда иронической, иногда дружелюбной. Его книги были то едкими, то сентиментальными. Считалось хорошим тоном бранить его и за то и за другое — и все-таки он продолжал существовать.

Леди Элисон позвонила ему: не придет ли он завтра на обед к ее племяннику, Майклу Монту, познакомиться с молодым поколением?

В его ответе прозвучал неожиданный энтузиазм:

— С удовольствием! Фрак или смокинг?

— Как мило с вашей стороны! Вам будут страшно рады. Я думаю, лучше во фраке, — завтра вторая годовщина их свадьбы. — Она повесила трубку, подумав: «Должно быть, он пишет о них книгу».

Сознание ответственности заставило ее приехать рано.

Она приехала с таким чувством, что ее ждут занятные приключения: в кругах ее мужа решались большие дела, и ей было приятно переменить обстановку после целого дня суеты по поводу событий в «Клубе шутников». Ее принял один Тинг-а-Линг, сидевший спиной к камину, и удостоил ее только взглядом. Усевшись на изумрудно-зеленый диван, она сказала:

— Ну ты, смешной зверек, неужели не узнаешь меня после такого долгого знакомства?

Блестящие черные глаза Тинга словно говорили: «Знаю, что вы тут часто бываете; все на свете повторяется. И будущее не сулит ничего нового».

Леди Элисон задумалась. Новое поколение! Хочется ли ей, чтобы ее дочери принадлежали к нему? Ей было бы интересно поговорить об этом с мистером Минхо — перед войной они так чудесно беседовали с ним в Бичгроуе. Девять лет назад! Сибил было шесть лет, Джоун — всего четыре года! Время идет, все меняется. Новое поколение! А в чем разница? «У нас было больше традиций», — тихо проговорила она.

Легкий шум заставил ее поднять глаза, устремленные на носок туфли. Тинг-а-Линг хлопал хвостом по ковру, словно аплодируя. Голос Флер раздался у нее за спиной:

— Дорогая, я страшно опоздала. До чего мило с вашей стороны, что вы раздобыли мне мистера Минхо! Надеюсь, наши будут хорошо себя вести. Во всяком случае, сидеть он будет между вами и мной. Я его посажу у верхнего конца стола, а Майкла — напротив, между

Полиной Эпшир и Эмебел Нэйзинг. Слева от вас — Сибли, справа от меня — Обри, потом Неста Горз и Уолтер Нэйзинг, а напротив них Линда Фру и Чарлз Эпшир. Всего двенадцать человек. Вы со всеми знакомы. Да, не обращайтесь внимания, если Нэйзинги и Неста будут курить в антрактах между блюдами. Эмебел обязательно будет курить. Она из Виргинии — и у нее это реакция. Надеюсь, на ней будет хоть что-нибудь надето. Майкл, впрочем, уверяет, что это ошибка, когда она слишком одета. Но когда ждешь мистера Минхо, как-то нервничаешь. Вы читали последнюю пародию Несты в «Букете»? Ужасно смешно! Совершенно ясный намек на Л. С. Д.! Тинг, мой милый Тинг, ты хочешь остаться и посмотреть гостей? Ну, тогда забирайся повыше, не то тебе отдавят лапки. Не правда ли, он совсем китайчонок! Он придает такую законченность комнате.

Тинг-а-Линг положил нос на лапы, улегшись на изумрудную подушку.

— Мистер Гэрдин Миннер!

Вошел знаменитый романист, бледный и сдержанный, Пожав обе протянутые руки, он взглянул на Тинг-а-Линга.

— Какой милый! — проговорил он. — Как же ты поживаешь, дружок?

Тинг-а-Линг даже не пошевелился.

«Вы кажется, принимаете меня за обыкновенную английскую собаку, сэр?» — как будто говорило его молчание.

— Мистер и миссис Уолтер Незон, мисс Линда Фру.

Эмебел Нэйзинг вошла первая. На шесть дюймов выше талии до светлых волос — чистый алебастр ослепительной спины, на четыре дюйма ниже колен до ослепительных туфелек — чуть прикрытый алебастр ног; знаменитый романист машинально прервал беседу с Тинг-а-Лингом.

Уолтер Нэйзинг, следовавший за женой, был намного выше ее ростом и весь в черном, выступала только узенькая белая полоска воротничка; его лицо, словно выточенное сто лет назад, слегка напоминало лицо Шелли. И литературные его произведения иногда походили на стихи этого поэта, а иногда — на прозу Марселя Пруста. «Здорово заверчено!» — как говорил Майкл.

Линда Фру, которую Флер сразу познакомила с Гэрдоном Минхо, принадлежала к числу тех, о чьем творчестве никогда нельзя было услышать двух одинаковых суждений. Ее книги «Пустяки» и «Неистовый дон» вызвали полный раскол во мнениях. Гениальные, по мнению одних, бездарные, по мнению других, эти книги всегда вызывали интересный спор о том, поднимает ли легкий налет безумия ценность искусства или снижает? Сама писательница мало обращала внимания на критику — она творила.

— Тот самый мистер Минхо! Как интересно! Я не читала ни одного вашего романа.

Флер ахнула.

— Как, ты не знаешь кошек мистера Минхо? Но ведь они изумительны. Мистер Минхо, я очень хочу познакомить вас с женой Уолтера Нэйзинга. Эмебел, это — мистер Гэрдон Минхо.

— О! Мистер Минхо! Как замечательно! Я чуть ли не с колыбели мечтаю с вами познакомиться.

Флер услышала спокойный ответ писателя: «Ну, это еще не такой долгий срок», и пошла навстречу Несте Горз и Сибли Суону, которые явились вдвоем, как будто жили вместе, ссорясь из-за Л. С. Д. Неста оправдывала его «задиристый» тон, Сибли уверял, что остроумие умерло вместе с эпохой Реставрации; этот человек был верен себе!

Вошел Майкл с Эпширами и Обри Грином, которых он встретил в холле. Все были в сборе.

Флер обожала безукоризненность во всем, а этот вечер был похож на бред. Удачен ли он? Минхо явно был наименее блестящим собеседником; даже Элисон говорила лучше. А все-таки у него великолепная голова. Флер втайне надеялась, что он не уйдет слишком рано, а то кто-нибудь обязательно скажет: «Вот ископаемое!» или «Толст и лыс!» — прежде чем за гостем закроется дверь. Он трогательно мил, старается понравиться или, во всяком случае,

не вызвать слишком сильного презрения. И, конечно, в нем есть что-то большее, чем можно услышать в разговоре. После суфле из крабов он как будто увлекся беседой с Элисон, и все насчет молодежи. Флер слушала краем уха:

— Молодежь чувствует... великий поток жизни... не дает им того, что им нужно... Прошлое и будущее окружены ореолом... О да! Современная жизнь обесценена сейчас... Нет... Единственное утешение для нас — мы станем когданибудь такой же стариной, как Конгрив, Стерн, Дефо... и снова будем иметь успех... Почему? Что отвлекает их от общего хода жизни? Просто пресыщение... газеты... фотографии. Жизни они не видят — только читают о ней... Одни репродукции: все кажется поддельным, унылым, продажным... и молодежь говорит: «Долой эту жизнь! Дайте нам прошлое или будущее!» Он взял несколько соленых миндалинок, и Флер увидела, что его глаза остановились на плечах Эмебел Нэйзинг. В том конце стола разговор был похож на игру в футбол — никто не держал мяч дольше, чем на один удар. Он перелетал от одного к другому. И после ряда удачных пассивов кто-нибудь протягивал руку за папироской и пускал голубое облако дыма над не покрытым скатертью обеденным столом. Флер наслаждалась великолепием своей испанской столовой — мозаичным полом, яркими фруктами из фарфора, тисненой кожей, медной отделкой и Сомсовым Гойей над мавританским диваном. Она быстро принимала мяч, когда он к ней залетал, но не брала на себя инициативы. Ее талант заключался в умении замечать все сразу. «Миссис Майкл Монт подавала» — блестящие нелепости Линды Фру, задор и поддразнивание Несты Горз, туманные намеки Обри Грина, размашистые удары Сибли Суона, маленькие хладнокровные американские вольности Эмебел Нэйзинг, забавные выражения Чарльза Эпшира, рискованные парадоксы Уолтера Нэйзинга, критические замечания Полины Эпшир, легкомысленные шутки и шпильки Майкла, даже искреннюю оживленность Элисон и молчание Гэрдона Минхо — все это она подавала, выставляла напоказ, все время настороженно следя, чтобы мяч разговора не коснулся земли и не замер. Да, блестящий вечер, но — успех ли это?

Когда простились последние гости и Майкл пошел провожать Элисон домой, Флер села на зеленый диван и стала думать о словах Минхо: «Молодежь не получает того, что ей нужно». Нет! Что-то не ладится. — Не ладится, правда, Тинг? — Но Тинг-а-Линг устал, и только кончик одного уха дрогнул. Флер откинулась на спинку дивана, и вздохнула. Тинг-а-Линг выпрямился и, положив передние лапы к ней на колени, посмотрел ей в лицо. «Смотри на меня, — как будто говорил он. — У меня все благополучно. Я получаю то, чего хочу, и хочу того, что получаю. Сейчас я хочу спать».

— А я — нет, — сказала Флер, не двигаясь.

— Возьми меня на руки, — попросил Тинг-а-Линг.

— Да, — сказала Флер, — мне кажется... Он милый человек, но это не тот человек, Тинг.

Тинг-а-Линг устроился поудобнее на ее обнаженных руках.

«Все в порядке, — как будто говорил он, — тут у вас слишком много всяких чувств и тому подобное — в Китае их нет. Идем!»

V. ЕВА

Квартира Уилфрида Дезерта была как раз напротив картинной галереи на Корк-стрит. Являясь единственным представителем мужской половины аристократии, пишущим достойные печати стихи, он выбрал эту квартиру не за удобство, а за уединенность. Однако его «берлога» была обставлена со вкусом, с изысканностью, которая свойственна аристократическим английским семействам. Два грузовика со «всяким хламом» из Хэмширского имения старого лорда Мэллиона прибыли сюда, когда Уилфрид устраивался. Впрочем, его редко можно было застать в его гнезде, да и вообще его считали редкой птицей, и он занимал совершенно обособленное положение среди молодых литераторов, отчасти благодаря своей репутации постоянного бродяги. Он сам едва ли знал, где проводит время,

где работает, — у него было что-то вроде умственной клаустрофобии, страх быть стиснутым людьми. Когда началась война, он только что окончил Итон; когда «война кончилась, ему было двадцать три года — и не было на свете молодого поэта старше, чем он. Его дружба с Майклом, начавшись в госпитале, совсем было замерла и внезапно возобновилась, когда Майкл в 1920 году вступил в издательство Дэнби и Уинтера, на Блэйк-стрит, Ковент-Гарден. Стихи Уилфрида вызвали в новоиспеченном издателе буйный восторг. После душевных бесед над стихами поэта, ищущего литературного пристанища, была одержана победа над издательством, уступившим настояниям Майкла. Общая радость от первой книги, написанной Уилфридом и ставшей первым изданием Майкла, увенчалась свадьбой Майкла. Лучший Друг и шафер! С тех пор Дезерт, насколько умел, привязался к этой паре; и надо отдать ему справедливость — только месяц назад ему стало ясно, что притягивает его Флер, а не Майкл. Дезерт никогда не говорил о войне, и от него нельзя было услышать о том впечатлении, которое сложилось у него и которое он мог бы выразить так: „Я столько времени жил среди ужасов и смертей, я видел людей в таком неприкрашенном виде, я так нещадно изгонял из своих мыслей всякую надежду, что у меня теперь никогда не может быть ни малейшего уважения к теориям, обещаниям, условностям, морали и принципам. Я слишком возненавидел людей, которые копались во всех этих умствованиях, пока я копался в грязи и крови. Иллюзии кончились. Никакая религия, никакая философия меня не удовлетворяют — слова, и только слова. Я все еще сохранил здравый ум — и не особенно этому рад. Я все еще, оказывается, способен испытывать страсть; еще могу скрипеть зубами, могу улыбаться. Во мне еще сильна какая-то окопная честность, но искренна ли она, или это только привычный след былого — не знаю. Я опасен, но не так опасен, как те, кто торгует словами, принципами, теориями, всякими фанатическими бреднями за счет крови и пота других людей. Война сделала для меня только одно — научила смотреть на жизнь как на комедию. Смеяться над ней — только это и остается!“ Уйдя с концерта в пятницу вечером, он прямо прошел к себе домой. И, вытянувшись во весь рост на монашеском ложе пятнадцатого века, скрашенном мягкими подушками и шелками двадцатого, он закинул руки за голову и погрузился в размышления: „Так дальше жить я не хочу. Она меня околдовала. Для нее это — пустое. Но для меня это — ад. В воскресенье покончу со всем. Персия — хорошее место. Аравия — хорошее место, много крови и песка! Флер не способна просто отказаться от чего-нибудь. Но как она запутала меня! Обаянием глаз, волос, походки, звуками голоса — обаянием теплоты, аромата, блеска. Перейти границы — нет, это не для нее. А если так — что же тогда? Неужели я буду пресмыкаться перед ее китайским камином и китайской собачонкой и томиться такой тоской, такой лихорадочной жаждой из-за того, что я не могу целовать ее? Нет, лучше снова летать над немецкими батареями. В воскресенье! До чего женщины любят затягивать агонию. И ведь повторится то же самое, что было сегодня днем. „Как нехорошо с вашей стороны уходить теперь, когда ваша дружба мне так нужна! Оставайтесь, будьте моим ручным котенком, Уилфрид!“ Нет, дорогая, раз навсегда надо покончить с этим. И я покончу — клянусь богом!..“ Когда в этой галерее, где дан приют всему британскому искусству, так случайно, в воскресное утро, встретились двое перед Евой, вдыхающей аромат райских цветов, там, кроме них обоих, было еще шестеро подвыпивших юнцов, забредших сюда явно по ошибке, служитель музея и парочка из провинции; все они, по-видимому, были лишены способности замечать что бы то ни было. Кстати, встреча эта действительно казалась совершенно невыразительной. Просто двое молодых людей из разочарованного круга общества обмениваются уничтожающими замечаниями по адресу прошлого. Дезерт своим уверенным тоном, улыбкой, светской непринужденностью никак не выдавал сердечной боли. Флер была бледнее его и интереснее. Дезерт твердил про себя: „Никакой мелодрамы — только не это!“ А Флер думала: „Если я смогу заставить его всегда быть вот таким обыкновенным, я его не потеряю, потому что он не уйдет без настоящей вспышки“.

Только когда они во второй раз оказались перед Евой, Уилфрид проговорил:

— Не знаю, зачем вы просили меня прийти. Флер. Я делаю глупость, что даю себя на

растерзание. Я вполне понимаю ваши чувства. Я для вас вроде экземпляра эпохи. Мин, с которым вам жалко расстаться. Но я вряд ли гожусь для этого; вот и все, что остается сказать.

— Какие ужасные вещи вы говорите, Уилфрид!

— Ну вот! Итак, мы расстаемся. Дайте лапку!

Его глаза — красивые, потемневшие глаза — трагически противоречили улыбающимся губам, и Флер, запинаясь, сказала:

— Уилфрид... я... я не знаю. Дайте мне подумать. Мне слишком тяжело, когда вы несчастны. Не уезжайте. Может быть, я... я тоже буду несчастна. Я... я сама не знаю.

Горькая мысль мелькнула у Дезерта: «Она не может меня отпустить — не умеет». Но он проговорил очень мягко:

— Не грустите, дитя мое. Вы забудете все это через две недели. Я вам что-нибудь пришлю в утешение. Почему бы мне не выбрать Китай — не все ли равно, куда ехать? Я вам пришлю настоящий экземпляр для китайской коллекции — более ценный, чем вот этот.

— Вы меня оскорбляете! Не надо! — страстно сказала Флер.

— Простите. Я не хочу сердить вас на прощание.

— Чего же вы от меня хотите?

— Ну — послушайте! Зачем повторять все сначала! А кроме того, я все время с пятницы думаю об этом. Мне ничего не надо, Флер, — только благословите меня и дайте мне руку. Ну?

Флер спрятала руку за спину. Это слишком оскорбительно! Он принимает ее за хладнокровную кокетку, за жадную кошку — терзает, играя, мышей, которых и не собирается есть!

— Вы думаете, я сделана изо льда? — спросила она и прикусила верхнюю губу. — Так нет же!

Дезерт посмотрел на нее: его глаза стали совсем несчастными.

— Я не хотел задеть ваше самолюбие, — сказал он. — Оставим это, Флер. Не стоит.

Флер отвернулась и устремила взгляд на Еву — такая здоровая женщина, беззаботная, жадно вдыхающая полной грудью аромат цветов! Почему бы не быть такой вот беззаботной, не срывать все по пути? Не так уж много в мире любви, чтобы проходить мимо, не сорвав, не вдохнув ее. Убежать! Уехать с ним на Восток! Нет, конечно, она не способна на такую безумную выходку. Но, может быть... не все ли равно? — тот ли, другой ли, если ни одного из них не любишь по-настоящему!

Из-под опущенных белых век, сквозь темные ресницы Флер видела выражение его лица, видела, что он стоит неподвижнее статуи. И вдруг она сказала:

— Вы сделаете глупость, если уедете! Подождите! — И, не прибавив ни слова, не взглянув, она быстро ушла, а Дезерт стоял, как оглушенный, перед Евой, жадно рвущей цветы.

VI. «СТАРЫЙ ФОРСАЙТ» И «СТАРЫЙ МОНТ»

Флер была в таком смятении, что второпях чуть не наступила на ногу одному весьма знакомому человеку, стоявшему перед картиной Альма-Тадемы в какой-то унылой тревоге, как будто задумавшись над изменчивостью рыночных цен.

— Папа! Ты разве в городе? Пойдем к нам завтракать, я страшно спешу домой.

Взяв его под руку и стараясь загородить от него Еву, она увела его, думая: «Видел он нас? Мог он нас заметить?» — Ты тепло одета? — пробурчал Сомс.

— Очень!

— Верь вам, женщинам! Ветер с востока — а ты посмотри на свою шею! Право, не понимаю.

— Зато я понимаю, милый.

Серые глаза Сомса одобрительно осмотрели ее с ног до головы.

— Что ты здесь делала? — спросил он.

И Флер подумала: «Слава богу, не видел! Иначе он ни за что бы не спросил». И она ответила:

— Я просто интересуюсь искусством, так же как и ты, милый.

— А я остановился у твоей тетки на Грин-стрит. Этот восточный ветер отражается на моей печени. А как твой... как Майкл?

— О, прекрасно — изредка хандрит. У нас вчера был званый обед.

Годовщина свадьбы! Реализм Форсайтов заставил его пристально заглянуть в глаза Флер.

Опуская руку в карман пальто, он сказал:

— Я нес тебе подарок.

Флер, увидела что-то плоское, завернутое в розовую папиросную бумагу.

— Дорогой мой, а что это?

Сомс снова спрятал пакетик в карман.

— После посмотрим. Кто-нибудь у тебя завтракает?

— Только Барт.

— «Старый Монт»? О господи!

— Разве тебе не нравится Барт, милый?

— Нравится? У меня с ним нет ничего общего.

— Я думала, что вы как будто сходитесь в политических вопросах.

— Он реакционер, — сказал Сомс.

— А ты кто, дорогой?

— Я? А зачем мне быть кем-нибудь? — И в этих словах сказала вся его политическая программа — не вмешиваться ни во что; чем старше он становился, тем больше считал, что это — единственно правильная позиция каждого здравомыслящего человека.

— А как мама?

— Прекрасно выглядит. Я ее совершенно не вижу — у нее гостит ее мамаша, она целыми днями в бегах.

Сомс никогда не называл мадам Ламот бабушкой Флер — чем меньше его дочь будет иметь дела со своей французской родней, тем лучше.

— Ах! — воскликнула Флер. — Вот Тинг и кошка!

Тинг-а-Линг, вышедший на прогулку, рвался на поводке из рук горничной и отчаянно фыркал, пытаясь влезть на решетку, где сидела черная кошка вся ощерившись, сверкая глазами.

— Дайте мне его, Элен. Иди к маме, милый.

И Тинг-а-Линг пошел: вырваться все равно было нельзя; но он все время оборачивался, фыряка и скаля зубы.

— Люблю, когда он такой естественный, — сказала Флер.

— Выброшенные деньги — такая собака, — заметил Сомс. — Тебе надо было купить бульдога — пусть бы спал в холле. Нет конца грабегам. У тети украли дверной молоток.

— Я бы не рассталась с Тингом и за сто молотков.

— В один прекрасный день у тебя и его украдут — эта порода в моде!

Флер открыла дверь.

— Ой, — сказала она, — Барт уже пришел!

Блестящий цилиндр красовался на мраморном ларе, подаренном Сомсом и предназначенном для хранения верхнего платья, на страх моли.

Поставив свой цилиндр рядом с тем, Сомс поглядел на них. Они были до смешного одинаковые — высокие, блестящие, с той же маркой внутри. Сомс опять стал носить цилиндр после провала всеобщей стачки и забастовки горняков 1921 года, инстинктивно почувствовав, что революция на довольно значительное время отсрочена.

— Так вот, — сказал он, вынимая розовый пакетик из кармана, — не знаю, понравится ли тебе, посмотри!

Это был причудливо выточенный, причудливо переливающийся кусочек опала в оправе из крохотных бриллиантов.

— О, какая прелесть! — обрадовалась Флер.

— Венера, выходящая из морской пены, или что-то в этом духе, — проворчал Сомс. — Редкость. Нужно ее смотреть при сильном освещении.

— Но она очаровательна. Я сейчас же ее надену.

Венера! Если бы папа только знал! Она обвила его шею руками, чтобы скрыть смущение. Сомс с обычной сдержанностью позволил ей потереться щекой о его гладко выбритое лицо. Зачем излишние проявления любви, когда они оба и так знают, что его чувство вдвое сильнее чувства Флер?

— Ну, надень, — сказал он, — посмотрим.

Флер приколола опал у ворота, глядя на себя в старинное, в лакированной раме, зеркало.

— Изумительно! Спасибо тебе, дорогой. Да, твой галстук в порядке. Мне нравятся эти белые полосочки. Ты всегда носи его к черному. Ну, пойдём! — и она потянула его за собой в китайскую комнату. Там никого не было.

— Барт, наверно, наверно у Майкла — обсуждает свою новую книгу.

— В его годы — писать! — сказал Сомс.

— Миленький, да он на год моложе тебя!

— Но я-то не пишу. Не так глуп. Ну, а у тебя завелись еще какие-нибудь эдакие новомодные знакомые?

— Только один. Гэрдон Минхо, писатель.

— Тоже из новых?

— Что ты, милый! Неужели ты не слышал о Гэрдоне Минхо? Он стар как мир.

— Все они для меня одинаковы, — проворчал Сомс. — Он на хорошем счету?

— Да, я думаю, что его годовой доход побольше твоего. Он почти классик — ему для этого остается только умереть.

— Надо будет достать какую-нибудь из его книг и почитать. Как ты его назвала?

— Ты достань «Рыбы и рыбки» Гэрдона Минхо. Запомнишь, правда? А-а, вот и они! Майкл, посмотри, что папа мне подарил.

Взяв его руку, она приложила ее к опалу на своей шее. «Пусть они оба видят, в каких мы хороших отношениях», — подумала она. Хотя отец и не видел ее с Уилфридом в галерее, но совесть ей подсказывала: «Укрепляй свою репутацию — неизвестно, какая поддержка понадобится тебе в будущем».

Украдкой она наблюдала за стариками. Встречи «Старого Монта» со «Старым Форсайтом», как называл ее отца Барт, говоря о нем с Майклом, вызывали у нее желание смеяться — совершенно неизвестно почему. Барт знал все — но все его знания были словно прекрасно переплетенные и аккуратно изданные в духе восемнадцатого века томики. Ее отец знал только то, что ему было выгодно знать, но его знания не были систематизированы и не входили ни в какие рамки. Если он и принадлежал к концу викторианской эпохи, то все же умел, когда было нужно, пользоваться достижениями позднейших периодов. «Старый Монт» верил в традиции, «Старый Форсайт» — ничуть. Зоркая Флер давно подметила разницу в пользу своего отца. Однако разговоры «Старого Монта» были много современнее, живее, поверхностнее, язвительнее. менее связаны с точной информацией, а речь Сомса всегда была сжата, деловита. Просто невозможно сказать, который из них — лучший музейный экспонат. И оба так хорошо сохранились!

Они, собственно, даже не поздоровались, только Сомс пробурчал что-то о погоде. И почти сразу все принялись за воскресный завтрак — Флер, после длительных стараний, удалось совершенно лишить его обычного британского характера. И действительно, им был подан салат из омаров, ризотто из цыплячьих печенок, омлет с ромом и десерт настолько испанского вида, как только было возможно.

— Я сегодня была у Тэйта, — проговорила Флер. — Право, по-моему, это трогательное

зрелище.

— Трогательное? — фыркнул Сомс.

— Флер хочет сказать, сэр, что видеть сразу так много старых английских картин — это все равно, что смотреть на выставку младенцев.

— Не понимаю, — сухо возразил Сомс. — Там есть прекрасные работы.

— Но не «взрослые»!

— А вы, молодежь, принимаете всякое сумасшедшее умничанье за зрелость.

— Нет, папа, Майкл не то хочет сказать. Ведь правда, у английской живописи еще не прорезались зубы мудрости. Сразу видишь разницу между английской и любой континентальной живописью.

— И благодарение богу за это! — перебил сэр Лоренс. — Искусство нашей страны прекрасно своей невинностью. Мы самая старая страна в политическом отношении и самая юная — в эстетическом. Что вы скажете на это, Форсайт?

— Тернер для меня достаточно стар и умен, — коротко бросил Сомс. — Вы придете на заседание правления ОГС во вторник?

— Во вторник? Как будто мы собирались поохотиться, Майкл?

Сомс проворчал:

— Придется с этим подождать. Мы утверждаем отчет.

Благодаря влиянию «Старого Монта» Сомс попал в правление одного из богатейших страховых предприятий — Общества Гарантийного Страхования и, по правде говоря, чувствовал себя там не совсем уверенно. Несмотря на то, что закон о страховании был одним из надежнейших в мире, появились обстоятельства, которые причиняли ему беспокойство. Сомс покосился через стол. Весьма легковесен этот узколобый, мохнатобровый баронетишка — вроде своего сына! И Сомс внезапно добавил:

— Я не вполне спокоен. Если бы я знал раньше, как этот Элдерсон ведет дела, — сомневаюсь, что я вошел бы в правление.

Лицо «Старого Монта» расплылось так, что, казалось, обе половинки разойдутся.

— Элдерсон! Его дед был у моего деда агентом по выборам во время билля о парламентской реформе; он провел его через самые корруптированные выборы, какие когда-либо имели место, купил все голоса, перецеловал всех фермерских жен. Великие времена, Форсайт, великие времена!

— И они прошли, — сказал Сомс. — Вообще я считаю, что нельзя так доверять одному человеку, как мы доверяем Элдерсону. Не нравятся мне эти иностранные страховки.

— Что вы, дорогой мой Форсайт! Этот Элдерсон — первоклассный ум. Я знаю его с детства, мы вместе учились в Уинчестере.

Сомс глухо заворчал. В этом ответе «Старого Монта» крылась главная причина его беспокойства. Члены правления все словно учились вместе в Уинчестере. Тут-то и зарыта собака! Они все до того почтенны, что не решаются взять под сомнение не только друг друга, но даже свои собственные коллективные действия. Пуще ошибок, пуще обмана они боятся выказать недоверие друг к другу. И это естественно: недоверие друг к Другу есть зло непосредственное. А, как известно, непосредственных неприятностей и стараются избегать. И в самом деле, только привычка, унаследованная Сомсом от своего отца Джемса, — привычка лежать без сна между двумя и четырьмя часами ночи, когда из кокона смутного опасения так легко вылетает бабочка страха, — заставляла его беспокоиться. Конечно, ОГС было столь внушительным предприятием и сам Сомс был так недавно с ним связан, что явно преждевременно было чують недоброе, — тем более, что ему пришлось бы уйти из правления и потерять тысячу в год, которую он получал там, если бы он поднял тревогу без всякой причины. А что если причина все же есть? Вот в чем беда! А тут еще этот «Старый Монт» сидит и болтает об охоте и своем дедушке. Слишком узкий лоб у этого человека! И невесело подумав: «Никто из всех них, даже моя родная дочь, не способны ничего принимать всерьез», — он окончательно замолк. Возня у его локтя заставила его очнуться — это собачонка вскочила на стул между ним и Флер! Кажется, ждет, чтоб он дал ей что-нибудь? У

нее скоро глаза выскочат. И Сомс сказал:

— Ну, а тебе что нужно? — Как это животное смотрит на него своими пуговицами для башмаков! — На, — сказал он, протягивая собаке соленую миндалину, — не ешь их, верно?

Но Тинг-а-Линг съел.

— Он просто обожает миндаль, папочка. Правда, мой миленький?

Тинг-а-Линг поднял глаза на Сомса, и у того появилось странное ощущение. «По-моему, этот звереныш меня любит, — подумал он, — всегда на меня смотрит». Он дотронулся до носа Тинга концом пальца. Тинг-а-Линг слегка лизнул палец своим загнутым черноватым язычком.

— Бедняга! — непроизвольно сорвалось у Сомса, и он обернулся к «Старому Монту».

— Забудьте, что я говорил.

— Дорогой мой Форсайт, а что, собственно, вы сказали?

Господи помилуй! И он сидит в правлении рядом с таким человеком! Что заставило его принять этот пост — один бог знает, — ни деньги, ни лишние заботы ему не были нужны. Как только он стал одним из директоров, вся его родня — Уинифрид и другие — стала покупать акции, чтобы заработать на подоходный налог: семь процентов с привилегированных акций, девять процентов с обычных, вместо тех верных пяти процентов, которыми им следовало бы довольствоваться. Вот так всегда: он не может сделать ни шагу, чтобы за ним не увязались люди. Ведь он был всегда таким верным, таким прекрасным советником в путаных денежных делах. И теперь, в его годы, такое беспокойство! В поисках утешения его глаза остановились на опале у шеи Флер — красивая вещь, красивая шея! Да! У нее совсем счастливый вид — забыла свое несчастное увлечение, — как-никак, два года прошло. За одно это стоит благодарить судьбу. Теперь ей нужен ребенок, чтобы сделать ее устойчивее во всей этой модной суете среди грошовых писак, художников и музыкантов. Распущенная публика. Впрочем, у Флер умная головка. Если у нее будет ребенок, надо будет положить на ее имя еще двадцать тысяч. У ее матери одно достоинство: в денежных делах очень аккуратна, — хорошая французская черта. И Флер, насколько ему известно, тоже знает цену деньгам. Что такое? До его слуха долетело слово «Гойя». Выходит новая его биография? Гм... Это подтвердило медленно крепнущее в нем убеждение, что Гойя снова на вершине славы.

— Пожалуй, расстанусь с этой вещью, — сказал он, указывая на картину. — Тут сейчас есть один аргентинец.

— Продать вашего Гойю, сэр? — удивился Майкл. — Вы только подумайте, как все сейчас завидуют вам.

— За всем не угнаться, — сказал Сомс.

— Репродукция, которую мы сделали для новой биографии, вышла изумительно. «Собственность Сомса Форсайта, эсквайра». Дайте нам сначала хоть выпустить книгу, сэр.

— Тень или сущность, а? Форсайт? Узколобый баронетишка — насмехается он, что ли?

— У меня нет родового поместья, — сказал он.

— Зато у нас есть, сэр, — ввернул Майкл. — Вы могли бы завещать картину Флер.

— Посмотрим, заслужит ли она, — сказал Сомс. И посмотрел на дочь.

Флер редко краснела: она просто взяла Тинг-а-Линга на руки и встала из-за испанского стола. Майкл пошел за ней.

— Кофе в комнате рядом, — сказал он.

«Старый Форсайт» и «Старый Монт» встали, вытирая усы.

VII. «СТАРЫЙ МОНТ» И «СТАРЫЙ ФОРСАЙТ»

Контора ОГС находилась недалеко от Геральдического управления. Сомс, знавший, что «три червленые пряжки на черном поле вправо» и «натурального цвета фазан» за немалую мзду были получены его дядей Суизином в шестидесятых годах прошлого века, всегда презрительно отзывался об этом учреждении, пока, примерно с год назад, его не поразила

фамилия Голдинг, попавшаяся ему в книге, которую он рассеянно просматривал в «Клубе знатоков». Автор пытался доказать, что Шекспир в действительности был Эдуард де Вир, граф Оксфорд. Мать графа была урожденная Голдинг, и мать Сомса — тоже! Совпадение поразило его; и он стал читать дальше. Он отложил книгу, не уверенный в правильности ее основных выводов, но у него определенно зародилось любопытство: не приходится ли он родственником Шекспиру? Даже если считать, что граф не был поэтом, все же Сомс чувствовал, что такое родство только почетно, хотя, насколько ему удалось выяснить, граф Оксфорд был темной личностью. Когда Сомс попал в правление ОГС и раз в две недели, по вторникам, стал проходить мимо этого учреждения, он думал: «Денег я на это тратить не стану, но как-нибудь загляну сюда». А когда заглянул, сам удивился, насколько это его захватило. Проследить родословную матери оказалось чемто вроде уголовного расследования: почти так же запутано и совершенно так же дорого. С форсайтским упорством он не мог уже остановиться в своих поисках матери Шекспира де Вир, даже если бы она оказалась только дальней родней. К несчастью, он никак не мог проникнуть дальше некоего Уильяма Гоулдинга, времен Оливера Кромвеля, по роду занятий «ингерера». Сомс даже боялся разузнать, какая это, в сущности, была профессия. Надо было раскопать еще четыре поколения — и он тратил все больше денег и все больше терял надежду что-нибудь получить за них. Вот почему во вторник, после завтрака у Флер, он по дороге в правление так косо смотрел на старое здание. Еще две бессонные ночи до того взвинтили его, что он решил больше не скрывать своих подозрений и выяснить, как обстоят дела в ОГС. И неожиданное напоминание о том, что он тратит деньги как попало, когда в будущем, пусть отдаленном, придется, чего доброго, выполнять финансовые обязательства, совершенно натянуло его и без того напряженные нервы. Отказавшись от лифта и медленно подымаясь на второй этаж, он снова перебирал всех членов правления. Старого лорда Фонтенон держали там, конечно, только ради имени; он редко посещал заседания и был, как теперь говорили... мм-м... «пустым местом». Председатель сэръ Льюк Шерман, казалось, всегда старался только о том, чтобы его не приняли за еврея. Нос у него был прямой, но веки внушали подозрение. Его фамилия была безукоризненна, зато имя — сомнительно; голосу он придавал нарочитую грубоватость, зато его платье имело подозрительную склонность к блеску. А в общем это был человек, о котором, как чувствовал Сомс, нельзя было сказать, несмотря на весь его ум, что он относится к делу вполне серьезно. Что касается «Старого Монта» — ну, какая польза правлению от девятого баронета? Хью Мэйрик, королевский адвокат — последний из троицы, которая «вместе училась», — был безусловно на месте в суде, но заниматься делами не имел ни времени, ни склонности. Оставался этот обращенный квакер, старый Кэтберт Мозергилл, чья фамилия в течение прошлого столетия стала нарицательной для обозначения честности и успеха в делах, так что до сих пор Мозергиллов выбирали почти автоматически во все правления. Это был глуховатый, приятный, чистенький старичок, необычайно кроткий — и ничего больше. Абсолютно честная публика, несомненно, но совершенно поверхностная. Никто из них по-настоящему не интересуется делом. И все они в руках у Элдерсона; кроме Шермана, пожалуй, да и тот ненадежен! А сам Элдерсон — умница, артист в своем роде; с самого начала был директором-распорядителем и знает дело до мельчайших подробностей. Да! В этом все горе! Он завоевал себе престиж своими знаниями, годами успеха; все заискивают перед ним и не удивительно! Плохо то, что такой человек никогда не признается в своей ошибке, потому что это разрушило бы представление о его непогрешимости. Сомс считал себя достаточно непогрешимым, чтобы знать, как неприятно в чем бы то ни было признаваться. Десять месяцев назад, когда он вступал в правление, все, казалось, шло полным ходом: на бирже падение цен достигло предела — по крайней мере все так считали — и поэтому гарантийное страхование заграничных контрактов, предложенное Элдерсоном с год назад, представлялось всем, при некотором подъеме на бирже, самой блестящей из всех возможностей. И теперь, через год. Сомс смутно подозревал, что никто не знает в точности, как обстоят дела, — а до общего собрания осталось только шесть недель! Пожалуй, даже Элдерсон ничего не знает, а если и

знает, то упорно держит про себя те сведения, которые по праву принадлежат всему директорату.

Сомс вошел в кабинет правления без улыбки. Все налицо, даже лорд Фонтенон и «Старый Монт», — ага, отказался от своей охоты! Сомс сел поодаль, в кресло у камина. Глядя на Элдерсона, он внезапно совершенно отчетливо понял всю прочность положения Элдерсона и всю непрочность ОГС. При неустойчивости валюты они никак не могут точно установить своих обязательств — они просто играют вслепую. Слушая протокол предыдущего заседания и очередные дела, подперев подбородок рукой, Сомс переводил глаза с одного на другого — старый Мозергилл, Элдерсон, Монт напротив, Шерман на месте председателя, Фонтеной, спиной к нему Мэйрик — решающее заседание правления в этом году. Он не может, не должен ставить себя в ложное положение. Он не имеет права впервые встретиться с держателями акций, не запасшись точными сведениями о положении дел. Он снова взглянул на Элдерсона — приторная физиономия, лысая голова, как у Юлия Цезаря; ничего такого, что внушало бы излишний оптимизм или излишнее недоверие, — пожалуй, даже слегка похож на старого дядю Николаев Форсайта, чьи дела всегда служили примером позапрошлomu поколению. Когда директор-распорядитель окончил свой доклад. Сомс уставился на розовое лицо сонного старого Мозергилла и сказал:

— Я считаю, что этот отчет неточно освещает наше положение. Я считаю нужным собрать правление через неделю, господин председатель, и в течение этой недели каждого члена правления необходимо снабдить точными сведениями об иностранных контрактах, которые не истекают в текущем финансовом году. Я заметил, что все они попали под общую рубрику обязательств. Меня это не удовлетворяет. Они должны быть выделены совершенно особо. — И, переведя взгляд мимо Элдерсона прямо на лицо «Старого Монта», он продолжал: — Если в будущем году положение на континенте не изменится к лучшему — в чей я сильно сомневаюсь, — я вполне готов ожидать, что эти сделки приведут нас в тупик.

Шарканье подошв, движение ног, откашливание, какими обычно выражается смутное чувство обиды, встретили слова «в тупик», и Сомс почувствовал что-то вроде удовлетворения. Он встряхнул их сонное благодущие, заставил их испытать те опасения, от которых сам так страдал в последнее время.

— Мы всегда все наши обязательства рассматриваем под общей рубрикой, мистер Форсайт.

Какой наивный тип!

— И, по-моему, напрасно. Страхование иностранных контрактов — дело новое. И если я верно, понимаю вас, то нам, вместо того чтобы выплачивать дивиденды, надо отложить прибыли этого года на случай убытков в будущем году.

Снова движение и шарканье.

— Дорогой сэр, это абсурдно!

Бульдог, сидевший в Сомсе, зарычал.

— Вы так думаете! — сказал он. — Получу я эти сведения или нет?

— Разумеется, правление может получить все сведения, какие пожелает. Но разрешите мне заметить по общему вопросу, что тут может идти речь только об оценке обязательств. А мы всегда были весьма осторожны в наших оценках.

— Тут возможны разные мнения, — сказал Сомс, — и мне кажется, важнее всего узнать мнение директоров, после того как они тщательно обсудят цифровые данные.

Заговорил «Старый Монт»:

— Дорогой мой Форсайт, подробный разбор каждого контракта отнял бы у нас целую неделю и ничего бы не дал; мы можем только обсудить итоги.

— Из этих отчетов, — сказал Сомс, — нам не видно соотношение — в какой именно степени мы рискуем при страховании заграничных и отечественных контрактов; а при нынешнем положении вещей это очень важно.

Заговорил председатель:

— Вероятно, это не встретит препятствия, «Улдерсон! Но во всяком случае, мистер

Форсайт, нельзя же в этом году лишать людей дивидендов в предвидении неудач, которых как мы надеемся, не будет.

— Не знаю — сказал Сомс. — Мы собрались здесь, чтобы выработать план действий согласно здравому смыслу, и мы должны иметь полнейшую возможность это сделать. Это мой главный довод. Мы недостаточно информированы.

«Наивный тип» заговорил снова:

— Мистер Форсайт как будто высказывает недостаток доверия по отношению к руководству?

Ага, как будто берет быка за рога!

— Получу я эти сведения?

Голос старенького Мозергилла уютно заворковал в тишине:

— Заседание, конечно, можно бы отложить, господин председатель. Я сам мог бы приехать в крайнем случае. Может быть, мы все могли бы присутствовать. Конечно, времена нынче очень необычные — мы не должны рисковать без особой необходимости. Практика иностранных контрактов — вещь для нас, без сомнения, несколько новая. Пока что у нас нет оснований жаловаться на результаты. И право же, мы все с величайшим Доверием относимся к нашему директору-распорядителю. И все-таки, раз мистер Форсайт требует этой информации, надо бы нам, по моему мнению, получить ее. Как вы полагаете, милорд?

— Я не могу прийти на следующей неделе. Согласен с председателем, что совершенно излишне отказываться от дивидендов в этом году. Зачем подымать тревогу, пока нет оснований? Когда будет опубликован отчет, Элдерсон?

— Если все пойдет нормально, то в конце недели.

— Сейчас не нормальное время, — сказал Сомс. — Короче говоря, если я не получу точной информации, я буду вынужден подать в отставку.

Он прекрасно видел, что они думают: «Новичок — и подымает такой шум!» Они охотно приняли бы его отставку — хотя это было бы не совсем удобно перед общим собранием, если только они не смогут сослаться на «болезнь его жены» или на другую уважительную причину; а уж он постарается не дать им такой возможности!

Председатель холодно сказал:

— Хорошо, отложим заседание правления до следующего вторника; вы сможете представить нам эти данные, Элдерсон?

— Конечно!

В голове у Сомса мелькнуло: «Надо бы потребовать ревизии». Но он поглядел кругом. Пожалуй, не стоит заходить слишком далеко, раз он собирается остаться в правлении; а желания уйти у него нет — в конце концов это прекрасное место — и тысяча в год! Да. Не надо перегибать палку!

Уходя, Сомс чувствовал, что его триумф сомнителен; он был даже не совсем уверен — принес ли он какую-нибудь пользу. Его выступление только сплотило всех, кто «вместе учился», вокруг Элдерсона. Шаткость его позиции заключалась в том, что ему не на что было сослаться, кроме какого-то внутреннего беспокойства, которое при ближайшем рассмотрении просто оказывалось желанием активнее участвовать в деле, а между тем, двух директоров-распорядителей быть не может — и своему директору надо верить.

Голос за его спиной застрекотал:

— Ну, Форсайт, вы нас прямо поразили вашим ультиматумом. Первый раз на моей памяти в правлении случается такая вещь.

— Сонное царство, — сказал Сомс.

— Да, я там обычно дремлю. Там всегда к концу такая духота. Лучше бы я поехал на охоту. Даже в такое время года это приятное занятие.

Неисправимо легкомыслен этот болтун баронет!

— Кстати, Форсайт, я давно хотел вам сказать. Это современное нежелание иметь детей и всякие эти штуки начинают внушать беспокойство. Мы не королевская фамилия, но не согласны ли вы, что пора позаботиться о наследнике?

Сомс был согласен, но не желал говорить на такую щекотливую тему в связи со своей дочерью.

— Времени еще много, — пробормотал он.

— Не нравится мне эта собачка, Форсайт.

Сомс удивленно посмотрел на него.

— Собака? — сказал он. — А какое она имеет отношение?

— Я считаю, что сначала нужен ребенок, а потом уже собака. Собаки и поэты отвлекают внимание молодых женщин. У моей бабушки к двадцати семи годам было пятеро детей. Она была урожденная Монтжой. Удивительно плодовитая семья! Вы их помните? Семь сестер Монтжой, все красавицы. У старика Монтжоя было сорок семь дней. Теперь этого не бывает, Форсайт!

— Страна и так перенаселена, — угрюмо сказал Сомс.

— Не той породой, какой нужно. Надо бы их поменьше, а наших — побольше. Это стоило бы ввести законодательным путем.

— Поговорите с вашим сыном!

— О, да ведь они, знаете ли, считают нас ископаемыми.

Если бы мы могли хоть указать им смысл жизни. Но это трудно, Форсайт, очень трудно!

— У них есть все, что им нужно, — сказал Сомс.

— Недостаточно, дорогой мой Форсайт, недостаточно. — Мировая конъюнктура действует на нервы молодежи. Англии — крышка, говорят они, и Европе — крышка. Раю тоже крышка, и аду — тоже. Нет будущего ни в чем, Нет воздуха. А размножаться в воздухе нельзя... во всякой случае, я сомневаюсь в этом — трудности возникают нем.

Сомс фыркнул.

— Если бы только журналистам заткнуть глотки» — сказал он. В последнее время, когда в газетах перестали писать каждый день про всякие страхи, Сомс снова испытывал здоровое форсайтское чувство безопасности. Надо нам только держаться подальше от Европы, — добавил он.

— Держаться подальше и не дать вышибить себя с ринга! Форсайт, мне кажется, вы нашли правильный путь! Быть в хороших отношениях со Скандинавией, Голландия Испанией, Италией. Турцией — со всеми окраинными странами, куда мы можем пройти морем. А остальные нанесут свой жребий. Это мысль!..

Как этот человек трещит!

— Я не политик, — сказал Сомс.

— Держаться на ринге! Новая формула! Мы к этому бессознательно и шли. А что касается торговли — говорю, что мы не можем жить, не торгуя с той или другой страной, — это чепуха, дорогой мой Форсайт. Мир велик — отлично можем!

— Ничего в этом не понимаю, — сказал Сомс — Я только знаю, что нам надо прекратить страхование этих иностранных контрактов.

— А почему не ограничить его странами, которые тоже борются на ринге? Вместо «равновесия сил» — «держаться на ринге»! Право же, это гениальная мысль!

Сомс, обвиненный в гениальности, поспешно перебил:

— Я вас тут покину — я иду к дочери!

— А-а! Я иду к сыну. Посмотрите на этих несчастных!

По набережной у Блэкфрайерского моста уныло плелась группа безработных с кружками для пожертвований.

— Революция в зачатке! Вот о чем, к сожалению, всегда забывают, Форсайт!

— О чем именно? — мрачно спросил Сомс.

Неужели этот тип будет трещать всю дорогу до дома Флер?

— Вымойте рабочий класс, оденьте его в чистое, красивое платье, научите их говорить, как мы с вами, — и классовое сознание у них исчезнет. Все дело в ощущениях. Разве вы не предпочли бы жить в одной комнате с чистым, аккуратно одетым слесарем, чем с

разбогатевшим выскочкой, который говорит с вульгарным акцентом и распространяет аромат опопанакса? Конечно предпочли бы!

— Не пробовал, не знаю, — сказал Сомс.

— Вы прагматик! Но поверьте мне. Форсайт, если бы рабочий класс больше думал о мытье и хорошем английском выговоре вместо всякой там политической и экономической ерунды, равенство установилось бы в два счета!

— Мне не нужно равенство, — сказал Сомс, беря билет до Вестминстера.

«Трескотня» преследовала его, даже когда он спускался к поезду подземки.

— Эстетическое равенство, Форсайт, если бы оно у нас было, устранило бы потребность во всяком другом равенстве. Вы видели когда-нибудь нуждающегося профессора, который хотел бы стать королем?

— Нет, — сказал Сомс, разворачивая газету.

VIII. БИКЕТ

Веселая беззаботность Майкла Монта, словно блестящая полировка, скрывала, насколько углубился его характер за два года оседлости и постоянства. Ему приходилось думать о других. И его время было занято. Зная с самого начала, что Флер только снизошла к нему, целиком принимая полуправильную поговорку: «*Ny a toujours's un qui baise, et l'autre qui tend la joue*», он проявил необычайные качества в налаживании семейных отношений. Однако в своей общественной и издательской работе он никак не мог установить равновесия. Человеческие отношения он всегда считал выше денежных. Все же у Дэнби и Уинтера с ним вполне ладили, и фирма даже не проявляла признаков банкротства, которое ей предсказал Сомс, когда услышал от зятя, по какому принципу тот собирается вести дело. Но и в издательском деле, как и на всех прочих жизненных путях, Майкл не находил возможным строго следовать определенным принципам. Слишком много факторов попадало в поле его деятельности — факторов из мира людей, растений, минералов.

В тот самый вторник, днем, после долгой возни с ценностями растительного мира — с расценками бумаги и полотна, — Майкл, насторожив свои заостренные уши, слушал жалобы упаковщика, пойманного с пятью экземплярами «Медяков» в кармане пальто, положенных им туда с явным намерением реализовать их в свою пользу.

Мистер Дэнби велел ему «выкатываться». Он и не отрицает, что собирался продать книги, — а что бы сделал мистер Монт на его месте? За квартиру он задолжал, а жена нуждается в питании после воспаления легких, очень нуждается!

«Ах, черт! — подумал Майкл. — Да я бы стащил целый тираж, если б Флер нужно было питаться после воспаления легких!» — Не могу же я прожить на одно жалованье при теперешних ценах, не могу, мистер Монт, честное слово.

Майкл повернулся к нему:

— Но послушайте, Бикет, если мы вам позволим таскать книжки, все упаковщики начнут таскать. А что тогда станется с Дэнби и Уинтером? Вылетят в трубу. А если они вылетят в трубу, куда вы все вылетите? На улицу. Так лучше пусть один из вас вылетит на улицу, чем все, не так ли?

— Да, сэр, я понимаю вас, все это — истинная правда. Но правдой не проживешь, всякая мелочь выбьет из колеи, когда сидишь без хлеба. Попросите мистера Дэнби еще раз испытать меня.

— Мистер Дэнби всегда говорит, что работа упаковщика требует особого доверия, потому что почти невозможно за вами углядеть.

— Да, сэр, уж я это запомню на будущее; но при нынешней безработице, да еще без рекомендаций, мне нипочем не найти другого места. А что будет с моей женой?

Для Майкла это прозвучало, как будто его спросили:

«А что будет с Флер?» Он зашагал по комнате; а Бикет, еще совсем молодой парень, смотрел на него большими тоскливыми глазами. Вдруг Майкл остановился, засунув руки в

карманы и приподняв плечи.

— Я его попрошу, — сказал он, — но вряд ли он согласится; скажет, что это нечестно по отношению к другим. Вы взяли пять экземпляров, это уж чересчур, знаете ли! Верно, вы и раньше брали, правда, а?

— Эх, мистер Монт, признаюсь по совести, если это поможет: я раньше тоже стащил несколько штук, только этим и спас жену от смерти. Вы не представляете, что значит для бедного человека воспаление легких.

Майкл взъерошил волосы.

— Сколько лет вашей жене?

— Совсем еще девочка — двадцать лет.

Только двадцать — одних лет с Флер!

— Я вам скажу, что я сделаю, Бикет: я объясню все дело мистеру Дезерту; если он заступится за вас, может, на мистера Дэнби это подействует.

— Спасибо вам, мистер Монт, — вы настоящий джентльмен, мы все это говорим.

— А, ерунда! Но вот что, Бикет, — вы ведь рассчитывали на эти пять книжек. Вот возьмите, купите жене, что нужно. Только, бога ради, не говорите мистеру Дэнби.

— Мистер Монт, да я вас ни за что на свете не выдам — ни слова не пророню, сэр. А моя жена... да она...

Всхлип, шарканье — и Майкл, оставшись один, еще глубже засунул руки в карманы, еще выше поднял плечи. И вдруг он рассмеялся. Жалость! Жалость — чушь! Все вышло адски глупо! Он только что заплатил Бикету за кражу «Медяков». Ему вдруг захотелось пойти за маленьким упаковщиком, посмотреть, что он сделает с этими двумя фунтами, — посмотреть, правда ли «воспаление легких» существует, или этот бедняк с тоскливыми глазами все выдувал? Невозможно проверить, увы! Вместо этого надо позвонить Уилфриду и попросить замолвить слово перед старым Дэнби. Его собственное слово уже потеряло всякий вес. Слишком часто он заступался. Бикет! Ничего ни о ком не знаешь! Темная штука жизнь, все перевернуто. Что такое честность? Жизнь нажимает — человек сопротивляется, и если побеждает сопротивление, это и зовется честностью. А к чему сопротивляться? Люби ближнего, как самого себя, — но не больше! И разве не во сто раз труднее Бикету при двух фунтах в неделю любить его, чем ему, при двадцати четырех фунтах в неделю, любить Бикета?

— Алло... Ты, Уилфрид?... Говорит Майкл... Слушай, один из наших упаковщиков таскал «Медяки». Его выставили, беднягу. Я и подумал — не заступишься ли ты за него, — старый Дэн меня и слушать не станет... да, у него жена ровесница Флер... говорит — воспаление легких. Больше таскать не станет — твои-то наверняка! Страховка благодарностью — а?.. Спасибо, старина, очень тебе благодарен. Так ты заглянешь сейчас? Домой можем пойти вместе... Ага! Ну ладно, во всяком случае ты сейчас заглянешь! Пока!

Хороший малый этот Уилфрид! Действительно, чудесный малый, несмотря на... несмотря на что?

Майкл положил трубку, и вдруг ему вспомнились облака дыма, и газы, и грохот — все то, о чем его издательство принципиально отказывалось что-либо печатать, так что он привык немедленно отклонять всякую рукопись на эту тему. Война, может быть, и кончилась, но в нем и в Уилфриде она все еще жила.

Он взял трубку.

— Мистер Дэнби у себя? Ладно! При первой попытке к бегству дайте мне знать...

Между Майклом и его старшим компаньоном лежала пропасть не менее глубокая, чем между двумя поколениями, хотя отчасти ее заполнял мистер Уинтер — добродушный и покладистый человек средних лет.

Майкл, собственно, ничего не имел против мистера Дэнби — разве только то, что он был всегда прав, этот Филипп Норман Дэнби, из Скай-Хауза, на Кемден-Хилл. Это был человек лет шестидесяти, отец семейства, высоколобый, с грузным туловищем на коротких ногах, с выражением лица и непоколебимым и задумчивым. Его глаза были, пожалуй,

слишком близко поставлены, нос — слишком тонок, но все же в своем большом кабинете он выглядел весьма внушительно. Дэнби отвел глаза от пробного оттиска объявлений, когда вошел Уилфрид Дезерт.

— А, мистер Дезерт! Чем могу служить? Садитесь!

Дезерт не сел, посмотрел на рисунки, на свои пальцы, на мистера Дэнби и проговорил:

— Дело в том, что я прошу вас простить этого упаковщика, мистер Дэнби.

— Упаковщика? Ах да! Бикета! Это вам, наверно, сказал Монт?

— Да. У него молоденькая жена больна воспалением легких.

— Все они приходят к нашему милому Монту со всякими рассказнями, мистер Дезерт, — он очень мягкосердечен. Но, к сожалению, я не могу держать этого упаковщика. Это совершенно безобразная история. Мы давно стараемся выследить причину наших пропаж.

Дезерт прислонился к камину и уставился на огонь.

— Вот, мистер Дэнби, — сказал он, — ваше поколение любит мягкость в литературе, но в жизни вы очень жестоки. Наше — не выносит никакого сентиментальничанья, но мы во сто раз менее жестоки в жизни.

— Я не считаю это жестокостью, — ответил мистер Дэнби, — это просто справедливость.

— А вы знаете, что значит справедливость?

— Надеюсь, да.

— Попробуйте четыре года посидеть в аду — тогда и говорите!

— Я, право, не вижу никакой связи. То, что вы испытали, мистер Дезерт, конечно, очень тяжело.

Уилфрид повернулся и посмотрел на него в упор.

— Простите, что я так говорю, но сидеть тут и проявлять справедливость — еще тяжелее. Жизнь — настоящее чистилище для всех, кроме тридцати процентов взрослых людей.

Мистер Дэнби улыбнулся.

— Мы просто не могли бы вести наше дело, мой юный друг, если бы перестали от каждого требовать исключительной честности. Не делать разницы между честностью и нечестностью было бы весьма несправедливо. Вы это прекрасно знаете.

— Ничего я «прекрасно» не знаю, мистер Дэнби, и не верю тем, кто говорит, что все знает прекрасно.

— Ну, давайте скажем, что есть просто правила, которых нужно придерживаться, чтобы общество могло какимто образом существовать.

Дезерт тоже улыбнулся.

— А, к черту правила! Сделайте это как личное одолжение мне. Ведь эту проклятую книгу написал я!

Никаких признаков борьбы на лице мистера Дэнби не отразилось, но его глубоко посаженные, близко поставленные глаза слегка заблестели.

— Я был бы очень рад, но тут дело... гм-м... ну, совести, если хотите. Я не преследую этого человека. Я только его увольняю, вот и все.

Дезерт пожал плечами.

— Что ж, прощайте! — и вышел.

У дверей Майкл изнывал от неизвестности.

— Ну, как?

— Ничего не вышло. Старый хрыч чересчур справедлив.

Майкл взъерошил волосы.

— Подожди в моей комнате пять минут, пока я скажу этому бедняге, а потом я пойду с тобой.

— Нет, — сказал Дезерт, — мне в другую сторону.

Не то, что Дезерт «шел в другую сторону» — это часто с ним бывало, нет, что-то в

звук его голоса, выражении его лица не давало Майклу покоя, пока он спускался вниз, к Бикету. Уилфрид был страшный чудак вдруг совершенно неожиданно замыкался в себе.

Спустившись в «преисподнюю», Майкл спросил:

— Бикет ушел?

— Нет, сэр, вот он.

Действительно, вот он — его потертое пальто, бледное, изможденное лицо с несоразмерно большими глазами, узкие плечи.

— Очень жаль, Бикет, мистер Дезерт был там, но ничего не вышло.

— Не вышло, сэр?

— Держитесь молодцом, где-нибудь устройтесь.

— Боюсь, что нет, сэр. Ну, спасибо вам большое, и мистера Дезерта поблагодарите. Спокойной ночи, сэр, счастлив оставаться!

Майкл посмотрел ему вслед — он прошел по коридору и исчез в уличной мгле.

— Весело! — сказал Майкл и рассмеялся...

Естественные подозрения Майкла и его старшего компаньона, что Бикет сочиняет, были неосновательны: и про жену и про воспаление легких он сказал правду. И, шагая по направлению к Блэкфрайерскому мосту, он думал не о своей подлости и не о справедливости мистера Дэнби, а о том, что же он скажет жене. Конечно, он ей не признается, что его уличили в краже; придется сказать, что его выгнали за то, что он «нагрубил заведующему»; но что она теперь о нем подумает, когда все зависит именно от того, чтобы не грубить заведующему? Странная вещь — его чувство к ней: изо дня в день он приходил на работу в таком состоянии, словно «половина его нутра» оставалась в комнате, где лежала жена, а когда, наконец, доктор сказал ему: «Теперь она поправится, но она сильно истощена, надо ее подкормить», страх за нее привел его к твердому решению. В следующие три недели он «спер» восемнадцать экземпляров «Медяков», включая и те пять, которые нашли в его кармане. Он таскал книгу мистера Дезерта только потому, что она «здорово шла», и теперь он жалел, что не схватил еще чью-нибудь книжку. Мистер Дезерт оказался очень порядочным человеком. Бикет остановился на углу Стрэнда и пересчитал деньги. Вместе с двумя фунтами, полученными от Майкла, и жалованьем у него было всего-навсего семьдесят пять шиллингов. Зайдя в магазин, он купил мясной студень и банку сгущенного супа, который можно было развести кипятком. С набитыми карманами он сел в автобус и сошел на углу маленькой улочки на южном берегу Темзы. Он с женой занимал две комнатки в нижнем этаже за восемь шиллингов в неделю и задолжал за три недели. «Лучше уплатить, — подумал он, — хоть крыша над головой будет, пока жена не поправится». Ему легче будет сообщить ей о потере работы, показав квитанцию и вкусную еду. Какое счастье, что они поостереглись заводить ребенка! Он спустился в подвал. Хозяйка стирала белье, Она остановилась в искреннем изумлении перед такой полной и добровольной расплатой и справилась о здоровье жены.

— Поправляется, спасибо.

— Ну, я рада за вас! Наверно, у вас на душе полегчало.

— Ну еще бы! — сказал Бикет.

Хозяйка подумала: «Худ, как щепка, похож на невареную креветку, а глазищи-то какие!» — Вот квитанция, очень вам благодарна. Простите, что я вас беспокоила, но времена нынче тяжелые.

— Это верно, — сказал Бикет, — всего хорошего! Держа квитанцию и студень в левой руке, он открыл свою дверь.

Его жена сидела перед чуть тлеющим огнем. Подстриженные черные волосы, выющиеся на концах, отросли за время болезни; она встряхнула головой, обернувшись к нему, и улыбнулась. Бикету — и не впервые — эта улыбка показалась странной, «ужасно трогательной», загадочной — словно жена его понимает то, чего ему не понять. Звали ее Викториной, и Бикет сказал:

— Ну, Вик, студень я принес знаменитый и за квартиру заплатил.

Он сел на валик кресла, и она положила пальцы ему на колено — тонкая, синевато-бледная ручка выглядывала из рукава темного халатика.

— Ну как. Тони?

Лицо, худое, бледное, с огромными темными глазами и красивым изгибом бровей, казалось, глядит на тебя словно издали, а как взглянет — так и защемят сердце. Вот и теперь у него «защемят сердце», и он сказал:

— А как ты себя чувствуешь сегодня?

— Хорошо, много легче. Теперь я скоро выйду.

Бикет наклонился и припал к ее губам. Поцелуй длился долго — все чувства, которые он не умел выразить в течение последних трех недель, вылились в этом поцелуе. Он снова выпрямился, «словно оглушенный», уставился на огонь и сказал:

— Новости невеселые, я остался без места, Вик.

— О Тони! Почему же?

Бикет глотнул воздуха.

— Да, видишь, дела идут неважно, и штаты сокращаются.

Он совершенно определенно решил, что лучше подставит голову под газ, чем расскажет ей правду.

— О господи! Что же мы будем делать?

Голос Бикета стал тверже:

— Ты не тревожься — я уж устроюсь! — и он даже засвистал.

— Но ведь тебе так нравилась эта работа!

— Разве? Просто мне нравился кое-кто из ребят, но сама работа — что же в ней хорошего? Целый день без конца заворачивать книжки в подвале. Ну, давай поедим и пораньше ляжем спать, — мне кажется, что теперь, на свободе, я мог бы проспать целую неделю подряд.

Готовя с ее помощью ужин, он старался не глядеть ей в глаза — из страха, что у него опять «защемят сердце». Они были женаты всего год, познакомились в трамвае, и Бикет часто удивлялся, что привязало ее к нему, — он был на восемь лет старше, в армию не взят по состоянию здоровья. И все-таки она, наверно, любит его — иначе она не стала бы смотреть на него такими глазами.

— Сядь и попробуй студня.

Сам он ел хлеб с маргарином и пил какао на воде — у него вообще был неважный аппетит.

— Сказать тебе, чего бы мне хотелось? — проговорил он. — Мне бы хотелось уехать в Центральную Австралию! Там у нас была про это книжка. Говорят, туда большая тяга. Хорошо бы на солнышко! Я уверен, что попади мы на солнышко, мы с тобой стали бы вдвое толще, чем сейчас. Хотелось бы увидеть румянец на твоих щечках, Вик!

— А сколько стоит туда проехать?

— Много больше, чем мы с тобой можем достать, в том-то и беда. Но я все думаю. С Англией пора покончить. Тут слишком много таких, как я.

— Нет, — сказала Викторина, — таких, как ты, мало!

Бикет взглянул на нее и быстро опустил глаза в тарелку.

— За что ты полюбила меня?

— За то, что ты не думаешь в первую очередь о себе, вот за что.

— Думал сперва, пока с тобой не познакомился, но для тебя, Вик, я на все пойду!

— Ну, тогда съешь кусочек студня, он страшно вкусный.

Бикет покачал головой.

— Если б можно было проснуться в Центральной Австралии, — сказал он. — Но верно одно — мы проснемся опять в этой паршивой комнатенке. Ну, не беда, достану работу и заработаю!

— А мы не могли бы выиграть на скачках?

— Да ведь у меня ровным счетом сорок семь шиллингов, и если мы их проиграем, что с

тобой будет? А тебе надо хорошо питаться, сама знаешь. Нет, я должен найти работу.

— Наверно, тебе дадут хорошую рекомендацию, правда?

Бикет встал и отодвинул тарелку и чашку.

— Они бы дали, но такой работы не найти — всюду переполнено.

Сказать ей правду? Ни за что на свете!

В кровати, слишком широкой для одного и слишком узкой для двоих, он лежал с нею рядом, так что ее волосы почти касались его губ, и думал, что сказать в союзе и как получить работу. И мысленно, пока тянулись часы, он сжигал свои корабли. Чтобы получить пособие по безработице, ему придется рассказать в своем профсоюзе, что случилось. К черту союз! Не станет он перед ними отчитываться! Он-то знает, почему он стащил эти книги, но никому больше дела нет, никто не поймет его переживаний, когда он видел, как она лежала обессиленная, бледная, исхудавшая. Надо самому пробиваться! А ведь безработных полтора миллиона! Ладно, у него хватит денег на две недели, а там что-нибудь подвернется — может, он рискнет монеткой другой — и выиграет, почему знать! Вик зашевелилась во сне. «Да, — подумал он, — я бы опять это сделал...» На следующий день, пробежав много часов, он стоял под серым облачным небом, на серой улице, перед зеркальной витриной, за которой лежала груда фруктов, снопы колосьев, самородки золота и сверкающие синие бабочки под искусственным золотым солнцем австралийской рекламы. Бикету, никогда не выезжавшему из Англии и даже редко из Лондона, казалось, что он стоит в преддверии рая. В конторе атмосфера была не такая уж лучезарная, и деньги на проезд требовались значительные, но рай стал ближе, когда ему дали проспекты, которые почти что жгли ему руки — до того они казались горячими.

Усевшись в одно кресло — иногда лучше быть худым! — они вместе просматривали эти заколдованные страницы и впивали их жар.

— По-твоему, это все правда. Тони?

— Если тут хоть на тридцать процентов правды — с меня хватит. Нам непременно надо туда попасть, во что бы то ни стало! Поцелуй меня!

И под уличный грохот трамваев и фургонов, под дребезжание оконной рамы на сухом, пронизывающем восточном ветру они укрылись в свой спасительный, освещенный газом рай.

IX. СМЯТЕНИЕ

Часа через два после ухода Бикета Майкл медленно шел домой. Старик Дэнби прав, как всегда: если нельзя доверять упаковщикам — лучше закрыть лавочку. Не видя страдальческих глаз Бикета, Майкл сомневался. А может быть, у этого парня никакой жены и нет? Затем поведение Уилфрида вытеснило мысль о правдивости Бикета. Уилфрид так отрывисто, так странно говорил с ним последние три раза. Быть может, он поглощен стихами?

Майкл застал Тинг-а-Линга в холле у лестницы, где он упрямо ждал, не двигаясь. «Не пойду сам, — как будто говорил он, — пока кто-нибудь меня не отнесет. Пора бы, уже поздно!» — А где твоя хозяйка, геральдическое существо?

Тинг-а-Линг фыркнул: «Я бы, пожалуй, согласился, — намекнул он, чтобы вы понесли меня, — эти ступеньки очень утомительны!» Майкл взял его на руки.

— Пойдем, поищем ее.

Прижатый твердой рукой, не похожей на ручку его хозяйки, Тинг смотрел на него черными стекляшками-глазами, и султан его пушистого хвоста колыхался.

В спальне Майкл так рассеянно бросил его на пол, что он отошел, повесив хвост, и возмущенно улегся в своем углу.

Скоро пора обедать, а Флер нет дома. Майкл стал бегло перебирать в уме все ее планы. Сегодня у нее завтракал Губерт Марслэнд и этот вертижинист — как его там? После них, конечно, надо проветриться: от вертижинистов в легких безусловно образуется углекислота.

И все-таки! Половина восьмого! Что им надо было делать сегодня? Идти на премьеру Л. С. Д.? Нет, это завтра. Или на сегодня ничего не было? Тогда, конечно, она постаралась сократить свое пребывание дома. Он смиренно подумал об этом. Майкл не обольщался — он знал, что ничем не выделяется, разве только своей веселостью и, конечно, своей любовью к ней. Он даже признавал, что его чувство — слабость, что оно толкает его на докучливую заботливость, которую он сознательно сдерживал. Например, спросить у Кокера или Филпа — лакея или горничной, — когда Флер вышла, в корне противоречило бы его принципу. В мире делалось такое, что Майкл всегда думал — стоит ли обращать внимание на свои личные дела; а с другой стороны, в мире такое делалось, что казалось, будто единственное, на что стоит обращать внимание, это свои личные дела. А его личные дела, в сущности, были — Флер; и он боялся, что если станет слишком обращать на них внимание, это ее будет раздражать.

Он прошел к себе и стал расстегивать жилет.

«Впрочем, нет, — подумал он. — Если она застанет меня уже одетым к обеду, это будет слишком подчеркнуто». И он снова застегнул жилет и сошел вниз. В холле стоял Кокер.

— Мистер Форсайт и сэр Лоренс заходили часов в шесть, сэр. Миссис Монт не было дома. Когда прикажете подать обед?

— Ну, около четверти девятого. Мы как будто никуда не идем.

Он вошел в гостиную и, пройдясь по ее китайской пустоте, раздвинул гардины. Площадь казалась холодной и темной на сквозном ветру; и он подумал: «Бикет — воспаление легких — надеюсь, она надела меховое пальто». Он вынул папироску и снова отложил ее. Если она увидит его у окна, она подумает, что он волнуется; и он снова пошел вверх — посмотреть, надела ли она шубку!

Тинг-а-Линг, все еще лежавший в своем углу, приветствовал его веселым вилянием хвоста и сразу разочарованно остановился. Майкл открыл шкаф. Надела! Прекрасно! Он посмотрел на ее вещи и вдруг услышал, как Тинг-а-Линг протрусил мимо него и ее голос проговорил: «Здравствуй, мой миленький!» Майклу захотелось, чтобы это относилось к нему, — и он выглянул из-за гардероба.

Бог мой! До чего она была прелестна, разрумяненная ветром! Он печально стоял и молчал.

— Здравствуй, Майкл! Я очень опоздала? Была в клубе, шла домой пешком.

У Майкла явилось безотчетное чувство, что в этих словах есть какая-то недоговоренность. Он тоже умолчал о своем и сказал:

— Я как раз смотрел, надела ли ты шубку, зверски холодно. Твой отец и Барт заходили и ушли голодные.

Флер сбросила шубку и опустилась в кресло.

— Устала! У тебя так мило торчат сегодня уши, Майкл.

Майкл опустил на колени и обвил руками ее талию. Она посмотрела на него каким-то странным, пытливым взглядом; он даже почувствовал себя неловко и смущенно.

— Если бы ты схватила воспаление легких, — сказал он, — я бы, наверно, рехнулся.

— Да с чего же мне болеть!

— Ты не понимаешь связи — в общем, все равно, тебе будет неинтересно. Мы ведь никуда не идем, правда?

— Нет, конечно идем. У Элисон — приемный день.

— О боже! Если ты устала, можно отставить.

— Что ты, милый! Никак! У нее будет масса народу.

подавив непочтительное замечание, он вздохнул:

— Ну ладно. Полный парад?

— Да, белый жилет. Очень люблю, когда ты в белом жилете.

Вот хитрое существо! Он сжал ее талию и встал. Флер легонько погладила его руку, и он ушел одеваться успокоенный...

Но Флер еще минут пять сидела неподвижно — не то чтобы «во власти противоречивых чувств», но все же порядком растерянная. Двое за последний час вели себя одинаково, становились на колени и обвивали руками ее талию. Несомненно, опрометчиво было идти к Уилфриду на квартиру. Как только она туда вошла, она поняла, насколько абсолютно не подготовлена к тому, чтобы физически подчиниться. Правда, он позволил себе не больше, чем Майкл сейчас. Но, боже мой! Она увидела, с каким огнем играет, поняла, какую пытку переживает он. Она строго запретила ему говорить хоть одно слово Майклу, но чувствовала, что на него нельзя положиться — настолько он метался между своим отношением к ней и к Майклу. Смущенная, испуганная, растроганная, она все-таки не могла не ощущать приятной теплоты от того, что ее так сильно любят сразу двое, не могла не испытывать любопытства: чем же это кончится? И она вздохнула. Еще одно переживание прибавилось к ее коллекции, но как увеличивать эту коллекцию, не загубив и ее и, может быть, самое владелицу, она не знала.

После слов, сказанных ею Уилфриду перед Евой: «Вы сделаете глупость, если уедете, — подождите!» — она знала, что он, будет ждать чего-нибудь в ближайшее время. Часто он просил ее прийти и посмотреть его «хлам». Еще месяц, даже неделю тому назад она пошла бы, не колеблясь ни минутки, и потом обсуждала бы этот «хлам» с Майклом. Но сейчас она долго обдумывала — пойти ли ей? И если бы не возбуждение после завтрака в обществе вертижиниста, Эмебел Нэйзинг и Линды Фру и не разговоры о том, что всякие угрызения совести — просто «старомодные» чувства, а всякие переживания — «самое интересное в жизни», — она, наверно, и посейчас бы колебалась и обдумывала. Когда все ушли, она глубоко вздохнула и вынула из китайского шкафчика телефонную трубку.

Если Уилфрид в половине шестого будет дома, она зайдет посмотреть его «хлам». Его ответ: «Правда? Бог мой, неужели?» чуть не остановил ее. Но отбросив сомнения, с мыслью: «Я буду парижанкой — как у Пруста!» она пошла в свой клуб. Проведя там три четверти часа без всякого развлечения, кроме трех чашек чая, трех старых номеров «Зеркала мод» и созерцания трех членов клуба, крепко уснувших в креслах, она сумела опоздать на добрую четверть часа.

Уилфрид стоял на верхней площадке, в открытой двери, бледный, как грешник в чистилище. Он нежно взял ее за руку и повел в комнату.

Флер с легким трепетом подумала: «Так вот как это бывает? „Du cote de chez Swan“ . Высвободив руку, она тут же стала разглядывать „хлам“, порхая от вещи к вещи.

Старинные английские вещи, очень барские; две-три восточные редкости или образчики раннего ампира, собранные кем-нибудь из прежних Дезертов, любивших бродяжить или связанных с французским двором. Она боялась сесть из страха, что он начнет вести себя, как в книгах; еще меньше она хотела возобновлять напряженный разговор, как в галерее Тэйта. Разглядывать «хлам» — безопасное занятие, и она смотрела на Уилфрида только в те короткие промежутки, когда он не глядел на нее. Она знала, что ведет себя не так, как «La gacoppe» или Эмебел Нэйзинг; что ей даже угрожает опасность уйти, ничего не прибавив к своим «переживаниям». И она не могла удержаться от жалости к Уилфриду: его глаза тосковали по ней, на его губы больно было смотреть. Когда, совершенно устав от осмотра «хлама», она села, он бросился к ее ногам. Полузагипнотизированная, касаясь коленями его груди, ощущая себя в относительной безопасности, она по-настоящему поняла весь трагизм положения — его ужас перед самим собою, его страсть к ней. Эта была мучительная, глубокая страсть; она не соответствовала ее ожиданиям, она была несовременна! И как, как же ей уйти, не причинив больше боли ни ему, ни себе? Когда она наконец ушла, не ответив на его единственный поцелуй, она поняла, что прожила четверть часа настоящей жизнью, но не была вполне уверена, понравилось ли ей это... А теперь, в безопасности своей спальни, переодеваясь к вечеру у Элисон, она испытала любопытство при мысли о том, что бы она чувствовала, если бы события зашли так далеко, как это полагалось, по утверждению авторитетов. Конечно, она не испытала и десятой доли тех ощущений или мыслей, какие ей приписали бы в любом новом романе. Это было

разочарование — или она для этого не годилась, — а Флер терпеть не могла чувствовать себя несовершенной. И, слегка пудря плечи, она стала думать о вечере у Элисон.

Хотя леди Элисон и любила встречаться с молодым поколением, но люди типа Обри Грина или Линды Фру редко бывали на ее вечерах. Правда, Неста Горз раз попала к Элисон, но один юрист и два литератора-политика, которые с ней там познакомились, впоследствии на нее жаловались. Выяснилось, что она исколола мелкими злыми дырочками одежды их самоуважения. Сибли Суон был бы желанным гостем благодаря своей дружбе с прошлым, но пока он только задирает нос и смотрит на все свысока. Когда Флер и Майкл вошли, все были уже в сборе — не то что интеллигенция, а просто интеллектуальное общество, чьи беседы обладали всем блеском и всем «savoir faire», с каким обычно говорят о литературе и искусстве, — те, которым, как говорил Майкл, «к счастью, нечего faire».

— И все-таки эти типы создают известность художникам и писателям. Какой сегодня гвоздь вечера? — спросил он на ухо у Флер.

Гвоздем, как оказалось, было первое выступление в Лондоне певицы, исполнявшей балканские народные песни. Но в сторонке справа стояли четыре карточных столика для бриджа. За ними уже составились партии. Среди тех, кто еще слушал пение, были и Гэрдон Минхо, и светский художник с женой, и скульптор, ищущий заказов. Флер, затертая между леди Фэйн — женой художника, и самим Гэрдоном Минхо, изыскивала способ удрать. Там... да, там стоял мистер Челфонт! В гостях у леди Элисон Флер, прекрасно разбиравшаяся в людях, никогда не тратила времени на художников и писателей: их она могла встретить где угодно. Здесь же она интуитивно выбирала самого большого политико-литературного «жука» и ждала случая наколоть его на булавку. И, поглощенная мыслью, как поймать Челфонта, она не заметила происходившей на лестнице драматической сцены.

Майкл остался на площадке лестницы — он был не в настроении болтать и острить, и, прислонившись к балюстраде, тонкий как оса, в своем длинном белом жилете, глубоко засунув руки в карманы, он следил за изгибами и поворотами белой шеи Флер и слушал балканские песни с полнейшим безразличием. Оклик «Монт!» заставил его встрепенуться. Внизу стоял Уилфрид. Монт? Два года Уилфрид не называл его Монтом!

— Сойди сюда!

На средней площадке стоял бюст Лайонеля Черрела — королевского адвоката, работы Бориса Струмолковского, в том жанре, который цинически избрал художник с тех пор, как Джун Форсайт отказалась поддерживать его самобытный, но непризнанный талант. Бюст был почти неотличим от любого бюста на академической выставке этого года, и юные Черрелы любили пририсовывать ему углем усы.

За этим бюстом стоял Дезерт, прислонившись к стене, закрыв глаза. Его лицо поразило Майкла.

— Что случилось, Уилфрид?!

Дезерт не шевелился.

— Ты должен знать — я люблю Флер!

— Что?

— Я не желаю быть предателем. Ты — мой соперник. Жаль, но это так. Можешь меня изругать...

Его лицо было мертвенно бледно, и мускулы подрагивали. У Майкла дрогнуло сердце. Какая дикая, какая странная, нелепая история! Его лучший друг, его шафер! Машинально он полез за портсигаром, машинально протянул его Дезерту. Машинально оба взяли папиросы и дали друг другу закурить. Потом Майкл спросил:

— Флер знает?

Дезерт кивнул.

— Она не знает, что я тебе сказал, она бы мне не позволила. Тебе ее не в чем упрекнуть... пока. — И, все еще не открывая глаз, он добавил: Я ничего не мог поделать.

Та же мысль подсознательно мелькнула у Майкла. Естественно! Вполне естественно! Глупо не понимать, насколько это естественно! И вдруг как будто что-то в нем оборвалось, и

он сказал:

— Очень честно с твоей стороны предупредить меня, но не собираешься ли ты удалиться?

Плечи Дезерта крепче прижались к стене.

— Я сам так думал сначала, но, кажется, не уйду.

— Кажется? Я не понимаю.

— Если бы я наверно знал, что мне не на что надеяться... но я не уверен. — И внезапно он взглянул на Майкла: — Слушай, нечего притворяться. Я пойду на все, и я отниму ее у тебя, если смогу!

— Господи боже! — сказал Майкл. — Дальше уж ехать некуда!

— Да! Можешь попрекать меня! Но вот что я тебе скажу: как я подумаю, что ты идешь с ней домой, а я... — Он рассмеялся отрывистым, неприятным смехом. — Нет, знаешь, лучше ты меня не трогай.

— Что ж, — сказал Майкл, — раз мы не в романе Достоевского, то, я полагаю, больше говорить не о чем!

Дезерт отошел от стены и положил руку на бюст Лайонеля Черрела.

— Ты пойми хотя бы, что я себе напортил — может, угробил себя тем, что сказал тебе. Я не начал бомбардировки без объявления войны.

— Нет, — глухо отозвался Майкл.

— Можешь мои книжки сбыть другому издательству.

Майкл пожал плечами.

— Ну, спокойной ночи, — сказал Дезерт. — И прости за примитивность.

Майкл прямо посмотрел в лицо своему другу. Нет, это не ошибка: горькое отчаяние было в этих глазах. Майкл протянул было руку, нерешительно позвал: «Уилфрид!» — но тот уже сходил вниз, и Майкл поднялся вверх.

Вернувшись на свое место у балюстрады, он попытался уверить себя, что жизнь — смешная штука, и не мог. В его положении нужна была хитрость змеи, отвага льва, кротость голубя; он не ощущал в себе этих стандартных добродетелей. Если бы Флер любила его так, как он любит ее, он по-настоящему пожалел бы Уилфрида. Ведь так естественно полюбить Флер! Но она не любит его так — о нет! У Майкла было одно достоинство, если считать это достоинством: он не переоценивал себя и всегда высоко ценил своих друзей. Он высоко ценил Дезерта и, как это ни странно, даже сейчас не думал о нем плохо. Вот его Друг собирается нанести ему смертельную обиду, отнять у него любовь, нет, честнее сказать — просто Привязанность его жены, и все же Майкл не считает его негодяем. Такая терпимость — он это знал — безнадежная штука: но понятия о свободе воли, о свободном выборе для него были не только литературными понятиями, — нет, они были заложены в его характере. Применить насилие, как бы желательно это ни казалось, значило бы идти против самого себя. И что-то похожее на отчаяние проникло в его сердце, когда он смотрел на нехитрые заигрывания Флер с великим Джералдом Челфонтом. Что, если она бросит его ради Уилфрида? Нет, конечно, нет! Ее отец, ее дом, ее собака, ее друзья, ее... ее «коллекция» всяких... — нет, ведь она не откажется, не сможет расстаться со всем этим. Но что, если она захочет сохранить все, включая и Уилфрида? Нет, нет! Никогда! Только на секунду такое подозрение осквернило прирожденную честность Майкла.

Но что же делать? Сказать ей? Выяснить все? Или ждать и наблюдать? Зачем? Ведь это значило бы шпионить, а не наблюдать. Ведь Дезерт больше к ним в дом не придет. Нет! Или полная откровенность — или полное невмешательство. Но это значит — жить под дамочловым мечом. Нет! Полная откровенность! И не ставить никаких ловушек. Он провел рукой по мокрому лбу. Если бы только они были дома, подальше от этого визга, от этих лощеных кривляк. Как бы вытащить Флер? Без предложения — невозможно! А единственный предлог — что у него голова идет кругом. Нет, надо сдержаться! Пение кончилось. Флер оглянулась. Сейчас подзовет его! Нет, она сама шла к нему. Майкл не мог удержаться от иронической мысли: «Подцепила старого Челфонта!» Он любил ее, но знал ее маленькие

слабости. Она подошла и взяла его под руку.

— Мне надоело, Майкл, давай удерем, хорошо?

— Живо! Пока нас не поймали!

На холодном ветру он подумал: «Сейчас — или у нее в комнате?» — По-моему, — проговорила Флер, — мистера Челфонта переоценивают — он просто какой-то сплошной зевок. На той неделе он у нас завтракает.

Нет, не сейчас, у нее в комнате!

— Как ты думаешь, кого бы пригласить для него, кроме Элисон?

— Не надо никого чересчур крикливого.

— Конечно нет, но надо кого-нибудь позанятнее. Ах, Майкл, знаешь, иногда мне кажется, что не стоит и стараться.

У Майкла замерло сердце. Не было ли это зловещим признаком — признаком того, что «примитивное» начинает расти в ней, всегда так увлеченной светской жизнью?

Час тому назад он бы сказал: «Ты права, дорогая; вот уж действительно не стоит». Но сейчас каждый признак перемены казался зловещим! Он взял Флер под руку.

— Не беспокойся, уж мы как-нибудь изловим самых подходящих птиц.

— Пригласить бы китайского посланника — вот было бы превосходно! проговорила Флер задумчиво. — Минхо, Барт — четверо мужчин, две дамы уютно! Я поговорю с Бартом!

Майкл уже открыл входную дверь. Он пропустил Флер и остановился поглядеть на звезды, на платаны, на неподвижную мужскую фигуру — воротник поднят до самых глаз, и шляпа нахлобучена до бровей. «Уилфрид, — подумал он. — Испания! Почему Испания? И все несчастные, все отчаявшиеся... чье сердце... Эх! К черту сердце!» — И он захлопнул дверь.

Но вскоре ему пришлось открыть другую дверь — и никогда он ее не открывал с меньшим энтузиазмом! Флер сидела на ручке кресла в светло-лиловой пижаме, которую она надевала иногда, чтобы не отставать от моды, и глядела в огонь. Майкл остановился, смотря на нее и на свое собственное отражение в одном из пяти зеркал, — белое с черным, как костюм Пьеро, пижама, которую она ему купила. «Марионетки в пьесе, — подумал он. — Марионетки в пьесе! Разве это настоящее?» Он подошел и сел на другую ручку кресла.

— О черт! — пробормотал он. — Хотел бы я быть Антиноем! — И он соскользнул с ручки кресла на сиденье, чтобы она смогла, если захочет, спрятать от него лицо.

— Уилфрид все мне рассказал, — спокойно произнес он.

Сказано! Что дальше? Он увидел, как кровь заливает ее шею и щеку.

— О-о! Чего ради... что значит: «рассказал»?

— Рассказал, что влюблен в тебя, больше ничего — ведь больше и нечего рассказывать, правда? — И, подтянув ноги в кресло, он плотно охватил колени обеими руками.

Один вопрос уже вырвался! Держись! Держись! И он закрыл глаза.

— Конечно, — очень медленно проговорила Флер. — Ничего больше и нет. Если Уилфриду угодно быть таким глупым...

«Если угодно!» Какими несправедливыми показались эти слова Майклу: ведь его собственная «глупость» была такой продолжительной» такой прочной! И — странно! — его сердце даже не дрогнуло! А ведь он должен был обрадоваться ее словам!

— Значит, с Уилфридом — покончено?

— Покончено? Не знаю.

Да и что можно знать, когда речь идет о страсти?

— Так, — сказал он, делая над собой усилие, — ты только не забывай, что я люблю тебя ужасно!

Он видел, как задрожали ее ресницы, как она пожала плечами.

— А разве я забываю?

Горечь, ласка, простая дружба — как понять?

Вдруг она потянулась к нему и схватила его за уши.

Крепко держа его голову, она посмотрела на него и засмеялась. И все-таки его сердце

не дрогнуло. Если только она не водит его за нос... Но он притянул ее к себе в кресло. Лиловое, черное и белое смешалось она ответила на его поцелуй. Но от всего ли сердца? Кто мог знать? Только не Майкл!

Х. КОНЕЦ СПОРТСМЕНА

Не застав дочери дома, Сомс сказал: «Я подожду», — и уселся на зеленый диван, не замечая Тинг-а-Линга, отсыпавшегося перед камином от проявлений внимания со стороны Эмебел Нэйзинг, — она нашла, что он «чудо до чего забавный!» Седой и степенный. Сомс сидел, с глубокой складкой на лбу, положив ногу на ногу, и думал об Элдерсоне и о том, куда идет мир и как вечно что-нибудь случается. И чем больше он думал, тем меньше понимал, как угораздило его войти в правление общества, которое имело дело с иностранными контрактами. Вся старинная мудрость, укрепившая в девятнадцатом веке богатство Англии, вся форсайтская философия, утверждавшая, что не надо вмешиваться в чужие дела и рисковать, весь закоренелый национальный индивидуализм, который не мог позволить стране гоняться то за одной синей птицей, то за другой, — все это подымало молчаливый протест в его душе. Англия идет по неверному политическому пути, пытаясь оказать влияние на континентальную политику, и ОГС идет по неверному финансовому пути, беря на себя страховку иностранных контрактов. Особый родовой инстинкт тянул Сомса назад, на его собственную, прямую дорогу. Никогда не впутываться в дела, которые не можешь проверить! «Старый Монт» говорил: «держаться на ринге». Ничего подобного! Не вмешивайся не в свое дело вот правильная «формула». Он почувствовал что-то около ноги: Тинг-а-Линг обнюхивал его брюки.

— А, — сказал Сомс, — это ты!

Поставив передние лапы на диван, Тинг-а-Линг облизнулся.

— Подсадить тебя? — сказал Сомс. — Уж очень ты длинный! — И снова он почувствовал какую-то еле уловимую теплоту от сознания, что собака его любит.

«Что-то во мне есть, что ему нравится», — подумал он и, взяв Тинг-а-Линга за ошейник, втащил его на подушку. «Ты и я — нас двое таких», — как будто говорила собачонка пристальным своим взглядом. Китайская штучка! Китайцы знают, чего им надо; они уже пять тысяч лет как не вмешиваются в чужие дела!

«Подам в отставку», — подумал Сомс. Но как быть с Уинифрид, с Имоджин, с сыновьями Роджера и Николаев, которые вложили деньги в это дело, потому что он был там директором? И что они ходят за ним, как стадо баранов! Он встал. Не стоит ждать — лучше пойти на Грин-стрит и теперь же поговорить с Уинифрид. Ей придется опять продавать акции, хотя они слегка упали. И, не прощаясь с Тинг-а-Лингом, он ушел.

Весь этот год жизнь почти доставляла ему удовольствие. То, что он мог хоть раз в неделю куда-то прийти, посидеть, встретить какую-то симпатию, как в прежние годы в доме Тимоти, — все это удивительно подымало его настроение. Уйдя из дому, Флер унесла с собой его сердце; но Сомс, пожалуй, предпочитал навещать свое сердце раз в неделю, чем носить его всегда с собой. И еще по другим причинам жизнь стала легче. Этот мефистофельского вида иностранец Проспер Профон давно уехал неизвестно куда, и с тех пор жена стала гораздо спокойнее и ее сарказм значительно слабее. Она занималась какой-то штукой, которая называлась «система Куэ», и пополнела. Она постоянно пользовалась автомобилем. Вообще привыкла к дому, поутихла. Кроме того, Сомс примирился с Гогэном, — некоторое понижение спроса на этого художника убедило его в том, что Гогэн стоил внимания, и он купил еще три картины. Гогэн снова пойдет в гору. Сомс даже немного жалел об этом, потому что он успел полюбить этого художника. Если привыкнуть к его краскам — они начинают даже нравиться. Одна картина — в сущности, без всякого содержания — как-то особенно привлекала глаз. Сомсу становилось даже неприятно, когда он думал, что с картиной придется расстаться, если цена очень поднимется. Но и помимо всего этого, Сомс чувствовал себя вполне хорошо; он переживал рецидив молодости по

отношению к Аннет, получал больше удовольствия от еды и совершенно спокойно думал о денежных делах. Фунт подымался в цене; рабочие успокоились; и теперь, когда страна избавилась от этого фигляра, можно было надеяться на несколько лет прочного правления консерваторов. И только подумать, размышлял он, проходя через Сент-Джемс-парк по направлению к Грин-стрит, — только подумать, что он сам взял и влез в общество, которое он не мог контролировать! Право, он чувствовал себя так, как будто сам черт его попутал!

На Пикадилли он медленно пошел по стороне, примыкавшей к парку, привычно поглядывая на окна «Айсиумклуба». Гардины были спущены, и длинные полосы света пробивались мягко и приветливо. И ему вспомнилось, что кто-то говорил, будто Джордж Форсайт болен. Действительно, Сомс уже много месяцев не видел его в фонаре окна. Н-да, Джордж всегда слишком много ел и пил. Сомс перешел улицу и прошел мимо клуба; какое-то внезапное чувство, — он сам не знал, какое — тоска по своему прошлому, словно тоска по родине, — заставило его повернуть и подняться в подъезд.

— Mister Джордж Форсайт в клубе?

Швейцар уставился на него. Этого длиннолицего седого человека Сомс знал еще с восьмидесятых годов.

— Mister Форсайт, сэр, — сказал он, — опасно болен. Говорят, не поправится, сэр.

— Что? — спросил Сомс. — Никто мне не говорил.

— Он очень плох, совсем плох. Что-то с сердцем.

— С сердцем? А где он?

— У себя на квартире, сэр, тут за углом. Говорят, доктора считают, что он безнадежен. А жаль его, сэр! Сорок лет я его помню. Старого закала человек и замечательно знал толк в винах и лошадях. Никто из нас, как говорится, не вечен, но никогда я не думал, что придется его провожать. Он малость полнокровен, сэр, вот в чем дело.

Сомс с несколько неприятным чувством обнаружил, что никогда не знал, где живет Джордж, так прочно он казался связанным с фонарем клубного окна.

— Скажите мне его адрес, — проговорил он.

— Бельвиль-Роу, номер одиннадцать, сэр. Надеюсь, вы его найдете в лучшем состоянии. Мне будет очень не хватать его шуток, право!

Повернув за угол, на Бельвиль-Роу, Сомс сделал быстрый подсчет. Джорджу шестьдесят шесть лет — только на год моложе его самого! Если Джордж действительно «при последнем издыхании», это странно! «Все оттого, что вел неправильный образ жизни, — подумал Сомс. — Сплошное легкомыслие — этот Джордж! Когда это я составлял его завещание?» Насколько он помнил, Джордж завещал свое состояние братьям и сестрам. Больше у него никого не было. Какое-то родственное чувство зашевелилось в Сомсе — инстинкт сохранения семейного благополучия. Они с Джорджем никогда не ладили — полные противоположности по темпераменту; и все же его надо будет хоронить, — а кому заботиться об этом, как не Сомсу, схоронившему уже многих Форсайтов. Он вспомнил, как Джордж когда-то прозвал его «гробовщиком». Гм! Вот оно — возмездие! Бельвиль-Роу. Ага, номер одиннадцать. Настоящее жилище холостяка. И, собираясь позвонить, Сомс подумал: «Женщины! Какую роль играли в жизни Джорджа женщины?» На его звонок вышел человек в черном костюме, молчаливый и сдержанный.

— Здесь живет мой кузен, Джордж Форсайт? Как его здоровье?

Слуга сжал губы.

— Вряд ли переживет эту ночь, сэр.

Сомс почувствовал, как под его шерстяной фуфайкой что-то дрогнуло.

— В сознании?

— Да, сэр.

— Можете отнести ему мою карточку? Вероятно, он захочет меня повидать.

— Будьте добры подождать здесь, сэр.

Сомс прошел в низкую комнату с деревянной панелью почти в рост человека, над которой висели картины. Джордж — коллекционер! Сомс никогда этого за ним не знал. На

стенах, куда ни взгляни, висели картины — старые и новые, изображавшие скачки и бокс. Красных обоев почти не было видно. И только Сомс приготовился рассмотреть картины с точки зрения их стоимости, как заметил, что он не один. Женщина — возраст не определишь в сумерках — сидела у камина в кресле с очень высокой спинкой, облокотившись на ручку кресла и приложив к лицу платок. Сомс посмотрел на нее и украдкой понюхал воздух. «Не нашего круга, — решил он, — держу десять против одного, что выйдут осложнения». Приглушенный голос лакея сказал:

— Вас просят зайти, сэр!

Сомс провел рукой по лицу и последовал за ним.

Спальня, куда он вошел, была странно не похожа на первую комнату. Одна стена была сплошь занята огромным шкафом с массой ящиков и полочек. И больше в комнате ничего не было, кроме туалетного стола с серебряным прибором, электрического радиатора, горевшего в камине, и кровати напротив. Над камином висела одна-единственная картина. Сомс машинально взглянул на нее. Как! Китайская картина! Большая белая обезьяна, повернувшись боком, держала в протянутой лапе кожуру выжатого апельсина. С ее мохнатой мордочки на Сомса смотрели карие, почти человеческие глаза. Какая фантазия заставила чуждого искусству Джорджа купить такую вещь, да еще повесить ее против своей кровати? Сомс обернулся и поглядел на кровать. Там лежал «единственный приличный человек в этой семейке», как называл его когда-то Монтегью Дарти; его отечное тело вырисовывалось под тонким стеганым одеялом. Сомса даже передернуло, когда он увидел это знакомое багрово-румяное лицо бледным и одутловатым, как луна, с темными морщинистыми кругами под глазами, еще сохранившими свое насмешливое выражение. Голос хриплый, сдавленный, но звучащий еще по-старому, по-форсайтски, произнес:

— Здорово, Сомс! Пришел снять с меня мерку для гроба?

Сомс движением руки отклонил это предположение; ему странно было видеть такую пародию на Джорджа. Они никогда не ладили, но все-таки...

Сдержанным, спокойным голосом он сказал:

— Ну, Джордж, ты еще поправишься. Ты еще не в таком возрасте. Могу ли я быть тебе чем-нибудь полезен?

Усмешка тронула бескровные губы Джорджа.

— Составь мне дополнение к завещанию. Бумага — в ящике туалетного стола.

Сомс вынул листок со штампом «Айсиум-Клуба». Стоя у стола, он написал своим вечным пером вводную фразу и выжидательно взглянул на Джорджа. Голос продиктовал хрипло и медленно:

— Моих трех кляч — молодому Вэлу Дарти, потому что он единственный Форсайт, который умеет отличить лошадь от осла. — Сдавленный смешок жутко отозвался в ушах Сомса. — Ну, как ты написал?

Сомс прочел:

— «Завещаю трех моих скаковых лошадей родственнику моему Валериусу Дарти из Уонсдона, Сэссекс, ибо он обладает специальным знанием лошадей».

Снова этот хриплый смешок:

— Ты, Сомс, сухой педант. Продолжай: Милли Мойл — Клермонт-Гров, дом двенадцать — завещаю двенадцать тысяч фунтов, свободных от налогов на наследство.

Сомс чуть не свистнул.

Женщина в соседней комнате!

Насмешливые глаза Джорджа стали грустными и задумчивыми.

— Это огромные деньги, — не удержался Сомс.

Джордж хрипло и раздраженно проворчал:

— Пиши, не то откажу ей все состояние!

Сомс написал.

— Это все?

— Да. Прочти!

Сомс прочел. Снова он услышал сдавленный смех.

— Недурная пилюля! Этого вы в газетах не напечатаете. Позови лакея, ты и он можете засвидетельствовать.

Но Сомс еще не успел дойти до двери, как она открылась, и лакей вошел сам.

— Тут... м-м... зашел священник, сэра, — сказал он виноватым голосом. — Он спрашивает, не угодно ли вам принять его?

Джордж повернулся к нему; его заплывшие серые глаза сердито расширились.

— Передайте ему привет, — сказал он, — и скажите, что мы увидимся на моих похоронах.

Лакеи поклонился и вышел; наступило молчание.

— Теперь, — сказал Джордж, — зови его опять. Я не знаю, когда флаг будет спущен.

Сомс позвал лакея. Когда завещание было подписано и лакей ушел, Джордж заговорил:

— Возьми его и последи, чтобы она свое получила. Тебе можно доверять — это твое основное достоинство, Сомс.

Сомс с каким-то странным чувством положил завещание в карман.

— Может быть, хочешь ее повидать? — сказал он.

Джордж посмотрел на него долгим, пристальным взглядом.

— Нет. Какой смысл? Дай мне сигару из того ящика.

Сомс открыл ящик.

— А можно тебе? — спросил он.

Джордж усмехнулся:

— Никогда в жизни не делал того, что можно, и теперь не собираюсь. Обрежь мне сигару.

Сомс остриг кончик сигары. «Спичек я ему не дам, — подумал он, — не могу взять на себя ответственность». Но Джордж и не просил спичек. Он лежал совершенно спокойно с незажженной сигарой в бледных губах, опустив распухшие веки.

— Прощай, — сказал он, — я вздремну.

— Прощай, — сказал Сомс. — Я надеюсь, что ты... ты, коро...

Джордж снова открыл глаза, — их пристальный, грустный, насмешливый взгляд как будто уничтожал притворные надежды и утешения. Сомс быстро повернулся и вышел. Он чувствовал себя скверно и почти бессознательно опять зашел в гостиную. Женщина сидела в той же позе; тот же назойливый аромат стоял в воздухе. Сомс взял зонтик, забытый там, и вышел.

— Вот мой номер телефона, — сказал он слуге, ожидавшему в коридоре. Дайте мне знать.

Тот поклонился.

Сомс свернул с Бельвиль-Роу. Всегда, расставаясь с Джорджем, он чувствовал, что над ним смеются. Не посмеялись ли над ним и в этот раз? Не было ли завещание Джорджа его последней шуткой? Может быть, если бы Сомс не зашел к нему, Джордж никогда бы не сделал этой приписки, не обошел бы семью, оставив треть своего состояния надушенной женщине в кресле? Сомса смущала эта загадка. Но как можно шутить у порога смерти? В этом было своего рода геройство. Где его надо хоронить?.. Ктонибудь, наверно, знает — Фрэнси или Юстас. Но что они скажут, когда узнают об этой женщине в кресле? Ведь двенадцать тысяч фунтов! «Если смогу получить эту белую обезьяну, обязательно возьму ее, — подумал он внезапно, — хорошая вещь!» Глаза обезьяны, выжатый апельсин... не была ли сама жизнь горькой шуткой, не понимал ли Джордж все глубже его самого? Сомс позвонил у дверей дома на Грин-Стрит.

Миссис Дарти просила извинить ее, но миссис Кардитан пригласила ее обедать и составить партию в карты.

Сомс пошел в столовую один. У полированного стола, под который в былые времена иногда соскальзывал, а то и замертво сваливался Монтегью Дарти, Сомс обедал, глубоко задумавшись. «Тебе можно доверять — это твое основное достоинство, Сомс!» Эти слова

были ему и лестны и обидны. Какая глубоко ироническая шутка! Так оскорбить семью — и доверить Сомсу осуществить это оскорбительное дело! Не мог же Джордж из привязанности отдать двенадцать тысяч женщине, надушенной пачули. Нет! Это была последняя издевка над семьей, над всеми Форсайтами, над ним — Сомсом! Что же! Все те, кто издевался над ним, получили по заслугам — Ирэн, Босини, старый и молодой Джолионы, а теперь вот — Джордж. Кто умер, кто умирает, кто — в Британской Колумбии! Он снова видел перед собой глаза своего кузена над незакуренной сигарой — пристальные, грустные, насмешливые. Бедняга! Сомс встал из-за стола и рывком раздвинул портьеры. Ночь стояла ясная, холодная. Что становится с человеком после? Джордж любил говорить, что в прошлом своем существовании он был поваром у Карла Второго. Но перевоплощение — чепуха, идиотская теория! И все же хотелось бы как-то существовать после смерти. Существовать и быть возле Флер! Что это за шум? Граммофон завели на кухне. Когда кошки дома нет, мыши пляшут! Люди все одинаковы — берут, что могут, а дают как можно меньше. Что ж, закурить папиросу? Закурив от свечи — Уинифрида обедала при свечах, они снова вошли в моду, — Сомс подумал: «Интересно, держит он еще сигару в зубах?» Чудак этот Джордж! Всю жизнь был чудачком! Он следил за кольцом дыма, которое случайно выпустил, — очень синее кольцо; он никогда не затягивался. Да! Джордж жил слишком легкомысленно, иначе он не умер бы на двадцать лет раньше срока — слишком легкомысленно! Да, вот какие дела! И некому слова сказать — ни одной собаки нет.

Сомс снял с камина какого-то уродца, которого разыскал где-то на восточном базаре племянник Бенедикт, годадва спустя после войны. У него были зеленые глаза. «Нет, не изумруды, — подумал Сомс, — какие-то дешевые камни».

— Вас к телефону, сэр.

Сомс вышел в холл и взял трубку.

— Да?

— Мистер Форсайт скончался, сэр, доктор сказал — во сне.

— О! — произнес Сомс... — А была у него сига..? Ну, благодарю! — Он повесил трубку.

Скончался! И нервным движением Сомс нащупал завещание во внутреннем кармане.

XI. РИСКОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Целую неделю Бикет гонялся за работой, ускользавшей, как угорь, мелькавшей, как ласточка, совершенно неуловимой. Фунт отдал за квартиру, три шиллинга поставил на лошадь — и остался с двадцатью четырьмя шиллингами. Погода потеплела — ветер с юго-запада, — и Викторина первый раз вышла. От этого стало немного легче, но судорожный страх перед безработицей, отчаянная погоня за средствами к существованию, щемящая, напряженная тоска глубоко вгрызались в его душу. Если через неделю-другую он не получит работы, им останется только работный дом или — газ! «Лучше газ, — думал Бикет. — Если только она согласится, то и я готов. Осточертело мне все. И в конце концов, что тут такого? Обнять ее — и ничего не страшно!» Но инстинкт подсказывал, что не так-то легко подставить голову под газ, и в понедельник вечером его вдруг осенила мысль: воздушные шары! Как у того вот парня, на Оксфорд-стрит. А почему бы и нет? У него еще хватило бы денег для начала, а никакого разрешения не надо. Его мысли, словно белка в колесе, вертелись в бессонные часы вокруг того огромного неоспоримого преимущества, какое имеют воздушные шары перед всеми прочими предметами торговли. Такого продавца не пропустишь — стоит, и каждый его замечает, все видят яркие шарики, летающие над ним! Правда, насколько он разузнал, прибыль невелика — всего пенни с большого шестипенсового шара и пенни с трех маленьких двухпенсовых шариков. И все-таки живет же тот продавец! Может, он просто приbedнялся перед ним, из страха, что его профессия покажется слишком заманчивой? Стало быть, за мостом; как раз там, где такое движение. Нет, лучше у собора св. Павла! Он приметил там проход, где можно стоять шагах в трех от

тротуара — как тот парень на Оксфорд-стрит. Он ничего не скажет малютке, что спит рядом с ним, ни слова, пока не сделает эту ставку. Правда, это значит — рисковать последним шиллингом. Ведь только на прожитие ему надо продать... Ну да, три дюжины больших и четыре дюжины маленьких шаров в день дадут прибыли всего-навсего двадцать шесть шиллингов в неделю, если только тот продавец не наврал ему. Не очень-то поедешь на это в Австралию! И разве это настоящее дело? Викторина здорово огорчится, Но тут уж нечего рассуждать! Надо попробовать, а в свободные часы поискать работы.

И на следующий день в два часа наш тощий капиталист, с четырьмя дюжинами больших и семью дюжинами маленьких шаров, свернутых на лотке, с двумя шиллингами в кармане и пустым желудком, стал у собора св. Павла. Он медленно надул и перевязал два больших и три маленьких шарика — розовый, зеленый и голубой, и они заколыхались над ним. Ощущая запах резины в носу, выпучив от напряжения глаза, он стал на углу, пропуская поток прохожих. Он радовался, что почти все оборачивались и глядели на него. Но первый, кто с ним заговорил, был полисмен.

— Тут стоять не полагается, — сказал он.

Бикет не отвечал, у него пересохло в горле. Он знал, что значит полиция. Может, он не так взялся за дело? Вдруг он всхлипнул и сказал:

— Дайте попытать счастья, констебль, — дошел до крайности! Если я мешаю, я стану, куда прикажете. Дело для меня новое, а у меня только и есть на свете, что два шиллинга да еще жена.

Констебль, здоровый дядя, оглядел его с ног до головы.

— Ну, ладно, посмотрим! Я вас не трону, если никто не станет возражать.

Во взгляде Бикета была глубокая благодарность.

— Премного вам обязан, — проговорил он. — Возьмите шарик для дочки, доставьте мне удовольствие.

— Один я куплю, сделаю вам почин, — сказал полисмен. — Через час я сменяюсь с дежурства, вы приготовьте мне большой, розовый.

И он отошел. Бикет видел, как он следил за ним. Отодвинувшись к самому краю тротуара, он стоял совершенно неподвижно; его большие глаза заглядывали в лицо каждому прохожему; худые пальцы то и дело перебирали товар. Если бы Викторина его видела! Все в нем взбунтовалось: ей-богу, он вырвется из этой канители, вырвется на солнце, к лучшей жизни, которую стоит назвать жизнью.

Он уже стоял почти два часа, с непривычки переступая с ноги на ногу, и продал два больших и пять маленьких шаров — шесть пенсов прибыли! когда Сомс, изменивший дорогу назло этим людям, которые не могли проникнуть дальше Уильяма Гоулдинга, ингерера, прошел мимо него, направляясь на заседание в ОГС. Услышав робкое бормотанье: «Шарики, сэр, высший сорт!» — он обернулся, прервав созерцание собора (многолетняя привычка!), и остановился в совершенном недоумении.

— Шары? — сказал он. — А на что мне шары?

Бикет улыбнулся. Между этими зелеными, голубыми и оранжевыми шарами и серой сдержанностью Сойса было такое несоответствие, что даже он его почувствовал.

— Детишки любят их — никакого весу, сэр, карманный пакетик.

— Допускаю, — сказал Сомс, — но у меня нет детей.

— Внуки, сэр!

— И внуков нет.

— Простите, сэр.

Сомс окинул его тем быстрым взглядом, каким обычно определял социальное положение людей. «Жалкая безобидная крыса», — подумал он.

— Ну-ка, дайте мне две штуки. Сколько с меня?

— Шиллинг, сэр, и очень вам благодарен.

— Сдачи не надо, — торопливо бросил Сомс и пошел дальше, сам себе удивляясь. Зачем он купил эти штуки, да еще переплатил вдвое, он и сам не понимал. Он не помнил,

чтоб раньше с ним случались такие вещи. Удивительно странно! И вдруг он понял, в чем дело. Этот малый такой смиренный, кроткий, такого надо поддерживать в наши дни, когда так вызывающе ведут себя коммунисты. И ведь в конце концов этот бедняга тоже стоит... ну, на стороне капитала, тоже вложил сбережения в эти шарики! Торговля! И снова устремив глаза на собор. Сомс сунул в карман пальто противный на ощупь пакетик. Наверно, кто-нибудь их вынет и будет удивляться — что это на него нашло! Впрочем, у него есть другие заботы!..

А Бикет смотрел ему вслед в восхищении. Двести пятьдесят процентов прибыли на двух шарах — это дело! Сожаление, что мимо проходит мало женщин, значительно ослабело — в конце концов женщины знают цену деньгам, из них лишнего шиллинга не вытянешь! Вот если бы еще прошел такой вот старый миллионер в блестящем цилиндре!

В шесть часов, заработав три шиллинга восемь пенсов, из которых ровно половину дал Сомс, Бикет стал присоединять к собственным своим вздохам еще вздохи шаров, из которых он выпускал воздух; развязывая их с трогательной заботой, он смотрел, как его радужные надежды сморщиваются одна за другой, и убирал их в ящичек лотка. Взяв лоток подмышку, он устало поплелся к Блэкфрайерскому мосту. За целый день он может заработать четыре-пять шиллингов. Что же, это как раз не даст им умереть с голоду, а тут, глядишь, что-нибудь и подвернется! Во всяком случае, он сам себе хозяин — ни перед нанимателем, ни перед союзом отчитываться не надо. От этого сознания и оттого, что он с утра ничего не ел, он ощущал какую-то странную легкость внутри.

«Может, это был какой-нибудь олдермен, — подумал он, — говорят, эти олдермены чуть ли не каждый день едят черепаховый суп».

Около дома он забеспокоился: что ему делать с лотком? Как скрыть от Викторины, что он вступил в ряды «капиталистов» и провел весь день на улице? Вот не повезло: стоит у окна! Придется сделать веселое лицо. И он вошел посвистывая.

— Что это. Тони? — Она сразу увидела лоток.

— Ага! Это? О, это замечательная штука! Ты только погляди!

И, вынув оболочку шара из ящичка, он стал его надуть. Он дул с такой отчаянной силой, с какой никогда еще не дул. Говорят, что эту штуковину можно раздуть до пяти футов в обхвате. Ему почему-то казалось, что если он сумеет это сделать, все уладится. От его усилий шар раздулся так, что заслонил Викторину, заполнил всю комнатку — огромный цветной пузырь. Зажав отверстие двумя пальцами, он поднял его.

— Гляди, как здорово! Неплохая вещь, и всего шесть пенсов, моя старушка! — и он выглянул из-за шара.

Господи, да она плачет! Он выпустил из рук проклятую «штуковину»; шар поплыл вниз и стал медленно выпускать воздух, пока маленькой сморщенной тряпочкой не лег на потертый ковер. Бикет обхватил вздрагивающие плечи Викторины, заговорил с отчаянием:

— Ну, перестань, моя хорошая, ведь это же, как-никак, наш хлеб. Я найду работу — нам бы пока перебиться. Я для тебя и не на такое готов. Ну, успокойся, дай мне лучше чаю — я до того проголодался, пока надувал эти штуки...

Она перестала плакать и молча смотрела на него — загадочные огромные глаза! О чем-то, видно, думает. Но о чем именно — Бикет не знал. Он ожил от чая и даже стал хвастать своей новой профессией. Теперь он сам себе хозяин! Выходи, когда хочешь, возвращайся, когда хочешь, а то полеживай на кровати рядом с Вик, если неохота вставать. Разве это плохо? И Бикет ощутил в себе что-то настоящее, чисто английское, — почувал ту любовь к свободе, беспечность, неприязнь к регулярной работе, ту склонность к неожиданным приливам энергии и к сонной лени и жажду независимости — словом, то, в чем коренится жизнь всей нации, что породило маленькие лавчонки, мелкую буржуазию, поденных рабочих, бродяг, которые сами себе владыки, сами распределяют свое время и плюют на последствия; что-то, что коренилось в стране, в народе, когда еще не пришли саксы и не принесли свою добросовестность и свое трудолюбие; что-то такое, от чего рождалась вера в разноцветные пузыри, что требовало острых приправ и пряностей, без основного питания. Да, все эти чувства росли в Бикете, пока он уничтожал конченую рыбу,

запивая ее крепким горячим чаем. Конечно, он лучше будет продавать шары, чем упаковывать книги, — пусть Вик так и запомнит! А когда она сможет взять работу, они совсем замечательно заживут и, наверно, скоро смогут накопить денег и уехать туда, где водятся синие бабочки. И он рассказал ей о Сомсе. Еще несколько таких бездетных олдерменов — ну, скажем, хоть два в день, — вот тебе и пятнадцать монет в неделю, кроме законной прибыли. Да ведь тогда они через год скопят всю сумму! А стоит им уехать отсюда, и Вик станет кругленьким, как этот шар; наверно, станет вдвое толще, а щеки у нее будут такие розовые, такие яркие — куда там этим красным и оранжевым шарам! Бикет вдохновлялся все больше и больше. А маленькая его жена смотрела на него своими огромными глазами и молчала. Но плакать она перестала: ни слезами, ни упреками она не стала охлаждать пыл бедного продавца воздушных шаров.

ХII. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Кроме старого лорда Фонтеноя, блиставшего своим отсутствием, как блистал, бывало, своим присутствием, правление собралось в полном составе. Заметив, что «этот тип», Элдерсон, как-то особенно лебезит. Сомс приготовился к неприятностям. Цифры лежали перед ним — довольно бесцветные данные о состоянии дел, которые были бы приемлемы только в том случае, если бы в ближайшие полгода положение с валютой не изменилось. Отношение иностранных контрактов к отечественным определялось как 2:7. Германия, контракты которой составляли главную массу иностранных дел, попала, как заметил Сомс, в категорию лишь наполовину разоренных стран. Итоги были выведены достаточно осторожно.

Пока члены правления в полном молчании переваривали цифры, Сомс яснее, чем когда-либо, видел, в какой он попал переплет. Конечно, эти цифры вряд ли могут оправдать задержку дивидендов, полученных от операций прошлого года. Но предположим, что на континенте опять произойдет катастрофа и им придется отвечать по всем их иностранным контрактам? Ведь это поглотит все прибыли дел отечественных, а может, и больше. И потом еще эта неприязнь по отношению к самому Элдерсону — неизвестно, на чем она основана: то ли интуиция, то ли просто блажь.

— Ну, вот и цифры, мистер Форсайт, — заговорил председатель. — Вы удовлетворены?

Сомс взглянул на него; он принял твердое решение.

— Я соглашусь на выплату дивидендов этого года с условием, что мы на будущее время решительно и категорически откажемся от этих иностранных дел.

Взгляд директора-распорядителя, пронзительный и холодный, остановился на нем и потом обратился на председателя.

— Это пахнет паникой, — проговорил он, — иностранные дела дали нам добрую треть доходов этого года.

Прежде чем ответить, председатель посмотрел на выражение лица каждого из членов правления.

— В настоящий момент положение за границей не дает никаких оснований бить тревогу, мистер Форсайт. Я согласен, что нам надо внимательно следить за ним...

— Вы не имеете возможности это делать, — прервал Сомс. — Прошло четыре года со дня заключения мира, и мы знаем не больше, чем тогда. Если бы я знал, что Общество имеет отношение к этим делам, я никогда не вошел бы в правление. Надо это прекратить.

— Довольно резкое мнение. И, пожалуй, трудно будет сейчас что-нибудь решить.

Ропот одобрения, чуть ироническая улыбка на губах «этого типа» еще больше укрепили упорство Сомса.

— Отлично! Если вы не согласны объявить пайщикам, что мы прекращаем всякие дела с заграницей, я выхожу из правления. Я должен иметь полную возможность поднять этот вопрос на общем собрании.

Он заметил беспокойный косой взгляд директора-распорядителя. Ага, попал не в бровь, а в глаз!

Председатель заговорил:

— Вы приставили нам револьвер к виску.

— Я отвечаю перед пайщиками, — ответил Сомс, — и я выполню свой долг по отношению к ним.

— Мы все ответственны, мистер Форсайт, и я надеюсь, что все мы исполним свой долг.

— Отчего бы не ограничить иностранные контракты малыми странами? Их валюта достаточно устойчива.

«Старый Монт» со своим драгоценным «рингом»!

— Нет, — отрезал Сомс, — надо вернуться к надежным делам.

— Гордое одиночество, Форсайт, а?

— Вмешиваться можно было во время войны, а в мирное время, будь то в политике или в делах, это полувмешательство ни к чему не ведет. Мы не можем контролировать положение дел за границей.

Он посмотрел на окружающих и сразу увидел, что этими словами он задел какую-то струну. «Кажется, пройдет!» — подумал он.

— Я буду очень рад, господин председатель, — заговорил директор-распорядитель, — если вы мне разрешите сказать несколько слов. Дело было начато по моей инициативе, и я могу утверждать, как я полагаю, что до сих пор оно принесло Обществу значительную выгоду. Но если один из членов правления столь резко возражает против этих дел, я, разумеется, не буду настаивать, чтобы правление продолжало вести их. Время сейчас действительно ненадежное, и, конечно, мы несколько рискуем, даже при столь осторожных оценках, как у нас.

«Что такое? — подумал Сомс. — Куда он гнет?» — Это очень благородно с вашей стороны, Элдерсон. Господин председатель, я полагаю, что мы можем отметить, как это благородно со стороны нашего директора-распорядителя.

Ага, эта старая мямля! «Благородно»! Старая баба!

Резкий голос председателя нарушил молчание:

— Речь идет об очень серьезном вопросе, о всей нашей политике. Я считал бы необходимым присутствие лорда Фонтеноя.

— Если вы хотите, чтобы я подписал отчет, — резко сказал Сомс, — то решение надо принять сегодня. Я остаюсь при своем убеждении. А вы поступайте, как вам будет угодно.

Он бросил последнюю фразу из сочувствия к остальным — все-таки неприятно, когда вас к чему-то принуждают! Наступило минутное молчание, и тотчас все стали обсуждать вопрос с тем намеренным многословием, которым пытаются смягчить уже навязанное решение.

Прошло четверть часа, прежде чем председатель объявил:

— Итак, мы постановили, господа, объявить в отчете, что ввиду неустойчивого положения на континенте мы пока прекращаем страхование иностранных контрактов.

Сомс победил. Он вышел из зала успокоенный, но растерянный.

Да, он выдержал характер; их уважение к нему явно возросло; их приязнь — если она вообще существовала — явно уменьшилась. Но почему Элдерсон так изворачивался? Сомс вспомнил беспокойный косой взгляд стальных глаз директора при намеке на то, что вопрос будет поднят на общем собрании.

Это его задело! Но почему? Неужели он подделал цифры? Не может быть! Слишком трудно было бы обмануть бухгалтеров. Если Сомс кому-нибудь верил, так это бухгалтерам. Сэндис и Дживон — неподкупные люди. Нет, не то! Он поднял глаза. Купол св. Павла уже призрачно затуманился на вечеряющем небе — и ничего ему не посоветовал. Сомсу мучительно хотелось с кем-нибудь поговорить, но никого не было; и он пошел быстрее среди торопливой толпы. Засунув руку глубоко в карман, он вдруг нащупал что-то постороннее, липкое. «Боже! — подумал он, — эта ерунда! Бросить их в водосток? Вот будь

у них ребенок, было бы кому отнести шары. Надо заставить Аннет поговорить с Флер». Он знал по собственному давнишнему опыту, к чему приводят скверные привычки. А почему бы ему самому не поговорить с ней? Сегодня он там ночует. Но тут его охватило такое-то беспомощное сознание своего неведения — Эта нынешняя молодежь! О чем они, в сущности, думают, что чувствуют? Неужели «Старый Монт» прав? Неужели они не интересуются ничем, кроме настоящего момента, неужели они не верят в прогресс, в продолжение рода? Правда, Европа в тупике. Но разве не то же было после наполеоновских войн? Он не мог помнить своего деда, «Гордого Доссета»: старик умер за пять лет до его рождения. Но он отлично помнил, как тетя Энн, родившаяся в 1799 году, часто рассказывала об «этом ужасном Бонапарте — мы звали его Бонапартишкой, мой милый», о том, как ее отец получал от восьми до десяти процентов дохода; и какое впечатление «эти чартисты» произвели на теток Джулию и Эстер, — а ведь это было много позднее. И все же, несмотря на это, вспомните эпоху Виктории! Золотой век, когда стоило собирать вещи, заводить детей. А почему бы не начать снова? Консоли поднимаются непрерывно с тех пор, как умер Тимоти. Даже если и рай и ад отменены, нет оснований не жить, как прежде. Ведь ни один из его дядей не верил ни в рай, ни в ад — однако они разбогатели, все имели семьи, кроме Тимоти и Суизина. Нет! Рай и ад ни при чем! В чем же тогда перемена, если только она действительно существует? И вдруг Сомсу стало ясно, в чем дело. Эти, нынешние, все слишком много говорят; слишком много и слишком быстро! У них от этого скоро пропадет интерес ко всему на свете. Они высасывают жизнь и бросают кожуру, и... кстати, надо непременно купить эту картину Джорджа!.. Неужели молодежь умнее его поколения? А если так, то чем это объяснить? Может быть, их питанием? Этот салат из омаров, которым Флер накормила его в воскресенье! Он съел его ужасная гадость! Но от этого не стал разговорчивее. Нет! Наверное, дело не в питании. И потом вообще — ум! Да где же теперь такие умы, которые могут сравниться с викторианцами — с Дарвином, Гексли, Диккенсом, Дизраэли, даже со стариком Гладстоном? Да он сам еще помнил судей и адвокатов, которые казались гигантами по сравнению с нынешними; так же как он помнил, что его отцу Джемсу судьи, которых он знал в молодости, казались гигантами по сравнению с современниками Сомса. Если судить по этому, ум постепенно вырождается. Нет, здесь что-то другое. Сейчас в моде такая штука, называемая психоанализом, по которой выходит, что поступки людей зависят не от того, что они ели за завтраком или с какой ноги встали с постели, как считалось в доброе старое время, а от какого-то потрясения, испытанного в далеком прошлом и абсолютно забытого. Подсознание? Выдумки! Выдумки — и микробы! Просто у этого поколения пищеварение скверное. Его отец и его дядя вечно жаловались на печень, но никогда с ними ничего не случалось и никогда им не были нужны все эти витамины, искусственные зубы, психотерапия, газеты, психоанализ, спиритизм, ограничение рождаемости, остеопатия, радиовещание и прочее. «Машины! — подумал Сомс. — Вот в чем, вероятно, дело!» Как можно во что-нибудь верить, когда все так вертится? Да тут и цыплят не пересчитать — так они бегут! Но у Флер умная головка! «Да, — подумал он, — и французские зубы — все может разгрызть. Два года! Надо поговорить с ней, пока эта привычка не укоренилась. Ее мать так не медлила!» И, увидев перед собой подъезд «Клуба знатоков», он вошел.

Швейцар вышел ему навстречу. Какой-то джентльмен ждет Сомса.

— Какой джентльмен? — покосился Сомс.

— Кажется, ваш племянник, сэр, мистер Вэл Дарти.

— Вэл Дарти? Гм! Где он?

— В маленькой гостиной, сэр.

Маленькая гостиная — единственная комната клуба, в которую допускались те, кто не состоял в нем членом, — была расположена в конце коридора и обставлена довольно убого, как будто клуб говорил: «Видите, что значит не принадлежать к числу моих членов». Сомс зашел туда. Вэл Дарти курил папиросу и, видимо, был поглощен созерцанием единственного интересного предмета в комнате — своего собственного отражения в зеркале над камином.

Сомс всегда встречал племянника, ожидая, что тот скажет: «Знаете, дядя Сомс, я разорен в пух и прах». Разводит скаковых лошадей! Это к добру не приведет!

— Ну, как поживаешь? — сказал Сомс.

Лицо в зеркале повернулось — и там отразился рыжеватый стриженный затылок.

— Ничего, живем, спасибо! А вы отлично выглядите, дядя Сомс. Я пришел спросить — неужели мне надо принять этих кляч старого Джорджа Форсайта? Они ни к черту не годятся.

— Дареному коню в зубы смотреть? — сказал Сомс.

— Конечно, — проговорил Вэл, — но они до того плохи! Пока я заплачу налог, pošлю их на продажу и продам, они не будут стоить и шести пенсов. Одна из них падает, только поглядишь на нее. А две другие — с запалом. Несчастный старикан держал их просто потому, что никак не мог с ними развязаться. Им по пятьсот лет.

— А я думал, ты любишь лошадей, — сказал Сомс. — Разве ты не можешь их пустить на выпас?

— Н-да, — сухо сказал Вэл, — но мне ведь надо зарабатывать себе на жизнь. Я даже жене ничего не сказал — побоялся, что она посоветует принять. Я боюсь, что если я их продам, они мне будут сниться. Они годятся только на живодерню. Нельзя ли мне написать душеприказчикам и сказать, что я не настолько богат, чтобы взять их?

— Можно, — сказал Сомс, и слова: «Как поживает твоя жена?» — так и не сошли с его губ. Она была дочерью его врага, молодого Джолиона. Этот человек умер, но факт оставался фактом.

— Ладно, так и сделаю, — сказал Вэл. — Как сошли похороны?

— Очень просто — я и не вмешивался.

Дни парадных похорон прошли. Ни цветов, ни лошадей, ни султанов из перьев — моторный катафалк, несколько автомобилей — вот и весь почет, какой ныне оказывают покойникам. Тоже знамение времени!

— Я сегодня ночью на Грин-стрит, — сказал Вэл. — Кажется, вы не там остановились, правда?

— Нет, — сказал Сомс и не мог не заметить, как на лице племянника отразилось облегчение.

— Да, кстати, дядя Сомс, вы мне советуете купить акции ОГС?

— Наоборот. Я собираюсь посоветовать твоей матери продать их. Скажи ей, что я завтра зайду.

— Почему? А я думал...

— Есть причины, — отрезал Сомс.

— Ну ладно, пока!

Сомс холодно пожал племяннику руку, посмотрел ему вслед.

«Пока!» — выражение, укоренившееся после бурской войны; Сомс никак не мог к нему привыкнуть, совершенно бессмысленное слово! Он пошел в читальню. «Знатоки» стояли и сидели за столами, но Сомс — самый необщительный человек на свете — предпочел одиночество в глубокой нише окна. Он сидел там, потирая ноготь указательного пальца другим пальцем, и разжевывал смысл жизни. В конце концов, в чем же ее сущность? Вот был Джордж. Ему легко жилось — он никогда не работал! А вот он сам работает всю жизнь. И все равно рано или поздно его похоронят, да еще, чего доброго, на моторном катафалке. Взять его зятя — молодого Монта: вечно болтает бог знает о чем; и взять этого тощего парня, который продал ему шары нынче днем. И старый Фонтеной, и лакей, вон там у стола, все — и работающие и безработные, члены парламента и священники на кафедрах — к чему все это? В Мейплдерхеме был старый садовник, который изо дня в день подстригал лужайки; если бы он бросил работать — во что превратились бы лужайки? Так и жизнь — садовник, подравнивающий лужайки. Другая жизнь нет, он в нее не верил, но если даже принять эту возможность — наверно, там то же самое. Стричь лужайки, чтобы все шло гладко! А какой смысл? И, поймав себя на таких пессимистических мыслях, он встал. Лучше пойти к Флер — там ведь надо переодеться к обеду. Он признавал, что в переодевании к обеду есть

какой-то смысл, но в общем — это все вроде стрижки лужаек; снова зарастет, снова надо переодеваться. И так без конца! Вечно делать одно и то же, чтобы держаться на каком-то уровне. А к чему?

Подходя к Саут-сквер, он налетел на какого-то молодого человека: повернув голову, тот как будто смотрел кому-то вслед. Сомс остановился, не зная, извиниться ли ему или ждать извинений.

Молодой человек отрывисто бросил: «Виноват, сэ», — и прошел дальше смуглый, стройный человек; и какой голодный взгляд — только, видно, голод не тот, что связан с желудком. Буркнув: «Ничего», — Сомс тоже прошел дальше и позвонил у двери дочери. Она сама ему открыла. На ней была шапочка и меховая шубка: значит, она только что пришла. Сомс вспомнил молодого человека. Может быть, он провожал Флер? Какое у нее прелестное лицо! Обязательно надо с ней поговорить. Если только она начнет бегать...

Однако он отложил разговор до вечера, когда собирался уже проститься с ней на ночь. Майкл ушел на собрание, где выступал кандидат лейбористской партии, — как будто не мог придумать ничего лучшего!

— Ты уже два года замужем, дитя мое, и, я полагаю. Тебе пора подумать о будущем. О детях говорят много всякой ерунды. Дело обстоит гораздо проще. Надеюсь, ты понимаешь это?

Флер сидела, откинувшись на диванные подушки, покачивая ногой. Ее глаза стали чуть беспокойнее, но щеки даже не порозовели.

— Конечно, — проговорила она, — но зачем спешить, папа?

— Ну, не знаю, — проворчал Сомс. — У французов и у нашей королевской фамилии есть хорошее обыкновение — отделяться от этого пораньше. Мало ли что может случиться — лучше обезопасить себя — Ты очень привлекательна, дитя мое, и мне бы не хотелось, чтобы ты так разбрасывалась. У тебя столько всяких друзей!

— Да, — сказала Флер.

— Ведь ты ладишь с Майклом, правда?

— О, конечно!

— Ну так чего же ждать? Помни, что твой сын будет этим, как его там...

В этих словах, несомненно, была уступка: он инстинктивно не любил всякие титулы и звания.

— А может быть, будет не сын? — сказала Флер.

— В твои годы это легко поправимо.

— Ну, папа, я совсем не хочу много детей. Одного, может быть — двух.

— Да, — сказал Сомс, — но я-то, пожалуй, предпочел бы дочку вроде... ну, вроде тебя, например.

Ее глаза смягчились, она перевела взгляд с его лица на кончик своей ноги, на собаку, обвела глазами комнату.

— Не знаю... страшно связывает... как будто сама себе роешь могилу.

— Ну, я бы не сказал, что это так страшно, — попытался возразить Сомс.

— И ни один мужчина не скажет, папочка.

— Твоя мать без тебя не могла бы жить, — сказал он, но тут же вспомнил, как ее мать чуть не погибла из-за нее и как все могло бы сорваться, если бы не он; и Сомс молча погрузился в созерцание беспокойной туфли Флер.

— Что же, — сказал он наконец, — я считал, что нужно поговорить об этом. Я... я хочу, чтобы ты была совершенно счастлива.

Флер встала и поцеловала его в лоб.

— Я знаю, папочка, — сказала она. — Я эгоистка я свинья. Я подумаю об этом. Я... я даже уже думала, по правде сказать.

— Вот это правильно, — сказал Сомс. — Это правильно! У тебя светлая головка — для меня это большое утешение. Спокойной ночи, милая.

И он пошел спать. Если и был в чем-нибудь смысл, то только в продолжении своего

рода, хотя и это стояло под вопросом. «Не знаю, — подумал он, — может быть, стоило ее спросить, не был ли этот молодой человек... но лучше молодежь оставить в покое!» По правде говоря, он их не понимал. Его глаза остановились на бумажном пакетике о этими... этими штуками, которые он купил. Он вынул их из кармана пальто, чтоб от них отвязаться, — но как? В огонь — нельзя, будет скверно пахнуть. Он остановился у туалетного столика, взял одну из пленок и посмотрел на нее. Господи помилуй! И вдруг, вытерев мундштучок носовым платком, стал надувать шар. Он дул, пока не устали щеки, и потом, зажав отверстие, взял кусочек нитки и завязал шар. Поддал его рукой, тот полетел — красный, нелепый — и сел на его постель. Гм! Он взял второй шар и тоже надул. Красный и зеленый! Фу ты! Если кто-нибудь войдет и увидит! Он открыл окно, выгнал оба шара в ночную темень и захлопнул окно. Пусть летают там, в темноте! Нервная усмешка искривила его губы. Утром люди их увидят. Ну что ж! Куда же еще девать такие штуки?

XIII. ПЛЕН

Майкл пошел на собрание лейбористской партии отчасти потому, что ему так хотелось, отчасти из сочувствия к «Старому Форсайту»; ему всегда казалось, что он ограбил Сомса. Старик так замечательно относился к Флер, я Майкл оставлял их вдвоем, когда только, мог.

Поскольку избиратели по большей части неорганизованные рабочие, а не члены союза, это, вероятно, будет одно из тех собраний, которые лейбористская интеллигенция проводит, лишь бы «отвязаться». Всяческие чувства — «ерунда», руководство людьми превращено просто в снисхождение к ним, значит, можно ожидать, что будут говорить на чисто деловые, экономические темы, не касаясь таких презренных факторов, как живой человек. Майкл привык слышать, как позорят людей, если они не одобряют перемен, ссылаясь на то, что человек по своей природе постоянен; он привык, что людей презирают за выражение сочувствия; он знал, что надо исходить исключительно из экономики. Да и, кроме того, эти выступления были много приятнее крикливых речей в северном районе или в Хайд-парке, которые невольно вызывали в нем самом противное, подсознательное классовое чувство.

Когда Майкл приехал, митинг был в полном разгаре и кандидат лейбористской партии безжалостно изобличал все язвы капитализма, который, по его мнению, привел к войне. И для того, чтобы снова не началась война, говорил оратор, надо установить такой строй, при котором народы всех стран не испытывали бы слишком больших лишений. Личность, по словам оратора, стоит выше нации, часть которой она составляет; и перед партией стоит задача: создать такие экономические условия, в которых личность могла бы свободно совершенствовать свои природные данные. Только таким путем, говорил он, прекратятся эти массовые движения и волнения, которые угрожают спокойствию всего мира. Говорил он хорошо. Майкл слушал и одобрительно хмыкал почти вслух и вдруг поймал себя на том, — что думает о себе, о Уилфриде и Флер. Сможет ли он когданибудь «свободно усовершенствовать свои природные данные» настолько, чтобы так не тянуться к Флер? Стремился ли он к этому? Нет, конечно. И в слова оратора он вложил какие-то человеческие чувства. Не слишком ли сильно все чего-нибудь хотят? И разве это не естественно? А если так, то разве не будут всегда накапливаться у целой массы людей какие-то стремления — целые разливы примитивных желаний, вроде желания удержаться над водой, когда? тонешь? Ему вдруг показалось, что в своих доводах кандидат забывает об элементарных законах трения и теплоты, что это сухие разглагольствования кабинетного человек, после скудного завтрака. Майкл внимательно посмотрел на сухое, умное, скептическое лицо оратора. «Нет настоящей закваски!» — подумал он. И когда тот сел, он встал и вышел.

История с Уилфридом расстроила его невероятно. Как он ни старался забыть об этом, как ни пытался иронией уничтожить сомнение, оно продолжало разъедать его спокойную и счастливую уверенность. Жена — и лучший друг! Сто раз на, дню он уверял себя, что верит Флер. Но Уилфрид настолько привлекательнее его самого, а Флер достойна лучшего из лучших. Кроме того, Уилфрид мучается — тоже не очень приятно думать об этом. Как

покончить с этой историей, как вернуть спокойствие себе, ему, ей? Флер ничего ему не говорит, а спрашивать просто невозможно. Даже нельзя показать, как ему тяжело! Да, темная история; и, насколько он понимает, исхода нет. Ничего не остается, как крепче замкнуться в себе, быть с Флер как можно ласковее и стараться не чувствовать горечи по отношению к Уилфриду. Какой ад!

Он пошел по набережной Челси. В небе, широком и темном, переливались звезды. На реке, темной и широкой, лежали маслянистые полосы от уличных фонарей. Простор неба и реки успокоил Майкла. К черту меланхолию! Какая путаная, странная, милая, подчас горькая штука — жизнь! И всегда увлекательная игра на счастье — как бы ни легли карты сейчас! В окопах он думал: «Только бы выбраться отсюда, и я никогда в жизни не буду ни на что жаловаться». Как редко он вспоминал сейчас об этом! Говорят, человеческое тело обновляется каждые семь лет. Через три года его тело уже не будет таким, как в окопах, — оно станет телом «мирного времени» с угашенными воспоминаниями. Если бы только Флер откровенно сказала ему, что она чувствует по отношению к Уилфриду, как она решила поступить — ведь она, наверно, что-то решила. А стихи Уилфрида? Может быть, его проклятая страсть претворится в стихи, как говорил Барт? Но кто же тогда станет их печатать? Сквернейшая история! Впрочем, ночь прекрасна, и самое главное — не быть скотиной. Красота — и сознание, что ты не скотина! Вот и все, да еще, пожалуй, смех — комическая сторона событий! Надо сохранить чувство юмора во что бы то ни стало! И Майкл, замедлив шаги под полуосыпавшимися ветвями платанов, похожими в темноте на перья, пытался найти комическую сторону своего положения. Но ничего не выходило. Очевидно, в любви абсолютно ничего смешного нет. Может быть, он научится не любить ее? Но нет, она держит его в плену. Может быть, она это делает нарочно? Никогда! Флер просто не способна делать то, что делают другие женщины, держать мужей впроголодь и кормить их, когда им бывают нужны платья, меха, драгоценности! Гнусно!

Он подошел к Вестминстеру. Только половина одиннадцатого! Не поехать ли сейчас к Уилфриду и выяснить отношения? Это все равно, что пытаться заставить стрелки часов идти в обратную сторону. Что пользы говорить: «Ты любишь Флер, не надо ее любить». Что пользы, если Уилфрид скажет ему то же самое? «Ведь в конце концов я был первым у Флер», — подумал он. Чистая случайность, но факт! Может, в этом и кроется опасность? Он для нее уже потерял новизну, ничего неожиданного — она в нем не находит. А ведь сколько раз они оба соглашались, что в новизне — вся соль жизни, весь интерес, вся действенность. И новизна теперь в Уилфриде. Да, да! Очевидно, не все сказано тем, что «юридически и фактически» Флер принадлежит ему. Он повернул с набережной домой — чудесная часть Лондона, чудесная площадь; все чудесно, кроме вот этого проклятого осложнения. Что-то мягкое, словно большой лист, дважды коснулось его уха. Он удивленно обернулся: кругом пусто, ни одного дерева. Что-то летает в темноте, что-то круглое; он протянул руку — оно отскочило. Что это? Детский шарик? Он схватил его обеими руками и поднес к фонарю: как будто зеленый. Странно! Он посмотрел вверх. Два окна освещены — одно из них в комнате Флер. Неужели это его собственное счастье воздушным шаром вылетело из дому? Болезненная игра воображения! Вот осел! Просто порыв ветра — детская игрушка отвязалась и улетела! Он осторожно нес шарик. Надо показать Флер. Он открыл дверь. В холле темно — она наверху. Он поднялся, раскачивая шарик на пальце. Флер стояла перед зеркалом.

— Это еще что у тебя? — удивилась она.

Кровь снова прилила к сердцу Майкла. Смешно, до чего он боялся, что шар имеет какое-нибудь отношение к ней.

— Не знаю, детка; упал мне на шляпу — наверно, свалился с неба. — И он подбросил шарик. Тот взлетел, упал, подпрыгнул два раза, закружился и затих.

— Какой ты ребенок, Майкл! Я уверена, что ты купил его.

Майкл подошел ближе и остановился.

— Честное слово! Что за несчастье быть влюбленным!

— Ты так думаешь?
— Всегда один целует, а другой не подставляет щеку.
— Но я-то ведь подставляю.
— Флер!

Она улыбнулась.

— Ну, целуй же!

Обнимая ее, Майкл подумал: «Она держит меня, делает со мной все, что хочет, и я ничего не знаю о ней».

А в углу слышалась тихая возня — это Тинг-а-Линг обнюхивал шарик.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. МАРКА ПАДАЕТ

Положение дел все более и более раздражало Сомса особенно после общего собрания пайщиков ОГС. Оно прошло по тому же старому образцу, как проходят все такие собрания: пустая и гладкая — не придерешься! — речь председателя, подмасленная двумя надежными пайщиками и подкисленная выступлением двух менее надежных пайщиков, и, наконец, обычная болтовня по поводу дивидендов. Он пошел на собрание мрачный, вернулся еще мрачнее. Если Сомс что-нибудь себе вбивал в голову, то ему труднее было отделаться от этого, чем сыру отделаться от своего запаха. Почти треть контрактов иностранные, и притом почти все — германские! А марка падает! Марка стала падать с той минуты, как он согласился на выплату дивидендов. А почему? Откуда подул ветер? Против обыкновения. Сомс стал вчитываться в политический отдел своей газеты. Эти французы — он никогда им не доверял, особенно со времени своей второй женитьбы, — эти французы, как видно, собираются валять дурака! Он заметил, что их газеты никогда не упустят случая поддеть политику Англии; кажется, они думают, что Англия будет плясать под их дудку! А марка и франк и всякая прочая валюта продолжает падать! И хотя Сомсу и свойственно было радоваться, что на бумажки его страны можно закупить большое количество бумажек других стран, он понимал, что все это глупо и нереально и что ОГС в будущем году дивидендов не выплатит. ОГС — солидное предприятие; невыплата дивидендов будет явным признаком плохого руководства. Страхование — одно из тех немногих дел на нашей земле, которые можно и нужно вести без всякого риска. Если бы не это, он никогда не вошел бы в правление. И вдруг обнаружить, что страхование велось не так и что он тоже в этом виноват! Как бы то ни было, он заставил Унифрид продать акции, хотя они уже слегка упали.

— Я думала, что это такая верная вещь. Сомс, — жаловалась она, — ведь так неприятно терять на акциях!

Он отрезал беспощадно:

— Если не продашь, потеряешь больше.

И она послушалась. Если семьи Роджера и Николаев, которые по его совету тоже купили акций, не продали их — пусть пеняют на себя! Он просил Унифрид предупредить их. У него самого были только его вступительные акции, и потеря была бы незначительна, так как его директорский оклад вполне компенсировал ее. Личная заинтересованность роли не играла — его просто мучило сознание, что тут замешаны иностранцы и что его непогрешимость поставлена под вопрос.

Рождество он провел спокойно в Мейплдерхеме. Он ненавидел рождество и праздновал его только потому, что жена его была француженка и ее национальным праздником был Новый год. Нечего потакать всяким иностранным обычаям. Но праздновать рождество без детей! Ему вспомнились зеленая хвоя и хлопущки в доме на ПаркЛейн, его детство, семейные вечера. Как он злился, когда получал что-нибудь символическое — кольцо или наперсток вместо шиллинга! Санта-Клауса на Парк-Лейн не признавали отчасти потому, что

дети давно «раскусили» старика, отчасти потому, что это было слишком несовременно. Эмили, его мать, не допустила бы этого. Да, кстати: этот Уильям Гоулдинг, ингерер, до того запутал этих людей в Геральдическом управлении, что Сомс прекратил дальнейшие исследования нечего давать им тратить его деньги на сентиментальную прихоть, которая никаких материальных выгод не сулит. Этот узколобый «Старый Монт» хвастает своими предками — тем более имеется оснований не заводить себе предков, чтоб нечем было хвастать. И Форсайты и Голдинги — хорошие коренные английские семьи, а больше ничего не требуется. А если во Флер и в ее ребенке, если только у нее будет ребенок, есть примесь французской крови — что ж, теперь делу не поможешь.

В отношении внука Сомс был осведомлен не больше, чем в октябре. Флер провела рождество у Монтов, но обещала скоро приехать к нему. Надо будет заставить мать расспросить ее.

Погода стояла удивительно мягкая. Сомс даже выехал как-то на лодке поудить рыбу. В теплом пальто он стоял с удочкой, ожидая окуней или плотвы покрупнее, но выудил только пескаря — никому не нужен, даже прислуга их нынче не ест. Его серые глаза задумчиво смотрели на серую воду под серым небом, и он мысленно следил за падением марки. Она упала катастрофически одиннадцатого января, когда французы заняли Рур. За завтраком он сказал Аннет:

— Что выделывают твои соотечественники! Посмотри, как упала марка!

— Какое мне дело до марки? — возразила она, наливая себе кофе. — Мне нужно, чтобы они не смели больше нападать на мою родину. Я надеюсь, что они испытают хоть часть тех страданий, которые испытали мы.

— Ты, — сказал Сомс, — ты-то никаких страданий не испытала.

Аннет поднесла руку к тому месту, где должно было находиться ее сердце, в чем Сомс иногда сомневался.

— Я испытывала страдания тут, — проговорила она.

— Что-то не замечал. Никогда ты не сидела без масла.

— Что же, по-твоему, будет с Европой в ближайшие тридцать лет? Что будет с британской торговлей?

— Мы, французы, смотрим дальше своего носа, — горячо возразила Аннет. — Мы знаем, что побежденных нужно действительно подчинить себе, иначе они начнут мстить. Вы, англичане, такие тряпки!

— Тряпки? — повторил Сомс. — Говоришь, как ребенок. Разве мы могли бы занять такое положение в мире, если бы были тряпками?

— Это — от вашего себялюбия. Вы холодны и себялюбивы.

— Холодны, себялюбивы — и тряпки! Нет, это не подходит. Поищи другое определение.

— Ваша тряпичность — в вашем образе мыслей, в ваших разговорах; но ваш инстинкт обеспечивает вам успех, а вы, англичане, инстинктивно холодны и эгоистичны, Сомс. Вы все — помесь лицемерия, глупости и эгоизма.

Сомс взял немного варенья.

— Так, сказал он, — ну, а французы? Циничны, скупы, мстительны. А немцы — сентиментальны, упрямы и грубы. Обругать другого всякий может. Лучше держаться Друг от Друга подальше. А вы, французы, никогда этого не делаете.

Статная фигура Аннет надменно выпрямилась.

— Когда связан с человеком так, как я связана с тобой, Сомс, или как мы, французы, связаны с немцами, надо быть или хозяином, или подчиненным.

Сомс перестал мазать хлеб.

— А ты себя считаешь хозяином в этом доме?

— Да, Сомс.

— Ах так! Можешь завтра же уезжать во Францию.

Брови Аннет иронически поднялись.

— Нет, друг мой, я, пожалуй, подожду, ты все еще слишком молод.

Но Сомс уже пожалел о своем замечании — в свои годы он совсем не хотел таких передраг — и сказал более спокойно:

— Компромисс — это сущность всяких разумных отношений и между отдельными людьми и между странами. Нельзя чуть ли не каждый год заново портить себе жизнь.

— Это так по-английски! — пробормотала Аннет. — Мы ведь никогда не знаем, что вы, англичане, будете делать. Вы всегда ждете, откуда подует ветер.

Сомс, как ни глубоко он сочувствовал такой характеристике, во всякое другое время обязательно стал бы возражать — неудобно признаться в собственном непостоянстве. Но марка падала, как кирпичи с воза, и он был раздражен до последнего предела.

— А почему бы нам и не выжидать? Зачем бросаться в авантюры, из которых потом не выберешься? Я не желаю спорить. Французы и англичане никогда не ладили между собой и никогда не поладят.

Аннет встала.

— Ты прав, мой друг. *Entente, mais pas cordiale*. Что ты сегодня делаешь?

— Еду в город, — хмуро ответил Сомс. — Ваше драгоценное правительство напортило во всех делах так, что дальше идти некуда.

— Ты будешь там ночевать?

— Не знаю.

— Ну прощай! Всего доброго! — и она вышла из-за стола.

Сомс угрюмо задумался над хлебом с вареньем — падение марки не шло у него из ум? — и был рад, когда изящная фигура Аннет скрылась с глаз: сейчас ему было не до французских фокусов. Ему страшно хотелось сказать кому-нибудь: «Я же вам говорил!» Но надо подождать, пока найдется, кому сказать.

Прекрасный день, совсем теплый. И, захватив зонтик, чтобы предотвратить дождь, Сомс отправился на станцию.

В вагоне все говорили о Руре. Сомс терпеть не мог разговаривать с незнакомыми и слушал, прикрывшись газетой. Настроение в публике было до странности похоже на его собственное. Поскольку события причиняли неприятности «гуннам» — их одобряли; поскольку они причиняли неприятности английской торговле — их осуждали; атак как в данный момент любовь к английской торговле была сильнее ненависти к гуннам, события получили совсем отрицательную оценку. Замечание какого-то франкофила насчет того, что французы правы, ограждая себя любой ценой, было принято весьма холодно. В Мейденхеде в вагон вошел новый пассажир, и Сомс сразу понял, что сейчас начнется беспокойство. У пассажира были седые волосы, румяное лицо, живые глаза и подвижные брови, и через пять минут он уже спрашивал всех бодрым голосом, слышали ли они о Лиге наций? Первое впечатление Сомса подтвердилось; он выглянул из-за газеты. Ну ясно, сейчас этот тип оседлает своего конька! Вот, пошел! Суть не в том, объявил новый пассажир, получит ли Германия тумака, Англия — монету, а французы — утешение, а в том, получит ли весь мир спокойную и мирную жизнь. Сомс опустил газету. Если действительно хочешь мира, продолжал пассажир, надо забыть свои личные интересы и думать об интересах всего людского коллектива. Благо всех есть благо каждого. Сомс сразу почувствовал ошибку. Может быть, и так, но благо одного не всегда будет благом для всех. Он почувствовал, что если не сдержится, он возразит этому человеку. Человек этот — чужой, из споров вообще ничего хорошего не выходит. Но, к несчастью, его молчание среди общих споров о том, что от Лиги наций «толку не дождешься», показалось оратору сочувственным, и этот тип непрестанно подмигивал ему. Спрятаться за газетой было бы слишком подчеркнуто, и положение Сомса становилось все более ложным, пока поезд не остановился у Пэддингтонского вокзала. Он поспешил к такси. Голос за его спиной проговорил:

— Безнадежная публика, сэр, правда? Рад, что хоть вы со мной согласились.

— Конечно, — буркнул Сомс. — Такси!

— Если только Лига наций не будет функционировать, мы все провалимся в

преисподнюю.

Сомс повернул ручку дверцы.

— Конечно, — повторил он. — Полтри, — бросил он шоферу, садясь. Его не поймаешь — этот человек определенно смутьян.

В такси он понял, насколько он расстроен. Он сказал шоферу: «Полтри!» — адрес, который контора «Форсайт, Бастард и Форсайт» переменила двадцать два года назад, когда, слившись с конторой «Кэткот, Холидей и Кингсон», стала называться «Кэткот, Кингсон и Форсайт». Исправив ошибку, он опустил голову в мрачном раздумье. Падение марки! Теперь все понимают, в чем дело, но если ОГС перестанет выплачивать дивиденды — можно ли тогда надеяться, что пайщики будут считать виновниками французов, а не директоров? Сомнительно! Директоры должны были все предвидеть. Впрочем, в этом можно обвинять всех директоров, кроме него: он лично никогда бы не взялся за иностранные дела. Если бы он только мог с кем-нибудь поговорить обо всем! Но старый Грэдмен не поймет его соображений. И, приехав в контору, он с некоторым раздражением посмотрел на старика, неизменно сидящего на своем стуле-вертушке.

— А, мистер Сомс, я ждал вас сегодня все утро. Тут вас спрашивал какой-то молодой человек из ОГС. Не хотел сказать, в чем дело, говорит, что хочет видеть вас лично. Он оставил свой номер телефона.

— О! — сказал Сомс.

— Совсем юнец, из канцелярии.

— Как он выглядит?

— Очень аккуратный, приятный молодой человек. Произвел на меня вполне хорошее впечатление. Фамилия его Баттерфилд.

— Ну, позвоните ему, скажите, что я здесь, — и, подойдя к окну. Сомс уставился на совершенно пустую стену напротив.

Так как он не принимал активного участия в делах конторы, кабинет его был расположен далеко, чтоб никто не мешал. Молодой человек! Странное посещение! И он бросил через плечо:

— Не уходите, когда он явится, Грэдмен, я о нем ничего не знаю.

Мир меняется, люди умирают, марка падает, но Грэдмен всегда тут — седой, верный; воплощенная преданность и надежная опора, настоящий якорь.

Послышался скрипучий, вкрадчивый голос Грэдмена:

— Эти французские дела — нехорошо, сэр. Горячая публика. Я помню, как ваш батюшка, мистер Джемс, пришел в тот день, как была объявлена франко-прусская война, — он совсем еще был молодым, лет шестьдесят, не больше, Я точно помню его слова: «Ну вот, — сказал он, — я так и знал». И до сей поры ничего не изменилось. Ведь немцы и французы — что собака с кошкой.

Сомс, который повернулся было к Грэдмену, снова уставился в пустую стену. Бедный старик Грэдмен совсем устарел! Что бы он сказал, если бы узнал, что Сомс принимает участие в страховании иностранных контрактов?

Оттого, что перед ним сидел старый, верный Грэдмен, ему как-то легче стало думать о будущем. Сам он, возможно, проживет еще лет двадцать. Что он увидит за это время? Какой станет старая Англия к концу этого срока? «Что бы ни говорили газеты, мы не так глупы, как кажется, — подумал он. — Только бы нам суметь удержаться от всякой наносной чуши и идти своим путем».

— Мистер Баттерфилд, сэр!

Гм! Юноша, видно, поторопился. Под прикрытием добродушно-вкрадчивых приветствий Грэдмена Сомс «произвел разведку», как выражался его дядя Роджер. Аккуратно одет, отложной воротничок, шляпу держит в руке — совсем обыкновенный, скромный малый. Сомс слегка кивнул ему.

— Вы хотели меня видеть?

— Наедине, сэр, если разрешите.

— Мистер Грэдмен — моя правая рука.

Голос Грэдмена ласково заскрипел:

— Можете излагать ваше дело. За эти стены ничего не выносится, молодой человек.

— Я служу в конторе ОГС, сэр. Дело в том, что я случайно получил некоторые сведения, и теперь у меня беспокойно на душе. Зная, что вы адвокат, сэр, я предпочел обратиться к вам, а не к председателю. Скажите мне как юрист: должен ли я, как служащий Общества, всегда в первую очередь считаться с его интересами?

— Разумеется, — сказал Сомс.

— Мне неприятно это дело, сэр, и вы, надеюсь, поверите, что я пришел не по личным причинам, а просто из чувства долга.

Сомс пристально посмотрел на него. Большие влажные глаза юноши казались ему похожими на глаза преданной собаки.

— А в чем дело? — спросил он.

Баттерфилд облизнул сухие губы.

— Дело в страховании наших германских контрактов, сэр.

Сомс насторожил уши, и без того слегка торчащие кверху.

— Дело очень серьезное, — продолжал молодой человек, — и я не знаю, как это отразится на мне, но должен сказать, что я сегодня утром подслушал частный разговор.

— О-о, — протянул Сомс.

— Да, сэр. Вполне понимаю вас, но после первых же слов я должен был слушать. Я просто не мог выдать себя после того, как услышал их. Я думаю, что вы согласитесь, сэр.

— А кто говорил?

— Наш директор-распорядитель и некий Смит — судя по акценту, его фамилия, наверно, звучит несколько иначе. Он один из главных агентов по нашим германским делам.

— Что же они говорили? — спросил Сомс.

— Видите ли, сэр, директор что-то говорил, а потом этот Смит сказал: «Все это так, мистер Элдерсон, но мы не зря платили вам комиссионные; если марка окончательно лопнет, вам уж придется постараться, чтобы ваше Общество нас выручило».

Сомсом овладело острое желание свистнуть, но его остановило лицо Грэдмена: у старика отвалилась нижняя челюсть, заросшая короткой седой бородой, и он растерянно протянул:

— О-о!

— Да, — сказал молодой человек, — это был номер!

— Где вы были? — резко спросил Сомс.

— В коридоре, между кабинетом директора и конторой. Я только что разобрал бумаги в конторе и шел с ними, а дверь кабинета была приоткрыта пальца на два. Конечно, я сразу узнал голоса.

— Дальше?

— Я услышал, как мистер Элдерсон сказал: «Гс-с, не говорите об этом», — и я поскорей юркнул обратно в контору. С меня было достаточно, уверяю вас, сэр!

Подозрение и догадки совершенно сбили Сомса с толку. Правду ли говорил этот юнец? Такой человек, как Элдерсон... чудовищный риск! А если это правда — в какой мере ответственны директора? Но доказательства, доказательства?! Он посмотрел на клерка: тот был бледен и расстроен, но стойко выдержал его взгляд. Встряхнуть бы его хорошенько! И он строго сказал:

— Вы понимаете, что говорите? Дело в высшей степени серьезное!

— Я знаю, сэр. Если бы я думал о себе, я бы ни за что к вам не пришел. Я не доносчик.

Как будто говорит правду! Но осторожность не покидала Сомса.

— У вас были когда-нибудь неприятности по службе?

— Никогда, сэр, можете справиться. Я ничего не имею против мистера Элдерсона, и он ничего не имеет против меня.

Сомс внезапно подумал: «О черт, теперь он все это свалил на меня! Да еще при

свидетеле! И я сам оставил этого свидетеля!» — Имеете ли вы основания предполагать, что они заметили ваше присутствие? — спросил он.

— Не думаю, сэр, они не могли заметить.

Запутанность положения с каждой секундой росла, как будто рок, с которым Сомс умело фехтовал всю свою жизнь, внезапно нанес ему удар исподтишка. Однако нечего терять голову, надо все спокойно обдумать.

— Вы готовы, если нужно, повторить это перед правлением?

Молодой человек стиснул руки.

— Право, сэр, лучше бы я молчал, но раз вы считаете, что надо, что ж делать — придется. А может, лучше, если вы решите оставить это дело в покое; может быть, все это вообще неправда... Но тогда почему мистер Элдерсон не сказал ему: «Это наглая ложь!» Вот именно! Почему он смолчал? Сомс недовольно проворчал что-то невнятное.

— Что еще скажете? — спросил он.

— Ничего, сэр.

— Отлично. Кому-нибудь говорили об этом?

— Никому, сэр.

— И не надо, предоставьте это мне.

— Очень охотно, сэр, конечно. Всего хорошего!

— Всего хорошего!

Нет, хорошего мало! И ни малейшего удовлетворения от того, что его пророчество относительно Элдерсона сбылось. Ни малейшего!

— Что скажете об этом юнце, Грэдмен? Лжет он или нет?

Грэдмен, выведенный этими словами из оцепенения, задумчиво потер свой толстый лоснящийся нос.

— Как сказать, мистер Сомс, надо бы получить больше доказательств. Но я не знаю, какой смысл этому человеку лгать?

— И я не знаю. Впрочем, все возможно. Самое трудное — достать еще доказательства. Разве можно действовать без доказательств?

— Да, дело щекотливое, — сказал Грэдмен. И Сомс понял, что он предоставлен самому себе. Когда Грэдмен говорил, что «дело щекотливое», — это значило обычно, что он просто будет ждать распоряжений и считает даже вне своей компетенции иметь какое-либо мнение. Да и есть ли у него свое мнение? Ведь из него ничего не вытянуть. Будет тут сидеть и тереть нос до второго пришествия.

— Я торопиться не стану, — сердито проговорил Сомс. — Мало ли что еще может случиться!

Его слова подтверждались с каждым часом. За завтраком, в своем клубе в Сити, он узнал, что марка упала. Неслыханно упала! Как это люди еще могут болтать о гольфе, когда он поглощен таким делом, — просто трудно себе представить!

«Надо поговорить с этим типом, — подумал он. — Я буду настороже, может быть, он прольет свет на эту историю». Он подождал до трех часов и отправился в ОГС.

Приехав в контору, он сразу прошел в кабинет правления. Председатель беседовал с директором-распорядителем. Сомс тихо сел и стал слушать и, слушая, разглядывал лицо Элдерсона. Оно ничего ему не говорило. Какую чепуху болтают — будто можно по лицу определить характер человека! Только лицо совершенного дурака — открытая книга. А здесь был человек опытный, культурный, знавший каждую пружинку деловой жизни и светских отношений. Его лицо, бритое и сухое, выражало огорчение, обиду, но не больше, чем лицо любого человека, чья политика потерпела бы такой крах. Падение марки погубило всякую надежду на дивиденды в течение ближайшего полугодия. Если только эта несчастная марка не поднимется — германские страховки будут лежать на Обществе мертвым грузом. Право же, настоящим преступлением было не ограничить ответственность. Каким образом, черт возьми, мог он упустить это, когда вступил в правление? Правда, узнал он обо всем этом много позже. Да и кто мог предвидеть такую сумасшедшую историю, как события в Руре,

кто мог думать, что его коллеги по правлению так доверятся этому проклятому Элдерсону? Слова «преступная халатность» появились перед глазами Сомса крупным планом. Что если против правления будет возбуждено дело? Преступная халатность! В его годы, с его репутацией! Ясно как день: за то, что этот тип не ограничил ответственности, он получил комиссию. Наверно, процентов десять на круг; должно быть, заработал не одну тысячу! Право, человек должен дойти до крайности, чтобы рискнуть на такое дело. Но, видя, что фантазия у него начала разыгрываться, Сомс встал и повернул к двери. Надо было еще что-то сделать симулировать гнев, сбить самообладание с этого человека. Он резко обернулся и раздраженно проговорил:

— О чем же вы, собственно говоря, думали, господин директор-распорядитель, когда заключали страховки без ограничения ответственности? И такой опытный человек, как вы! Какие у вас на это были мотивы?

И Сомс подчеркнул это слово, пристально глядя на Элдерсона, поджав губы и сузив глаза. Но тот пропустил намек.

— При тех высоких процентах, какие мы получали, мистер Форсайт, не могло быть и речи об ограничении ответственности. Правда, положение дел сейчас весьма тяжелое, но что же делать — не повезло!

— К сожалению, при правильно поставленной страховой работе не может быть и речи о «везенье» или «невезенье», и, если я не ошибаюсь, нам скоро это докажут. Я не удивлюсь, если нам будет брошено обвинение в преступной халатности.

Ага, задело! И председатель ежится! Впрочем, Сомсу показалось, что Элдерсон только притворяется слегка огорченным. Бесплезно даже пробовать чего-нибудь добиться от такого типа. Если вся эта история — правда, то Элдерсон, вероятно, просто в безвыходном положении и готов на все. Но так как все, что могло привести человека в отчаяние, — все по-настоящему безвыходные положения, все невысказанные ситуации, требующие риска, — Сомс всегда тщательно устранял из своей жизни, он не мог даже представить себе душевное состояние Элдерсона, не мог представить себе его линию поведения, если он был действительно виновен. Этот тип, по мнению Сомса, был способен на все: у него и яд может быть припасен, и револьвер в кармане, как у героя экрана. Но все это до того неприятно, до того беспокоит просто слов нет! И Сомс молча вышел, только и узнав, что теперь, когда марка обесценена, их дефицит по этим германским контрактам составляет свыше двухсот тысяч фунтов. Он мысленно перебирал состояния своих содиректоров. Старый Фотеней всегда в стесненных обстоятельствах; председатель — «темная лошадка»; состояние Монта — в земле, а земля сейчас не в цене, к тому же его имение заложено. У этой старой мямли Мозергилла ничего, кроме имени и директорского жалованья, нет. У Мэйрика, верно, большие доходы, но при больших доходах и расходы большие, как у всех этих крупных адвокатов, которые служат и нашим и вашим и уверены, что их ждет должность судьи. Ни одного по-настоящему солидного человека, кроме него самого! Сомс медленно шел, тяжело шагая, опустив голову.

Акционерные общества! Нелепая система! Приходится кому-то доверять все дела — и вот вам! Ужасно!

— Шарики, сэр, разноцветные шарики, пять футов в окружности. Возьмите шарик, джентльмен!

— О боги! — сказал Сомс. Как будто ему мало было лопнувших, как пузырь, германских дел!

II. ВИКТОРИНА

Весь декабрь воздушные шары шли плохо, даже перед рождеством, и Центральная Австралия была так же далека от Бикетов, как и раньше. Викторина почти поправилась, но уже не могла вернуться на работу в мастерскую «Бонн Блэйдс и Кь». Ей давали на дом сделанную работу, но не часто, и она все пыталась найти что-нибудь более прочное. Как

всегда, ей страшно мешала ее внешность. Людям трудно было придумать что-нибудь для этой маленькой женщины с таким необычным лицом. Как принять на службу человека, который, как они знали, не обладает ни образованием, ни богатством, ни знатностью, ни особыми способностями и все же дает вам почувствовать, что он выше вас? Интерес к необычному, дававший таким, как Майкл и Флер, много острых ощущений, не играл никакой роли, когда речь шла о шитье блузок, примерке обуви, надписывании конвертов, плетении надгробных вещей» — словом, о тех занятиях, о которых мечтала Викторина. Что скрывали эти большие темные глаза, эти молчаливые губы? «Бони Блэйдс и Кь» и всякие другие почтенные коммерческие предприятия были даже обеспокоены этим. А соблазнительные профессии — статистики в кино, манекенщицы — не приходили в голову скромному существу, рожденному в Пэтни.

И каждое утро, когда Бикет уходил, взяв лоток со сложенными оболочками шаров, она стояла, грызя палец, мучительно придумывая, как бы прогрызть выход из этого полуголодного существования, от которого ее муж стал худ как спичка, измучен, как собака, и общипан, как бесхвостый воробей. Его унижительное ремесло едва давало им кров и пищу. Они давно поняли, что никакого будущего торговля шарами не сулит: только бы выклянчить на сегодняшний обед. И в тихонькой, покорной Викторине накопилась горячая обида. Во что бы то ни стало она хотела изменить жизнь к лучшему и для себя и для Тони — особенно для Тони.

В то утро, когда так упала марка, она надела свой бархатный жакетик и шапочку — лучшее, что осталось в ее скудном гардеробе. Она решилась. Бикет никогда не вспоминал о своем прежнем месте, и она смутно догадывалась, что дело с его увольнением обстоит совсем не так просто. Почему бы не попытаться опять его устроить? Он часто говорил ей: «Вот мистер Монт — настоящий джентльмен! Он что-то вроде социалиста, и на войне побывал, и вообще совсем не задается!» Вот если бы попасть к этому чудаку! И ее худенькое личико зарумянилось решимостью и надеждой, когда, проходя по Стрэнду, она взглянула на себя в зеркало витрины. Цвет ее зеленого бархатного жакетика всегда нравился тем, кто знал толк в оттенках, но зато черная юбка... ну, да может быть, никто не заметит, насколько юбка потерта, если не выходить из-за перегородки в конторе.

Хватит ли у нее смелости сказать, что она пришла по поводу рукописи? И она мысленно прорепетировала, тщательно выговаривая слова: «Будьте любезны попросить мистера Момта принять меня, мне надо поговорить насчет рукописи». Да! А вдруг спросят: «Как передать?» Сказать — миссис Бикет? Ни за что! Мисс Викторина Коллинз? У всех Писательниц девичьи фамилии. Но Коллинз! Не звучит «мкак! И кому какое дело до ее девичьей фамилии? А почему бы не выдумать? Писатели всегда придумывают себе фамилии. И Викторина стала подбирать имя. Что-нибудь итальянское, вроде, вроде... Ведь хозяйка так и спросила, когда они въезжали: „А ваша жена — итальянка, мистер Бикет?“ Ага! Мануэлли! Настоящее итальянское имя, как у мороженщика на Дич-стрит. По дороге она повторяла заранее придуманные слова. Только бы ей попасть к атому мистеру Монту!

Она вошла дрожа. Все шло, как она предполагала, вплоть до тщательно выговоренной фразы. Она ждала, пока о ней докладывали по внутреннему телефону, и прятала руки в ветхих перчатках. Назначили ли мисс Мануэлли прийти? Такой рукописи еще не было.

— Нет, — сказала Викторина, — я ее еще не послала. Я хотела сначала повидать мистера Момта.

Молодой человек у конторки пристально посмотрел на нее, снова подошел к телефону и потом сказал:

— Попрошу минутку подождать: сейчас к вам выйдет секретарша мистера Момта.

Викторина наклонила голову; ее сердце сжалось. Секретарша! Ну, теперь ей к нему ни за что не попасть. И вдруг она испугалась своей выдумки. Но мысль о Тони, там, на углу, в облаке разноцветных шаров — она не раз подсматривала за ним — поддержала ее отчаянную решимость.

Женский голос:

— Мисс Мануэлли? Я секретарь мистера Монта. Может быть, вы сообщите, по какому делу он вам нужен?

Свеженькая молодая женщина смерила Викторину внимательным взглядом.

— Нет, боюсь, что мне придется лично его побеспокоить.

Внимательный взгляд остановился на ее лице.

— Пожалуйста, пройдите со мной, может быть, он вас примет.

Викторина, не шелохнувшись, сидела в маленькой приемной. Вдруг она увидела в дверях лицо какого-то молодого человека и услышала:

— Войдите, пожалуйста.

Она судорожно глотнула воздух и вошла. В кабинете Майкла она взглянула на него, на его секретаршу и снова на него, бессознательно взывая к его благородству, его молодости, его честности, — неужели он откажется переговорить с ней наедине? У Майкла сразу мелькнула мысль: «Деньги, наверно. Но какое интересное лицо!» Секретарша опустила уголки губ и вышла из комнаты.

— Ну, что скажете, мисс... э-э... Мануэлли?

— Простите, не Мануэлли. Я миссис Бикет. Мой муж тут служил.

Как, жена того парня, что таскал «Медяки»? Гм! Бикет, помнится, что-то плел — жена, воспаление легких. Да, похоже, что она болела.

— Он часто говорил о вас, сэр. И он теперь совсем без работы. Может, у вас бы нашлось для него место, сэр?

Майкл молчал. Знает ли эта маленькая женщина с таким необычайно интересным лицом о воровстве?

— Он сейчас продает шары на улице. Я не могу видеть этого! Стоит у святого Павла и почти ничего не зарабатывает. А мы так хотим уехать в Австралию. Я знаю — он очень нервный и часто спорит с людьми. Но если бы только вы могли его принять...

Нет. Она ничего не знает!

— Очень сожалею, миссис Бикет. Я хорошо помню вашего мужа, но у нас нет для него места. А вы совсем поправились?

— О да! Только я тоже никак не могу найти работу! Какое лицо для обложек! Прямо Мона Лиза!! Ага!

Роман Сторберта!

— Ладно, я поговорю с вашим мужем. Скажите, вы бы не согласились позировать художнику для обложки? При желании могли бы и дальше работать по этой части. Вы как раз подходящая модель для моего друга. Вы знаете работы Обрн Грина?

— Нет, сэр.

— Очень неплохо — даже совсем хорошо, хоть и в декадентском духе. Так вы согласились бы позировать?

— Я согласна на всякую работу, лишь бы добыть денег. Но лучше не говорите мужу, что я была у вас. Он может рассердиться.

— Хорошо! Я с ним встречусь как будто случайно. Вы говорите, он стоит у святого Павла? Только здесь, к сожалению, работы нет, миссис Бикет. Да кроме того, он едва сводил концы с концами на наше жалованье.

— Когда я болела, сэр.

— Да, конечно, это сыграло роль.

— Конечно, сэр.

— Ладно, давайте я напишу вам записку к мистеру Грину. Присядьте.

Он писал, украдкой поглядывая на нее. Это худенькое большеглазое лицо, эти иссиня-черные вьющиеся волосы — необычайно интересно! Пожалуй, чересчур утонченно и бледно для вкусов широкой публики. Но, черт возьми! Нельзя же из-за публики вечно рисовать стандартные синие глаза, золотистые локоны и красные, как мак, щеки! «Она не совсем в обычном вкусе, писал он, — но так хороша в своем роде, что может стать художественным типом, как типы Бердсли и Дана».

Когда Викторина ушла с запиской, Майкл позвонил секретарше.

— Нет, мисс Перрен, она ничего у меня не выпрашивала. Но какое лицо, правда?

— Я тоже решила, что вам надо поглядеть на нее. Но ведь она не писательница?

— О нет!

— Ну, надеюсь, она добилась того, что ей нужно.

Майкл усмехнулся.

— Отчасти, мисс Перрен, отчасти! Вы меня считаете ужасным дураком, а?

— Ничуть, что вы! Но, по-моему, вы слишком мягкосердечны.

Майкл взъерошил волосы.

— А вы бы удивились, если бы я сказал, что сделал важное дело?

— Пожалуй, мистер Монт.

— Ну, тогда я вам не скажу ничего. Когда вы перестанете дуться, можно продолжать письмо к моему отцу насчет «Дуэта». Очень, мол, сожалеем, что при нынешнем положении дел мы лишены возможности переиздать разговор этих старых хрычей; мы на этом и так потеряли уйму денег. Конечно, вам придется это перевести. А потом надо написать старику что-нибудь ободряющее. Ну, например: «Когда французы образумятся и птички запоют, — словом, к весне мы надеемся еще раз пересмотреть этот вопрос в свете...» м-м-м... чего, мисс Перрен?

— В свете накопленного нами опыта. Насчет французов и птичек можно пропустить?

— Чудесно! «Преданные вам Дэнби и Уинтер». Вы не считаете, что появление этой книги в нашем издательстве — возмутительный пример nepoтизма?

— А что такое nepoтизм?

— Злоупотребление сыновней преданностью. Он никогда ни гроша не заработал своими книгами.

— Он очень изысканный писатель, мистер Монт.

— А мы за эту изысканность расплачиваемся. И все-таки он славный «Старый Барт»! Ну, вот пока и все. Идите завтракать, мисс Перрен, да как следует позавтракайте! У этой девушки и фигура необычайная, правда? Она очень тоненькая, но держится совсем прямо. Да, я все хотел вас спросить, мисс Перрен... Почему современные девицы всегда ходят как-то изогнувшись и вытянув шею вперед? Ведь не может быть, что они все так сложены?

Щеки секретарши зарделись.

— Конечно, причина есть, мистер Монт.

— А! Какая?

Щеки секретарши зарделись еще ярче.

— Я... я как-то не решаюсь...

— О, простите! Я спрошу жену. Только она-то держится очень прямо!

— Видите ли, в чем дело, мистер Монт: сейчас модно, чтобы... ну, сзади... ничего не было, а ведь это... и м... не так — вот они и стараются добиться такого вида, втягивая грудь и вытягивая шею. На модных картинках так рисуют, и манекенщицы всегда так ходят.

— Понятно, — сказал Майкл. — Спасибо, мисс Перрен! Очень мило, что вы объяснили. Дальше идти некуда, верно?

— Да, я сама совершенно не придерживаюсь этой моды.

— Нет, ничуть!

Секретарша опустила глаза и удалилась. Майкл сел к столу и стал рисовать на промокашке женский профиль. Но это была не Викторина...

Викторина, позавтракав, как всегда, чашкою кофе с булкой, поехала подземкой в Челси с письмом Майкла к Обри Грину. Правда, ее поход не увенчался успехом, но мистер Монт был очень добр, и Викторина повеселела.

У студии стоял, отпирая дверь, молодой человек — очень элегантный, в светло-сером спортивном костюме, весь какой-то скользкий, без шляпы, со светлыми, красиво зачесанными назад волосами и мягким голосом.

— Натурщица? — спросил он.

— Да, сэр. Вот, пожалуйста, у меня к вам записка от мистера Монта.

— От Майкла? Войдите.

Викторина прошла за ним. Комната почти вся светлозеленая — высокая комната с верхним светом и стропилами; стены сплошь увешаны рисунками и картинами, а часть картин как будто соскользнула на пол. На мольберте стояло изображение двух дам, с которых почти совсем соскользнули платья, — и Викторина смутилась. Она заметила, что глаза художника, светло-зеленые, как стены комнаты, скользят по ней внимательным взглядом.

— Вы будете позировать как угодно?

— Да, сэр, — машинально ответила Викторина.

— Снимите, пожалуйста, шляпу.

Викторина сняла шапочку и встряхнула волосами.

— О-о! — протянул художник. — Интересно!

Викторина не поняла, что ему интересно.

— Будьте добры, взойдите на помост!

Викторина нерешительно оглянулась. Улыбка словно скользнула по всему лицу художника, по лбу, по блестящим светлым волосам.

— Видно, это ваш первый опыт?

— Да, сэр.

— Тем лучше. — И он указал на маленькое возвышение.

Викторина села в черное дубовое кресло.

— Вам как будто холодно?

— Да, сэр.

Он подошел к шкафу и вернулся с двумя рюмками чего-то коричневого.

— Выпейте Grand Marnier.

Она увидела, как он залпом проглотил ликер, и последовала его примеру. Ликер был сладкий, очень вкусный, у нее сразу перехватило дыхание.

— Возьмите папироску.

Викторина взяла папироску из его портсигара и сжала ее губами. Он дал ей прикурить. И снова улыбка скользнула по его лицу и спряталась в блестящих волосах.

— В себя тяните, — сказал он. — Где вы родились?

— В Пэтни, сэр.

— Это занятно! Вы только посидите минуточку спокойно. Это не так страшно, как рвать зуб, только дольше. Главное — старайтесь не заснуть.

— Хорошо, сэр.

Он взял большой лист бумаги и кусок чего-то черного и начал рисовать.

— Скажите, пожалуйста, мисс...

— Коллинз, сэр, Викторина Коллинз.

Она инстинктивно назвала свою девичью фамилию — ей это казалось более профессиональным.

— Вы сейчас без работы? — он остановился, и снова улыбка скользнула по его лицу. — Или у вас еще есть какоенибудь занятие?

— Сейчас нет, сэр. Я замужем, и больше ничего.

Некоторое время художник молчал. Было занятно следить, как он смотрит — и делает штрих. Сто взглядов — сто штрихов. Наконец он сказал:

— Чудесно! Теперь отдохнем. Само небо послало вас сюда, мисс Коллинз. Идите погрейтесь.

Викторина подошла к камину.

— Вы что-нибудь слышали об экспрессионизме?

— Нет, сэр.

— Понимаете, это значит обращать внимание на внешность, только поскольку она выражает внутреннее состояние. Вам это что-нибудь объясняет?

— Нет, сэр.

— Так. Кажется, вы сказали, что согласны, позировать... м-м... совсем?

Викторина смотрела на веселого, скользящего джентльмена.

Она не понимала, что он хочет сказать, но чувствовала что-то не совсем обычное.

— Как это «совсем», сэр?

— Совсем нагой.

— О-о! — она опустила глаза, потом посмотрела на соскользнувшие платья тех двух женщин. — Вот так?

— Нет, вас я не стану изображать в кубистическом духе.

На впалых щеках Викторины загорелся слабый румянец. Она медленно проговорила:

— А за это больше платят?

— Да, почти вдвое — а то и больше. Но я вас не уговариваю, если не хотите. Вы можете подумать и сказать мне в следующий раз.

Она снова подняла глаза и сказала:

— Благодарю вас, сэр.

— Не стоит! Только, пожалуйста, не величайте меня «сэром».

Викторина улыбнулась. В первый раз художник увидел это функциональное явление на лице Викторины и оно произвело на него неожиданное впечатление.

— Ей-богу, — сказал он торопливо, — когда вы улыбаетесь, мисс Коллинз, я вижу вас импрессионистически. Если вы отдохнули, сядьте снова в кресло.

Викторина пошла на место.

Художник достал чистый лист бумаги.

— Вы можете думать о чем-нибудь таком, чтобы улыбаться?

Викторина отрицательно покачала головой. И это была правда.

— Ни о чем смешном не можете думать? Например, вы любите своего мужа?

— О да!

— Ну, попробуйте думать о нем.

Викторина попробовала, но могла себе представить только Тони, продающего шары.

— Нет, нет, так не годится, — сказал художник. — Не думайте о нем. Вы видели картину «Отдых фавна»?

— Нет, сэр.

— А вот у меня появилась мысль: «Отдых дриады». А насчет позирования вам, право, нечего смущаться. Это ведь совершенно безлично. Думайте об искусстве и пятнадцати шиллингах в день. Клянусь Нижинским! Я уже вижу всю картину.

Он говорил, и его глаза скользили по ней взад и вперед, а карандаш скользил по бумаге. Какое-то брожение поднялось в душе Викторины. Пятнадцать шиллингов в день! Синие бабочки!

В комнате стояла глубокая тишина. Взгляд и рука художника скользили без остановки. Слабая улыбка осветила лицо Викторины: она подсчитывала, сколько можно заработать.

Наконец его взгляд перестал скользить, и он не отрывал глаз от бумаги.

— На сегодня все, мисс Коллинз. Мне надо еще кое-что обдумать. Дайте мне ваш адрес.

Викторина быстро соображала.

— Пожалуйста, сэр, пишите мне до востребования. Я не хотела бы, чтобы муж узнал, что я... я...

— Причастны к искусству? Ну, ладно, какое почтовое отделение?

Викторина назвала отделение и надела шляпу.

— Полтора часа — пять шиллингов, спасибо. И завтра, в половине третьего, мисс Коллинз, — без «сэра», пожалуйста!

— Хорошо, с... спасибо!

Викторина ждала автобуса на холодном январском ветру, и ей казалось, что позировать нагой — невыносимо. Сидеть перед чужим господином без всего! Если бы Тони знал! Снова

румянец медленно залил ее впалые щеки. Она вошла в автобус. Но ведь пятнадцать шиллингов! Шесть раз в неделю — да это выходит четыре фунта десять шиллингов! За четыре месяца она может заработать на проезд туда. Если судить по картинам в студии, масса женщин это делают. Тони ничего не должен знать — даже того, что она позирует для лица. Он такой нервный и так ее любит! Он выдумает бог знает чего; она помнит, как он говорил, что все эти художники настоящие скоты. Но этот джентльмен был очень мил, хоть и казалось, точно он над всем смеется. Она пожалела, что не взглянула на рисунок. Может быть, она увидит себя на выставке. Но без всего — ой! И вдруг ей пришло в голову: «Если бы мне побольше есть, я в таком виде хорошо бы выглядела». И чтобы уйти от соблазна этой мысли, она уставилась на лицо пассажира, сидевшего напротив. Лицо было спокойное, гладкое, розовое с двумя подбородками, со светлыми глазами, пристально глядевшими на нее. Никогда не угадать, о чем люди думают. И улыбка, которой так добивался Обри Грин, озарила лицо его натурщицы.

III. МАЙКЛ ГУЛЯЕТ И РАЗГОВАРИВАЕТ

Лицо, которое Майкл начал рисовать на промокашке, сначала походило на Викторину, но скоро превратилось в лицо Флер. Да, Флер держится очень прямо, но остается ли она и внутренне такой же прямой? За эти сомнения он всегда называл себя подлецом. Он не видел нового в ее поведении и честно старался не проникать в то, что было скрыто. Но от его настороженного внимания не мог ускользнуть какой-то скептицизм, появившийся в ней, — как будто она всегда хотела подчеркнуть, что всему на свете одна цена и, в сущности, ничто в жизни не ценно.

Уилфрид был в Лондоне, но нигде не показывался, и о нем не вспоминали. Казалось бы: с глаз долой — из сердца вон! Но у Майкла, вопреки пословице, Уилфрид не выходил из головы. Если Уилфрид не встречается с Флер, как он может оставаться в Лондоне, так соблазнительно-близко от нее? Если Флер не хочет видеть его, отчего она его не услала? Все труднее становилось скрывать от всех, что он больше не дружит с Дезертом. Он часто испытывал желание пойти к Уилфриду, поговорить с ним откровенно и всегда отгонял эту мысль. Либо ничего, кроме того, что ему известно, нет, либо что-то есть, и Уилфрид будет это отрицать. Майкл думал об этом без злобы — нельзя же выдавать женщину! Но не хотелось слышать ложь от боевого товарища. Ни слова не было сказано между ним и Флер; он чувствовал, что не узнает ничего нового и разговор только угрожает и без того неустойчивому равновесию. Рождество они провели в родовом имении Монтов и много охотились. Флер ездила с ним на охоту на второй день и стояла рядом с ним, на его месте, держа Тинг-а-Линга на сворке. Китайский пес был необычайно возбужден, прыгал в воздух каждый раз, как падала птица, и совершенно не боялся выстрелов. Майкл, ожидая своей очереди промахнуться — он был плохой стрелок, — следил за возбужденным лицом Флер, опущенным серым мехом, за ее фигуркой, напряженной от усилий сдержать Тинг-а-Линга. Для нее охота была новым переживанием, а новизна шла ей больше всего на свете. Майкл радовался, даже когда она ахала: «О, Майкл!» при каждом его промахе. Она пользовалась необычайным успехом у гостей, а это значило, что он ее почти не видел, — разве совсем сонной поздно вечером. Но там, в деревне, он по крайней мере не страдал от мучительного чувства неизвестности.

Дорисовав стриженую головку на промокашке, он встал. Около св. Павла — кажется, так говорила эта маленькая женщина. Пройтись взглянуть на Бикета. Может быть, для него можно будет что-нибудь придумать. И, потуже затянув пояс своего синего пальто, Майкл вышел — тонкий, быстрым легким шагом, — только сердце у него чуть ныло.

Шагая на восток в этот ясный веселый день, он вдруг ощутил как чудо, что он жив, здоров и работает. Столько людей умерло, столько больных, безработных! Он вошел в Ковент-Гарден. Удивительное место! Людской породе, которая десятками лет могла выдерживать Ковент-Гарден, вряд ли грозит опасность вымереть от всяких напастей.

Успокоительное место! Пройдешься по нему — и перестаешь слишком всерьез относиться к жизни. Овощи и фрукты со всего света были собраны на этом квадратном островке, а с востока его замыкало здание оперы, с запада — здания издательств, с севера и юга — потоки людных улиц. Майкл шел среди разгружающихся тележек, бумаги, соломы и людей без дела и втягивал запахи Ковент-Гардена. Пахнет как-то по-своему — землей и чуть-чуть прелью. Он никогда, даже во время войны, не видел места, где бы царила такая полная непринужденность. Удивительно характерно для англичан! По этим людям никак нельзя сказать, что они хоть чем-нибудь связаны с деревней. Все они: возчики, зеваки, разносчики, и укладчики, и продавцы в крытых палатках — точно совершенно незнакомы с солнцем, с ветром, водой, воздухом, — типичные горожане! И какие у них лица — опухшие, унылые, искаженные, кривые; уродство в самых разнообразных видах. Где настоящий английский тип среди этих бесконечных вариантов безобразия? Его просто не существует. Майкл проходил мимо фруктов. Яркие груды, неподвижные, сверкающие, — чужестранцы из солнечных краев, одноцветные, одинаковые шары! У Майкла потекли слюнки. «Солнце все-таки замечательная штука!» — подумал он. Взять Италию, арабов, Австралию — ведь многие австралийцы родом из Англии, а посмотрите, какой тип выработался. И все же нет людей симпатичнее жителей Лондона. Чем правильнее черты лица у человека, тем он эгоистичнее. У этих грейпфрутов удивительно самодовольный вид по сравнению с картофелем!

Он выбрался на улицу, все еще думая об англичанах. Да, сейчас они стали одной из самых некрасивых, самых изуродованных наций на свете; зато может ли хоть один народ сравниться с ними хорошим характером и крепким «нутром»? А как им нужны эти черты — в дымных городах, при таком климате; удивительный пример приспособления к окружающей среде этот современный английский тип. «Я мог бы узнать англичанина где угодно, — подумал Майкл, — а общих физических признаков нет». Удивительный народ! Ведь в массе он очень некрасив — и все-таки создает такие перлы красоты, такие чудесные экземпляры, как эта маленькая миссис Бикет. А потом, насколько они лишены воображения в массе — и при этом какое потрясающее количество поэтов! Кстати, что скажет старый Дэнби, когда Уилфрид отдаст свою книгу другому издателю, или, вернее, что скажет он, лучший друг Уилфрида, старику Дэнби? Ага! Вот что надо сказать: «Да, сэр, лучше бы вы простили того беднягу, который стащил „Медяки“. Дезерт не забыл вашего отказа». Так и надо старому Дэнби за его вечную уверенность в своей правоте. «Медяки» имели необычайный успех. Следующая книга, вероятно, будет значительно лучше. Ведь эта книга была определенным доказательством того, что всегда утверждал Майкл: проходят времена «чириканы», людям снова нужна жизнь. Сибли, Уолтер Нэйзинг, Линда — все те, кому нечего сказать, разве что твердить, что они, мол, выше тех, кому есть о чем говорить, — все эти люди доживают последние дни. И ведь когда им придет конец, они, черт возьми, этого и не почувствуют! Они будут все так же задирать нос и смотреть на всех сверху вниз!

«Мне-то они давно осточертели! — подумал Майкл. — Если бы только Флер поняла, что смотреть сверху вниз — явный признак того, что ты ниже других». И вдруг он сообразил, что Флер, очевидно, это понимает. Ведь ни с кем из этой компании она так не дружила, как с Уилфридом. Все остальные существуют подле нее просто потому, что она — Флер, и ее всегда окружают самые последние новинки. А когда они перестанут быть самыми последними новинками, она их бросит. Но Уилфрида она не бросит. Нет, Майкл был уверен, что она не бросила и не бросит Уилфрида.

Он оглянулся. Лэдгейт-Хилл. «Продает шары около св. Павла». Ага! Вот он стоит, бедняга!

Бикет складывал шарики, собираясь пойти выпить чашку какао. Помня, что он должен встретить Бикета случайно, Майкл остановился, репетируя удивленный тон. Жаль, что бедняга не может сам превратиться в такой цветной шар и поплыть над св. Павлом прямо в рай к святому Петру! Он выглядел таким жалким, таким унылым: стоит и выпускает воздух из этих несчастных шаров. Вдруг воспоминание резко вспыхнуло в его мозгу. Цветной шар

— там, в сквере, первого ноября... и потом — чудесная ночь! Незабываемая! Флер! Может быть, шарики приносят счастье? Он подошел и с напускным изумлением сказал:

— Вы, Бикет? Вот вы теперь чем занимаетесь?

Большие глаза Бикета выглянули из-за шестипенсового розового шара.

— Мистер Монт! А я частенько думал, что хорошо бы вас повидать, сэр!

— И я тоже, Бикет. Если вам нечего делать, пойдёмте со мной завтракать.

Бикет уже сложил последний шар и закрывал лоток.

— Нет, вы серьёзно, сэр?

— Конечно! Я как раз собирался зайти в рыбную.

Бикет снял лоток.

— Я только оставлю его у сторожа, сэр. — И, отнеся лоток, он пошел рядом с Майклом.

— Что-нибудь зарабатываете этим?

— Только на жизнь, сэр.

— Зайдем сюда. Будем есть устрицы.

Кончиком бледного языка Бикет облизнул уголок губ.

Майкл сел за столик, покрытый белой клеенкой и украшенный судком с приправами.

— Две дюжины устриц и все, что полагается. Потом две порции камбалы и бутылку шабли. И поскорее, пожалуйста!

Когда человек в белом переднике отошел, Бикет только и мог проговорить:

— Господи, господи!

— Да, странная жизнь, Бикет!

— И вправду странная! Вы на этот завтрак потратите фунт, не меньше. А я если за неделю заработаю двадцать пять шиллингов — так и то хорошо.

— Попал в большое место, Бикет! Я каждый день ем свою собственную совесть!

Бикет покачал головой.

— Нет, сэр, если у вас есть деньги, тратьте их. Я бы тоже так делал. И будьте счастливы, если можете, не всем это дано.

Человек в белом переднике начал священнодействовать с устрицами — он приносил их по три штуки, только что открытыми.

Майкл обрезал устрицы, Бикет глотал их целиком. Вдруг, над двенадцатью пустыми раковинами, он проговорил:

— Вот в чем социалисты ошибаются, сэр. Меня только и поддерживает, когда я вижу, что другие тратят деньги. Все мы можем к этому прийти, ежели повезет. А они говорят — все уравнивать так, чтобы по фунту на день, а может, и фунта не достанется. Нет, сэр, этого мало. Я бы лучше хотел иметь поменьше, да надеяться на большее. Вычеркните из жизни игру — останется одна, тоска! За ваше здоровье!

— Соблазняешь одного из малых сих стать капиталистом, Бикет, а?

Большеглазое худое лицо Бикета порозовело над стаканом зеленоватого шабли.

— Господи, жаль, что моей жены здесь нет, сэр! Я тогда рассказывал вам о ней и о воспалении легких. Сейчас она поправилась, только страшно исхудала. Вот она — мой выигрыш в жизни! А мне не нужна жизнь, где ничего нельзя выиграть. Если бы все было по заслугам да по праву — никогда бы мне ее не получить. Понимаете?

«И мне тоже», — подумал Майкл, вспоминая лицо на промокашке.

— Все мы любим помечтать; я мечтаю о синих бабочках — о Центральной Австралии. Социалисты мне не помогут туда попасть. У них мечты о рае кончаются Европой.

— Ну их! — сказал Майкл. — Возьмите масла, Бикет.

— Спасибо, сэр.

Наступило молчание. Рыба исчезла с тарелок.

— Почему вам пришлось в голову продавать именно шары, Бикет?

— Не надо рекламы, они сами за себя говорят.

— Надоела реклама, когда работали у нас, а?

— Да, сэр, я всегда читал обложки. Прямо удивительно, скажу по правде, — до чего много великих произведений!

Майкл взъерошил волосы.

— Обложки! Вечно та же девушка, которую целует вечно тот же юноша с тем же решительным подбородком. Но что поделаешь, Бикет! Публике это нравится. Я как раз сегодня утром попробовал кое-что изменить — вот увижу, что из этого выйдет. — «И надеюсь, что ты не увидишь!» — добавил он мысленно. — Только представить себе, что я увидел бы Флер на обложке романа!» — Я в последнее время, когда служил, заметил, что стали рисовать не то скалы, не то виды и что-то вроде двух кукол на песке или на траве сидят, будто не знают, что им делать друг с другом.

— Да, — пробормотал Майкл, — мы и это пробовали. Считалось, что это не так вульгарно. Но скоро мы исчерпали терпение публики. Ну, чего бы вы съели еще? Хотите сыру?

— Спасибо, сэр, я и так слишком много съел, но не откажусь.

— Два стилтона, — заказал Майкл.

— А как поживает мистер Дезерт, сэр?

Майкл покраснел.

— О, спасибо, ничего!

Бикет тоже покраснел.

— Я прошу вас — прошу как-нибудь ему сказать, что я совершенно случайно напал именно на его книжку. Я всегда жалел об этом.

— По-моему, всегда выходит случайно, — медленно проговорил Майкл, когда мы берем чью-нибудь собственность. Мы никогда не делаем этого намеренно.

Бикет взглянул на него.

— Нет, сэр, я не согласен. Половина всех людей — воры. Только я не из таких.

Голос совести попытался шепнуть Майклу: «И Уилфрид тоже». Он протянул Бикету портсигар.

— Спасибо, сэр, большое спасибо.

Глаза Бикета стали совсем влажными, и Майкл подумал: «Ах, черт! Вот сентиментальности! Надо прощаться и бежать!» Он подозвал лакея.

— Дайте ваш адресок, Бикет. Если вам нужно что-нибудь из обмундирования, я смогу прислать кое-какие вещи.

Бикет написал адрес на обороте счета и нерешительно проговорил:

— Не найдется ли у миссис Монт чего-нибудь из платья, ненужного? Моя жена примерно с меня ростом.

— Наверно, найдется. Мы вам все пришлем. — Он увидел, как губы маленького человечка задрожали, и стал надевать пальто. — Если что-нибудь подвернется, я вас не забуду. Прощайте, Бикет, всего хорошего.

Повернув на восток — потому что Бикет шел на запад, — Майкл твердил свое всегдашнее: «Жалость — чушь, жалость — чушь!» Он сел в автобус и снова проехал мимо св. Павла. Осторожно поглядев в окно, он увидел, как Бикет надувает шар. Розовый круг почти целиком скрывал его лицо и фигуру. Около Блэйк-стрит Майкл вдруг почувствовал непреодолимое отвращение к работе и поехал до Трафальгар-сквер», Бикет его взволновал. Нет, жизнь иногда просто невероятно забавная штука! Бикет, Уилфрид — и Рур! «Чувства — ерунда, жалость — чушь!» Он сошел с автобуса и прошел мимо памятника Нельсону к Пэл-Мэл. Зайти к «Шутникам», спросить Барта? Нет, не стоит — ведь там он все равно не увидит Флер. Вот чего ему по-настоящему хотелось — повидать Флер, сейчас днем. Но где? Она могла быть где угодно — значит, нигде ее не найти.

Да, беспокойный она человек. Может быть, он сам в этом виноват? Будь на его месте Уилфрид, разве она была бы такой беспокойной? «Да, — упрямо подумал он, — была бы: Уилфрид сам такой». Все они беспокойные люди все, кого он знал. Во всяком случае, вся молодежь — и в жизни и в книгах. Взять их романы. Есть ли хоть в одной книге из двадцати

то спокойствие, то настроение, которое заставляет уходить в книгу, как в отдых? Слова летят, мелькают, торопятся, гонят, как мотоциклетки, — страшно резкие и умные. Как он устал от ума! Иногда он давал читать рукопись Флер, чтобы узнать ее мнение. Помнится, она однажды сказала: «Совсем как в жизни, Майкл: летит мимо, не останавливаясь, ничему и нигде не придавая значения. Конечно, автор не собирался писать сатиру, но если вы его будете печатать, советую на обложке написать: „Ужасная сатира на современную жизнь“». Так они и сделали, — во всяком случае, написали: „Изумительная сатира на современную жизнь“. Вот какая Флер! Видит всю эту гонку, только не понимает, как и автор изумительной сатиры, что она сама летит и мчится без цели... А может быть, понимает? Сознает ли она, что только касается жизни, как язычок пламени касается воздуха?

Он дошел до Пикадилли и внезапно вспомнил, что целую вечность не был у тетки Флер. Может быть, ока там? Он свернул на Грин-стрит.

— Миссис Дарти принимает?

— Да, сэр.

Майкл потянул носом. У Флер духи... нет, никакого запаха, кроме запаха курений. Уинифрид жгла китайские палочки, когда вспоминала, какую изысканность придает их аромат.

— Как доложить?

— Мистер Монт. Моей жены здесь нет?

— Нет, сэр. Здесь только миссис Вэл Дарти.

Миссис Вэл Дарти! Да, вспомнил — очень милая женщина, но не заменит Флер! Впрочем, отступить было поздно, он пошел следом за горничной.

В гостиной Майкл увидел двух дам и своего тестя, который, насупившись, мрачно сидел в старинном кресле стиля ампир, уставившись на синие крылья австралийских бабочек, лежавших под стеклом на круглом красном столике. Уинифрид оживила старинную обстановку своей гостиной всякими «надстройками» в современном духе. Она встретила Майкла изысканно-сердечно. Как мило, что он пришел теперь, когда он так занят всякими молодыми поэтами!

— По-моему, «Медяки» — кстати, какое прелестное название! — очень увлекательная книжка. Правда, мистер Дезерт такая умница! Что он теперь пишет?

Майкл сказал: «Не знаю», — и присел на диван рядом с миссис Вэл.

Не зная о ссоре в семье Форсайтов, он не мог оценить, какое облегчение внес своим приходом. Сомс что-то проговорил насчет французов, встал и отошел к окну; Уинифрид последовала за ним; они заговорили, понизив голос.

— Как поживает Флер? — спросила соседка Майкла.

— Спасибо, отлично.

— Вы любите свой дом?

— О, страшно! Отчего вы не заглянете к нам?

— Не знаю, как Флер...

— А почему?

— Ну-у... так.

— Она ужасно любит гостей!

Миссис Вэл посмотрела на него с большим любопытством, чем он, казалось бы, заслуживал, как будто пытаясь что-то прочесть на его лице.

И он добавил:

— Ведь вы, кажется, в двойном родстве — и по крови и по браку, — не так ли?

— Да.

— Так в чем же дело?

— О, ничего! Я обязательно приду. Только... ведь у нее так много друзей!

«Она мне нравится», — подумал Майкл.

— Собственно говоря, — сказал он, — я зашел сюда, думая, что увижу Флер. Я бы хотел, чтобы она видалась с вами. В этой свистопляске ей, наверно, приятно будет встретить

такого спокойного человека.

— Спасибо.

— Вы никогда не жили в Лондоне?

— Нет, с тех пор как мне исполнилось шесть лет.

— Я хотел бы, чтобы Флер отдохнула. Жаль, что ей некуда дезерт... дезертировать, — он слегка запнулся на этом слове: случайное совпадение звуков — и все же!.. Чуть смутившись, он посмотрел на бабочек под стеклом. — Я только что говорил с маленьким разносчиком, чье SOS Центральная Австралия. А как по-вашему, есть у нас души, которые надо спасать?

— Когда-то я так думала, но теперь я в этом не уверена... Меня недавно поразила одна вещь.

— А что именно?

— Видите ли, я заметила, что только очень непропорционально сложенный человек — или такой, у которого нос свернут набок, или глаза слишком вылезают на лоб, или даже слишком блестят, — только такие люди всегда верят в существование души; а кто вполне пропорционален и не обладает какими-нибудь физическими особенностями, совершенно не интересуется этим вопросом.

Уши Майкла зашевелились.

— Замечательно! — сказал он. — Это мысль! Флер изумительно пропорциональна и ничуть не интересуется вопросами души, а я — нет, и вечно интересуюсь. Наверно, у людей в Ковент-Гардене масса души. Так, по-вашему, «душа» — это результат каких-то неполадок в организме, вроде какого-то особого ощущения, что не все в порядке?

— Да, вроде этого; во всяком случае то, что называется «психической силой», по-моему, происходит отсюда.

— Скажите, а вам спокойно живется? По вашей теории, мы сейчас живем в ужасно «душевное» время. Надо бы мне проверить ее на моей семье. А ваша семья как?

— Форсайты? О, они все слишком уравновешенные.

— Пожалуй, у них как будто нет никаких физических недостатков. Французы тоже удивительно складный народ. Да, это мысль; но, конечно, большинство людей объяснит это по-другому. Скажут, что душа нарушает пропорцию — заставляет глаза чересчур блестеть или нос чересчур торчать. А там, где душа мелка, она и не пытается повлиять на тело. Я об этом подумаю. Спасибо за идею. Ну, до свидания, приходите к нам, непременно! Я, пожалуй, не стану беспокоить тех, у окна. Не откажите передать им, что я смылся, — и, пожав тоненькую руку в перчатке, ответив улыбкой на улыбку, Майкл выскользнул из комнаты, думая: «Черт с ней, с душой, — но где же ее тело?»

IV. ТЕЛО ФЛЕР

А тело Флер в этот момент действительно было в довольно затруднительном положении, угрожавшем нарушить тот компромисс, на который она шла: оно находилось почти в объятиях Уилфрида. Во всяком случае, он был так близко, что ей пришлось сказать:

— Нет, нет, Уилфрид, вы обещали хорошо себя вести.

Умение Флер скользить по тончайшему льду, очевидно, было настолько велико, что слова «хорошо себя вести» все еще что-то значили. Одиннадцать недель Уилфрид не мог добиться своего, и даже сейчас, после двухнедельной разлуки, руки Флер настойчиво упирались ему в грудь и слова «вы обещали» удерживали его. Он резко отпустил ее и сел поодаль. Он не сказал: «Так дальше продолжаться не может», потому что слишком уж нелепо было повторять эти слова. Она и сама знала, что дальше так не может идти. И все-таки все шло по-прежнему. Вот в чем был весь ужас! Ведь он, как жалкий дурак, изо дня в день говорил ей и себе: «Сейчас — или никогда», а выходило ни то, ни другое. Его удерживала только подсознательная мысль, что, пока не случится то, чего он добивается. Флер сама не будет знать, чего ей надо. Его собственное чувство было так сильно, что он

почти ненавидел ее за нерешительность. И он был неправ. Дело было совсем не в этом. То богатство ощущений, та напряженность, какую чувство Уилфрида вносило в жизнь Флер, были нужны ей, но она боялась опасностей и не хотела ничего терять. Это так просто. Его дикая страсть пугала ее. Ведь не по ее желанию, не по ее вине родилась эта страсть. И все же так приятно и так естественно, когда тебя любят. И, кроме того, у нее было смутное чувство, что «несовременно» отказываться от любви, особенно если жизнь отняла одну любовь.

Высвободившись из объятий Уилфрида, она привела себя в порядок и сказала:

— Поговорим о чем-нибудь серьезном: что вы писали за последнее время?

— Вот это.

Флер прочла, покраснела и закусила губу.

— Как горько это звучит!

— И какая это правда. Скажите, он вас когда-нибудь спрашивает, видите ли вы со мной?

— Никогда.

— Почему?

— Не знаю.

— А что бы вы ответили, если бы он спросил?

Флер пожала плечами.

Дезерт проговорил очень спокойно:

— Да, вот вы всегда так. Так дальше невозможно, Флер.

Он стоял у окна. Она положила листки на стол и направилась к нему. Бедный Уилфрид! Теперь, когда он притих, ей стало жаль его.

Он внезапно, обернулся.

— Стойте! Не подходите! Он стоит внизу, на улице.

Флер ахнула и отступила.

— Майкл? Но как... как он мог узнать?

Уилфрид зло на нее посмотрел.

— Неужели вы так мало его знаете? Неужели вы думаете, что он мог бы прийти сюда, если б знал, что вы здесь?

Флер съежилась.

— Так зачем же он здесь?

— Наверно, хочет повидаться со мной. У него очень нерешительный вид. Да вы не пугайтесь, его не впускают.

Флер села. Она чувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Лед, по которому она скользила, показался ей до жути тонким, вода под ним — до жути холодной.

— Он вас заметил? — спросила она.

— Нет.

У него мелькнула мысль: «Будь я негодяем, я мог бы добиться от нее чего угодно — стоило бы мне сделать шаг и протянуть руку. Жаль, что я не негодяй, во всяком случае, не настолько. Жизнь была бы много проще».

— Где он сейчас? — спросила Флер.

— Уходит.

Она облегченно вздохнула.

— Как все это странно, Уилфрид, правда?

— Уж не думаете ли вы, что у него спокойно на душе?

Флер закусила губу. Он издевается над ней — только потому, что она не любит, не может любить никого из них. Как несправедливо! Ведь она может любить по-настоящему, она любила раньше. А Уилфрид и Майкл — да пусть они оба убираются к черту!

— Лучше бы я никогда сюда не приходила, — сказала она внезапно, — и больше я никогда не приду!

Он подошел к двери и распахнул ее.

— Вы правы!

Флер остановилась в дверях — неподвижно, спрятав подбородок в мех воротника. Ее ясный взгляд был устремлен прямо в лицо Уилфриду, губы упрямо сжаты.

— Вы думаете, что я бессердечное животное, — медленно проговорила она. — Вы правы, я такая — по крайней мере сейчас. Прощайте.

Он не взял ее руки, не сказал ни слова, только низко поклонился. Его глаза стали совсем трагическими. Дрожа от обиды, Флер вышла. Спускаясь, она услышала, как хлопнула дверь. Внизу она остановилась в нерешительности: а вдруг Майкл вернулся? Почти напротив была галерея, где она впервые встретила Майкла — и Джона! Забежать бы туда! Если Майкл все еще бродит где-нибудь по переулку, она с чистой совестью сможет ему сказать, что была в галерее. Она выглянула. Никого! Быстро она проскользнула в дверь напротив. Сейчас закроют — через минуту, ровно в четыре часа. Она заплатила шиллинг и вошла. Надо взглянуть на всякий случай. Она окинула взглядом выставку: один художник — Клод Брэйне. Она заплатила еще шиллинг и на ходу прочла: «N 7. Женщина испугалась». Все сразу стало понятно, и, облегченно вздохнув, она пробежала по комнатам, вышла и взяла такси. «Попасть бы домой раньше Майкла!» Она чувствовала какое-то облегчение, почти радость. Хватит скользить по тонкому льду. Пусть Уилфрид уезжает. Бедный Уилфрид! Да, но зачем он над ней издевался? Что он знает о ней? Никто не понимает ее по-настоящему. Она одна на свете. Она открыла дверь своим ключом. Майкла нет. В гостиной, сев у камина, она открыла последний роман Уолтера Нэйзинга. Она перечла страницу три раза. И с каждым разом смысл не становился яснее — наоборот: Нэйзинг был из тех писателей, которых надо читать залпом, чтобы первое впечатление вихря не сменилось впечатлением пустословия. Но между ней и строками книги были глаза Уилфрида. Жалость! Вот ее никто не жалеет — чего же ей всех жалеть? А кроме того, жалость — «размазня», как выражалась Эмебел. Тут нужны стальные нервы. Но глаза Уилфрида! Что ж, больше она их не увидит. Чудесные глаза! Особенно когда они улыбались или — так часто! — смотрели на нее с тоской, как вот сейчас, с этой фразы из книги: «Настойчиво, с восхитительным эгоизмом он напряженно, страстно желал ее близости, а она, такая розовая и уютная, в алой раковине своей сложной и капризной жизненной установки...» Бедный Уилфрид! Жалость, конечно, «размазня», но ведь есть еще гордость. Хочется ли ей, чтобы он уехал с мыслью, что она просто «поиграла с ним» из тщеславия, как делают американки в романах Уолтера Нэйзинга? Так ли это? Разве не более современно, не более драматично было бы хоть раз действительно «дойти до конца»? Ведь тогда им обоим было бы о чем вспомнить — ему там, на Востоке, о котором он вечно твердит, а ей — здесь, на Западе. На миг эта мысль как будто нашла отклик в теле Флер, которое, по мнению Майкла, было слишком пропорционально, чтобы иметь душу. Но, как всякое минутное наваждение, этот отклик сразу исчез. Прежде всего — было бы это ей приятно? Вряд ли, подумала она. Хватит одного мужчины без любви. Кроме того, угрожала опасность подчиниться власти Уилфрида. Он джентльмен, но он слишком захвачен страстью: отведав напитка, разве он согласится отставить чашу? Но главное — в последнее время появились некоторые сомнения физического порядка, нуждавшиеся в проверке и заставлявшие ее относиться к себе как-то серьезнее. Она встала и провела руками по всему телу с отчетливо неприятным ощущением от мысли, что то же могли бы сделать руки Уилфрида. Нет! Сохранить его дружбу, его обожание — но только не этой ценой. Вдруг он представился ей бомбой, брошенной на ее медный пол, и она мысленно схватила его и вышвырнула в окно, на площадь. Бедный Уилфрид! Нет, жалость «размазня». Но ведь и себя было жалко за то, что теряла его, и теряла возможность стать идеалом современной женщины, о котором как-то вечером ей говорила Марджори Феррар, «гордость гедонистов», чьи золотисто-рыжие волосы вызывали столько восхищения. «А я, моя дорогая, стремлюсь к тому, чтобы стать безупречной женой одного мужчины, безупречной любовницей другого и безупречной матерью третьего — одновременно. Это вполне возможно — во Франции так бывает».

Но разве это действительно возможно, даже если всякая жалость — чепуха? Как быть безупречной по отношению к Майклу, когда малейшая оплошность может выдать ее

безупречное отношение к Уилфриду; как быть безупречной с Уилфридом, если ее отношение к Майклу всегда будет для того ножом в сердце? И если... если ее сомнения станут реальностью, как быть безупречной матерью этой реальности, если она будет мучить двоих, или лгать им, как последняя... «Нет, все это совсем не так просто, — подумала Флер. — Вот если бы я была совсем француженкой...» Дверь отворилась — она даже вздрогнула. В комнату вошел тот, благодаря которому она была «не совсем» француженкой. У него был очень хмурый вид — как будто он слишком много думал последнее время. Он поцеловал ее и угрюмо сел к камину.

— Ты останешься ночевать, папа?

— Если можно, — проворчал Сомс, — у меня дела.

— Неприятности, милый?

Сомс резко обернулся к ней:

— Неприятности? Почему ты решила, что у меня неприятности?

— Просто показалось, что у тебя вид такой.

Сомс буркнул:

— Этот Рур! Я тебе принес картину. Китайская!

— Неужели! Как чудесно!

— Ничего чудесного. Просто обезьяна ест апельсин.

— Но это замечательно! Где она? В холле?

Сомс кивнул.

Развернув картину. Флер внесла ее в комнату и, прислонив к зеленому дивану, отошла и стала рассматривать. Она сразу оценила большую белую обезьяну с беспокойными карими глазами, как будто внезапно потерявшую всякий интерес к апельсину, который она сжимала лапой, серый фон, разбросанную кругом кожуру — яркие пятна среди мрачных тонов.

— Но, папа, ведь это просто шедевр. Я уверена, что это какая-то очень знаменитая школа.

— Не знаю, — сказал Сомс. — Надо будет посмотреть китайцев.

— Но зачем ты мне ее даришь? Она, наверно, стоит уйму денег. Тебе бы нужно взять ее в свою коллекцию.

— Они даже цены ей не знали, — сказал Сомс, и слабая улыбка осветила его лицо, — я за нее заплатил три сотни. Тут она будет в большей сохранности.

— Конечно, она будет тут в сохранности. Только почему — в большей?

Сомс обернулся к картине.

— Не знаю, может случиться всякое из-за всего этого.

— Из-за чего, милый?

— «Старый Монт» сегодня не придет?

— Нет, он еще в Липпингхолле.

— А впрочем, и не стоит — он не поможет.

Флер сжала его руку.

— Расскажи, в чем дело?

У Сомса даже дрогнуло сердце. Только подумать — ей интересно, что его беспокоит! Но чувство приличия и нежелание выдать свое беспокойство удержали его от ответа.

— Ты все равно не поймешь, — сказал он. — Где ты ее повесишь?

— Вероятно, вон там. Но надо подождать Майкла.

— Я только что видел его у твоей тетки, — проворчал Сомс. — Это он так ходит на службу?

«Может быть, он просто возвращался в издательство, — подумала Флер. Ведь Корк-стрит более или менее по пути. Может быть, он проходил мимо, вспомнил об Уилфриде, захотел его повидать насчет книг».

— Ах, вот и Тинг. Здравствуй, малыш!

Китайский песик появился, словно подосланный судьбой, и, увидев Сомса, вдруг сел против него, подняв нос и блестя глазами. «Выражение вашего лица мне нравится, — как

будто говорил он, — мы принадлежим к прошлому и могли бы петь вместе гимны, старина!»
— Смешное существо, — сказал Сомс, — он всегда узнает меня!

Флер подняла собаку.

— Посмотри новую обезьянку, дружок.

— Только не давай ему лизать ее!

Флер крепко держала Тинг-а-Линга за зеленый ошейник, а он, перед необъяснимым куском шелка, пахнущим прошлым, подымал голову все выше и выше, как будто помогая ноздрям, и его маленький язычок высунулся, словно пробуя запах родины.

— Хорошая обезьянка, правда, дружок?

«Нет, — совершенно явственно проворчал Тинг-а-Линг. — Пустите меня на пол».

На полу он отыскал местечко, где между двумя коврами виднелась полоска меди, и тихонько стал ее лизать.

— Мистер Обри Грин, мэм!

— Гм! — сказал Сомс.

Художник вошел, скользя и сияя. Его блестящие волосы словно струились, его зеленые глаза ускользали куда-то.

— Ага, — сказал он, показывая на пол, — вот за кем я пришел!

Флер удивленно следила за его рукой.

— Тинг! — прикрикнула она строго. — Не смей! Вечно он лижет пол, Обри!

— Но до чего он настоящий китайский! Китайцы умеют делать все, чего не умеем мы!

— Папа, это Обри Грин. Отец только что принес мне эту картину, Обри. Чудо — не правда ли?

Художник молча остановился перед картиной. Его глаза перестали скользить, волосы перестали струиться.

— Фью! — протянул он.

Сомс встал. Он ожидал насмешки, но в тоне художника он уловил почтительную нотку, почти изумление.

— Боже! Ну и глаза! — сказал Обри Грин. — Где вы ее отыскали, сэр?

— Она принадлежала моему двоюродному брату, любителю скачек. Это его единственная картина.

— Делает ему честь. У него был неплохой вкус.

Сомс удивился: мысль, что у Джорджа был вкус, показалась ему невероятной.

— Нет, — сказал он внезапно, — ему просто нравилось, что от этих глаз человеку становится не по себе.

— Это одно и то же. Я никогда не видел более потрясающей сатиры на человеческую жизнь.

— Не понимаю, — сухо сказал Сомс.

— Да ведь это превосходная аллегория, сэр. Съесть плоды жизни, разбрасывать кожуру и попасться на этом, В этих глазах воплощенная трагедия человеческой души. Вы только посмотрите на них! Ей кажется, что в этом апельсине что-то скрыто, и она тоскует и сердится, потому что не может ничего найти. Ведь эту картину следовало бы повесить в Британском музее и назвать «Цивилизация, как она есть».

— Нет, — сказала Флер, — ее повесят здесь и назовут «Белая обезьяна».

— Это то же самое.

— Цинизм ни к чему не приводит, — отрывисто сказал Сомс, — Вот если бы вы сказали: «Наш век, как он есть» — Согласен, сэр; но почему такая узость? Ведь не думаете же вы всерьез, что наш век хуже всякого другого?

— Не думаю? — переспросил Сомс. — Я считаю, что мир достиг высшей точки в восьмидесятих годах и больше никогда ее не достигнет.

Художник задумался.

— Это страшно интересно. Меня не было на свете, а вы, сэр, были примерно в моем возрасте. Вы тогда верили в бога и ездили в дилижансах.

Дилижансы! Это слово напомнило Сомсу один эпизод, который показался ему очень подходящим к случаю.

— Да, — сказал он, — и я могу привести вам пример, какого вам в ваше время не найти. Когда я совсем молодым человеком был в Швейцарии с родными, мои две сестры купили вишен. Когда они съели штук шесть, то вдруг увидели, что в каждой вишне сидит маленький червячок. Там был один англичанин-альпинист. Он увидел, как они были расстроены, и съел все остальные вишни — с косточками, с червями, целиком, — просто чтобы успокоить их. Вот какие в те времена были люди!

— Ой, папа!

— Ого! Наверно, он был в них влюблен.

— Нет, — сказал Сомс, — не особенно. Его фамилия была Паули, и он носил бакенбарды.

— Кстати, о боге и дилижансах: я вчера видел экипаж, — вспомнил Обри Грин.

«Было бы более кстати, если бы вы видели бога», — подумал Сомс, но не сказал ничего вслух и даже удивился этой мысли — он-то сам никогда не видел таких вещей.

— Может быть, вам неизвестно, сэр, что сейчас гораздо больше верующих, чем до войны. Люди открыли, что у них есть не только тело.

— Ах, Обри, вспомнила! — вдруг сказала Флер. — Не знаете ли вы каких-нибудь медиумов? Нельзя ли мне заполучить кого-нибудь из них к себе? На таком полу, как у нас, да еще если Майкла выставить за дверь, можно наверняка сказать, что никакого обмана не будет. Бывают ли эти чернокнижники в свете? Говорят, что они необычайно увлекательны.

— Спиритизм! — буркнул Сомс. — Угу-мм! — он не мог бы выразить свою мысль яснее, говори он хоть полчаса!

Глаза Обри Грина скользнули по Тинг-а-Лингу.

— Попробую вам это устроить, если вы мне дадите вашего китайчонка на часок завтра днем. Я приведу его назад на цепочке и накормлю самыми вкусными вещами.

— А зачем он вам?

— Майкл прислал мне сегодня замечательную маленькую натурщицу, но, понимаете, она не умеет улыбаться!

— Майкл?

— Да. Совершенно новый тип, и я кое-что задумал. Когда она улыбается, будто луч солнца скользит по итальянской долине; но когда ее просишь улыбнуться, она не может. Я и подумал — не рассмешишь ли ее ваш китайчонок?

— А мне можно прийти взглянуть? — спросила Флер.

— Да, приведите его завтра сами; но если я ее смогу уговорить, она будет позировать для нагой природы.

— О-о! А вы мне устроите спиритический сеанс, если я вам одолжу Тинга?

— Устрою.

— Угм-мм, — снова проворчал Сомс.

Сеансы, итальянское солнце, нагая натура! Нет, пора ему снова заняться Элдерсоном, посмотреть, чем можно помочь, а эти пусть играют на скрипке, пока Рим горит!

— До свидания, мистер Грин, мне некогда, — сказал он вслух.

— Чувствую, сэр, — сказал Обри Грин.

«Чувствую!» — мысленно передразнил его Сомс, уходя.

Обри Грин тоже ушел через несколько минут встретив в холле какую-то даму, просившую доложить о себе.

А Флер, оставшись наедине со своим телом, снова провела по нему руками сверху вниз. «Нагая натура» напомнила ей об опасности слишком драматических переживаний.

V. ДУША ФЛЕР

— Миссис Вэл Дарти, мэ.

Имя, которое даже Кокер не смог исказить, подействовало на Флер так, словно чей-то палец внезапно притронулся к обнаженному нерву. Холли! Флер не видела ее с того дня, как вышла замуж не за Джона. Холли! Целый поток воспоминаний — Уонсдон, холмы, меловая яма, яблони, река, роща, Робин-Хилл! Нет! Не слишком приятно видеть Холли; и Флер сказала:

— Как мило, что вы зашли.

— Я сегодня встретила с вашим мужем на Гринстрит, и он пригласил меня. Какая чудесная комната!

— Тинг! Пойди сюда, я тебя должна представить. Это — Тинг-а-Линг, правда — совершенство? Он немного расстроен из-за новой обезьянки. А как Вэл, как милый Уонсдон? Там было так изумительно спокойно.

— Да, славный, тихий уголок. Мне никогда не надоедает тишина.

— А как... как Джон? — спросила Флер с легким сухим смешком.

— Разводит персики в Северной Каролине. Британская Колумбия не подошла.

— Вот как! Он женат?

— Нет.

— Он, верно, женится на американке.

— Ведь ему еще нет двадцати двух лет.

— Господи! — сказала Флер. — Неужели мне только двадцать один год! Мне кажется, будто мне сорок восемь.

— Это оттого, что вы живете в гуще всех событий и встречаете такую массу людей.

— И, в сущности, никого не знаю.

— Разве?

— Конечно нет. Правда, мы все зовем друг друга по именам, но в общем...

— Мне очень нравится ваш муж.

— О, Майкл — прелесть! А как живет Джун?

— Я ее вчера видела — у нее, конечно, опять новый художник, Клод Брэйнс. Он, кажется, так называемый вертижинист.

Флер закусила губу.

— Да, их теперь много. Но, вероятно, Джун считает его единственным.

— Да, она считает его гением.

— Удивительный она человек.

— Да, — сказала Холли. — Преданнейшее существо в мире, пока увлечена чем-нибудь. Возится, как наседка с только что вылупившимися цыплятами. Вы никогда не видели Бориса Струмолковского?

— Нет.

— И не смотрите.

— Я видела его скульптуру — он лепил одного из дядей Майкла. Вполне нормальная вещь.

— Да. Джун решила, что он сделал эту вещь только ради денег, а он ей этого не мог простить. Она, конечно, была права. Но как только ее питомец начинает зарабатывать, она ищет другого. Она — прелесть!

— Да, — сказала Флер, — мне она очень нравилась.

И еще поток воспоминаний: и кондитерская, и река, и маленькая столовая в квартирке Джун, и комната на Гринстрит, где она под пристальным взглядом синих глаз Джун переодевалась после венчания.

Флер схватила «Обезьяну» и подняла ее повыше.

— Ну разве это не сама жизнь? — проговорила она. Пришла бы ей такая мысль в голову, если бы не Обри Грин? Но в этот момент его слова казались удивительно правильными.

— Бедная обезьянка, — вздохнула Холли. — Мне всегда так их жаль! Но картина, по-моему, чудесная.

— Да, я ее повешу вот тут. Достать еще одну картину — и комната была бы закончена. Но все так дорожат своими китайскими вещами. Эту я получила случайно — умер один человек, Джордж Форсайт, — знаете, тот, что играл на скачках.

— О-о! — тихо протянула Холли. Она вдруг вспомнила насмешливые глаза этого старого родственника в церкви, когда венчали Флер, услышала его глухой шепот: «Выдержит ли она дистанцию?» А правда, выдерживает ли она дистанцию, эта хорошенькая лошадка? «Хотел бы, чтобы она отдохнула. Жаль, что ей некуда дезертировать!» Но нельзя задавать такие интимные вопросы, и Холли ограничилась общим замечанием:

— Как вы воспринимаете жизнь. Флер? Вы, современная золотая молодежь? Когда оторвешься от всего и проживешь двадцать лет в Южной Африке, чувствуешь себя как-то вне жизни.

— Жизнь! О, мы, конечно, знаем, что жизнь считается загадкой, но мы и не пытаемся ее разгадывать. Мы просто Хотим пользоваться минутой, потому что не верим, что что-нибудь долговечно. Но мне кажется, мы не вполне умеем пользоваться ею. Мы просто летим вперед и надеемся на что-то. Конечно, существует искусство, но не все мы — художники; а кроме того, экспрессионизм... вот Майкл, например, говорит, что в нем нет никакого содержания. Мы с ним носимся, — но Майкл, верно, прав. Я встречаюсь с невероятным количеством писателей и художников — считается, что они очень занятные люди.

Холли слушала с совершенном удивлении. Кто бы подумал, что эта девочка так все понимает? Может быть, ее наблюдения и неправильны, но все же она что-то и как-то понимает!

— Но ведь вам все-таки весело?

— Конечно, я люблю хорошие вещи, люблю занятных людей. Я люблю видеть все новое, все стоящее — или по крайней мере то, что кажется в данную минуту стоящим. Но дело в том, что все в конце концов теряет новизну.

Видите ли, я ведь не принадлежу ни к «гедонистам», ни к «новым верующим».

— К новым верующим?

— Как, вы не знаете? Это что-то вроде лечения верой; не старое «бог есть добро, а добро есть бог», а скорее смесь силы воли, психоанализа и веры в то, что все будет в порядке завтра утром, если только скажешь, что все в порядке. Наверно, вам они попадались. Они страшно серьезно относятся к делу.

— Знаю, — сказала Холли, — у них блестят глаза.

— Вероятно. Я в них не верю — я ни в кого не верю, да и ни во что, собственно. Разве можно верить?

— Ну, а простой народ? А тяжелый труд?

Флер вздохнула.

— Да, вероятно. Вот Майкл, я прямо скажу, человек неиспорченный. Давайте пить чай. Чаю, Тинг? — и, включив свет, она позвонила.

Когда неожиданная гостя ушла, Флер осталась неподвижно сидеть у огня. Сегодня, когда она была на грани близости с Уилфридом!.. Значит, Джон не женат! Конечно, ничего от этого не изменится. Жизнь никогда не складывается, как в книжках. И вообще все эти сентименты — ерунда! Хватит! Флер откинула прядь волос со лба и, достав гвоздь и молоток, стала вешать белую обезьяну. Между двумя чайными шкафчиками с цветной перламутровой инкрустацией картина будет выглядеть замечательно. Раз Джон не для нее, то не все ли равно — Уилфрид или Майкл, оба или никого. Высосать апельсин, пока он у тебя в руках, и бросить кожуру. И вдруг она увидела, что Майкл здесь, в комнате. Он вошел очень тихо и стал у камина, за ее спиной. Она быстро оглянулась и сказала:

— Ко мне заходил Обри Грин насчет натурщицы, которую ты ему послал. И Холли — миссис Вэл Дарти, она сказала, что встретила тебя. Да, смотри, что нам принес папа. Правда, чудо?

Майкл молчал.

— Что-нибудь случилось, Майкл?

— Нет, ничего. — Он подошел к «Обезьяне».

Флер сбоку пристально разглядывала его лицо. Инстинктивно она чувствовала какую-то перемену. Неужели он знает, что она была у Уилфрида? Видел, как она оттуда вышла?

— Ну и обезьяна! — сказал он. — Да, кстати, нет ли у тебя какого-нибудь лишнего платья для жены одного бедного малого, что-нибудь попроще?

Она машинально ответила:

— Да, конечно, — а мозг ее напряженно работал.

— Тогда ты, может быть, отложишь? Я сам собираюсь послать ему кое-что — отправили бы все вместе.

Да. Он совсем не похож на себя, словно какая-то пружинка в нем сдала. Ей стало не по себе: Майкл — и невесел! Как будто в холодный день потух камин. И, может быть, впервые она почувствовала, какое значение имеет для нее его веселость. Она видела, как он взял Тинг-а-Линга на руки и сел. Тогда она подошла к нему сзади и наклонилась к нему так, что ее волосы коснулись его щеки. Вместо того чтобы потереться щекой о ее щеку, он сидел неподвижно, и сердце у нее упало.

— Что с тобой? — спросила она ласкаясь.

— Ничего.

Она взяла его за уши.

— Нет, что-то есть. Ты, верно, как-нибудь узнал, что я заходила к Уилфриду.

Он ответил ледяным тоном:

— А почему бы и нет?

Флер выпустила его голову и выпрямилась.

— Я заходила только сказать ему, что больше не могу с ним встречаться.

Эта полуправда ей самой показалась полной правдой.

Он вдруг поднял на нее глаза, его лицо передернулось, и он взял ее руку.

— Вот что, Флер. Ты должна поступать так, как тебе хочется, — ты это знаешь. Иначе было бы несправедливо. Я просто съел лишнее за завтраком.

Флер отошла на середину комнаты.

— Ты — милый, — сказала она тихо и вышла.

У себя наверху она принялась разбирать платье, а на душе у нее было смятение.

VI. МАЙКЛУ ДОСТАЕТСЯ

После посещения Грин-стрит Майкл побрел обратно по Пикадилли и, повинувшись тому непреодолимому желанию, которое тянет людей к месту какой-нибудь катастрофы, свернул на Корк-стрит. С минуту он постоял перед входом в Уилфридову «берлогу».

— Нет, — решил он, — десять шансов против одного, что его нет дома, а если он дома, то двадцать шансов против одного, что если я и добьюсь от него чего-нибудь, то только неприятностей.

Он медленно шел в направлении Бонд-стрит, когда легкая женская фигурка, вынырнув из переулка, где живет Уилфрид, и читая на ходу, налетела на него сзади.

— Что же вы не смотрите, куда идете? Ах, это вы! Ведь вы тот молодой человек, который женился на Флер Форсайт? Я ее кузина, Джун. Кажется, я ее только что видела, — она помахала каталогом, как птица крылом. — Вот там, против моей галереи. Она зашла в какой-то дом, а то я бы с ней заговорила, мне бы хотелось ее повидать.

«В дом!» Майкл стал искать портсигар... Крепко сжав его в руке, он поднял голову. Ясные синие глаза маленькой леди пытливо скользнули по его лицу.

— Вы счастливы с ней? — спросила она.

Холодный пот проступил у него на лбу. Ему казалось, что все с ума сошли — и он и она.

— Как вы сказали? — пробормотал он.

— Надеюсь, вы счастливы? Она должна была выйти замуж за моего маленького братца. Но, надеюсь, вы счастливы. Она — прелестное существо.

Сквозь тупую боль оглушающих ударов его поразило, что она, по-видимому, наносит их бессознательно. Он почувствовал, как скрипнули его зубы, и тупо спросил:

— Ваш маленький братец? А кто же он?

— Как? Джон! Вы не знали Джона? Он, конечно, был слишком молод, да и она тоже. Но влюблены они были по уши; и все расстроилось из-за семейной распри. Ну, все это в прошлом. Я была на вашей свадьбе. Надеюсь, вы счастливы. Вы видели выставку Клода Брэйнза в моей галерее? Он — гений! Я хочу зайти вот сюда съесть пирожок. Не зайдете ли со мной? Вам надо познакомиться с работами Брэйнза.

Она остановилась у дверей кондитерской. Майкл прижал руку к сердцу.

— Спасибо, — сказал он, — я только что съел пирожок, нет, даже целых два. Извините меня!

Маленькая леди поймала его за руку.

— Ну, до свидания, молодой человек! Рада была вас видеть. Вы не красавец, но ваше лицо мне нравится. Кланяйтесь от меня вашей малютке. Вы непременно должны пойти посмотреть Брэйнза, он настоящий гений.

Окаменев у двери, Майкл смотрел, как Джун повернулась, как она вошла, порывисто двигаясь, словно взлетая, мешая сидевшим за столиками кондитерской. Наконец он двинулся с места и пошел с незакуренной папиросой во рту, ошеломленный, как боксер, которого первый удар чуть не сбил с ног, а второй заставил выпрямиться.

Флер у Уилфрида — там, в его комнате; быть может, в его объятиях! Он застонал. Упитанный молодой человек в новой шляпе отшатнулся от него. Нет, нет! Этого ему никогда не вынести! Придется убираться. Он так верил в честность Флер! Двойная жизнь! Вчера ночью она улыбалась ему. О боже! Он пролетел через улицу в Грин-парк. Почему он не стал посреди мостовой — пусть бы его переехали. Какой-то «братец» этой сумасшедшей — Джон семейная распря? Значит, за него она вышла с горя — без любви — вместо другого? Он вспомнил теперь, как она ему сказала однажды вечером в Мейплдерхеме: «Приходите, когда я буду знать, что мое желание неисполнимо». Так вот что было ее неисполнимым желанием! Заместитель! «Весело, подумал, он, — страшно весело!» Тогда не удивительно — не все ли ей равно: тот ли, другой ли? Бедная девочка! Она ни слова ему не сказала, ни разу не обмолвилась. Что это — благородство или предательство? «Нет, подумал он, — если бы она даже и рассказала, ничего бы не изменилось — я все равно женился бы на ней». Нет, с ее стороны благородно было промолчать. Но как это никто ему ничего не сказал? Семейная распря? Эти Форсайты! Кроме «Старого Форсайта», он ни с кем из них не встречался, а тот всегда был нем как рыба. Что ж! Теперь он все узнал. И опять он застонал в пустынных сумерках парка. Показался Букингемский дворец — неосвещенный, громадный, унылый. Вспомнив наконец о своей папиросе, Майкл зажег спичку и глубоко затянулся, впервые почувствовав даже что-то вроде смутного облегчения.

— Не можете ли одолжить нам папиросу, мистер?

Смутная фигура с приятным грустным лицом стояла в тени статуи Австралии; эмблемы изобилия, окружавшие статую, показались даже противными.

— Ну конечно, — сказал Майкл. — Берите все! — он высыпал папиросы в руку просящего. — И портсигар берите — «память о Вестминстере», — вам за него дадут тридцать монет. Счастливо!

И он понесся дальше. Смутный возглас: «Послушайте, мистер!» — раздался ему вслед. Жалость — чушь. Чувства — ерунда! Что же ему — идти домой и ждать, пока Флер... освободится и тоже придет домой? Ну нет! Он повернул к Челси и крупными размашистыми шагами пошел дальше. Освещенные магазины, мрачный, огромный Итонсквер, Честер-сквер, Слоун-сквер, Кингс-Род — дальше, дальше! Нет, хуже, чем окопы, — хуже всего эта жалающая, как скорпион, разбуженная ревность. Да, и он чувствовал бы ее еще сильнее, если

бы не второй удар. Не так больно, когда знаешь, что Флер была влюблена в своего кузена, и Уилфрид тоже, быть может, для нее ничто. Бедная девчурка! «Ну, а как же теперь?» — подумал он. Как себя вести в черные дни, в горькие минуты? Что делать? А что делал человек на войне? Внушал себе, что не он — центр всего, развивал в себе какое-то состояние покорности, фатализма. «Пусть я умру, но Англия жива» — и прочие душещипательные лозунги. А теперь, в жизни? Разве это не то же самое? «Погибает, но не сдается» — может быть, это и чушь, но все-таки вставай, когда тебя свалили. Мир огромен, человек — ничто. Неужели страсть, ревность могут вывести человека из равновесия, как об этом говорят Нэйзинг, Сибли, Линда Фру? Неужели слово «джентльмен» пустой звук? Неужели? Сдержаться, владеть собой — или опуститься до визга и мордобоя?

«Не знаю, — подумал он, — просто не знаю, что я сделаю, когда увижу ее». Стальная синева надвигающегося вечера, голые платаны, широкая река, морозный воздух! Майкл повернул домой. Дрожая, он открыл наружную дверь, дрожа вошел в гостиную...

Когда Флер ушла к себе, оставив его с Тинг-а-Лингом, он не знал — верит он ей или нет. Если она так долго могла скрывать от него то, другое, значит она могла скрыть все что угодно! Поняла ли она его слепа: «Ты должна поступать так, как тебе хочется, — иначе было бы несправедливо»? Он сказал эту фразу почти машинально, но это правда. Если она никогда не любила его хоть немного, он не имеет никакого права на что-нибудь надеяться. Он все время был на положении нищего, которому она подавала милостыню. Ничто не может заставить человека подавать милостыню, если он не хочет. И ничто не может заставить человека продолжать брать милостыню — ничто, кроме страстной тоски по ней, тоски, тоски!

— Ты, маленький джин, ты, счастливый лягушонок! Одолжи мне свое спокойствие, ты, китайская молекула!

Тинг-а-Линг посмотрел на него пуговками глаз: «Когда ваша цивилизация догонит мою, — как будто говорил он, — а пока почешите мне грудь».

И, почесывая желтую шерсть, Майкл думал: «Возьми себя в руки! Люди на Южном полюсе при первой метели не ноют: „Хочу домой! Хочу домой!“ — а держатся изо всех сил. Ну, нечего киснуть!» Он спустил Тинга на пол и прошел к себе в кабинет. У него лежали рукописи, о которых рецензенты от Дэнби и Уинтера уже дали отзыв. «Печатать невыгодно, но вещь настоящая, заслуживает внимания». Дело Майкла заключалось в том, чтобы проявить внимание, дело Дэнби — отставить рукопись со словами: «Напишите ему (или ей) вежливое письмо, что мы, мол, очень заинтересованы; сожалеем, что не можем издать. Надеемся иметь возможность познакомиться со следующей работой автора и так далее. Вот и все».

Майкл зажег настольную лампу и вынул рукопись, которую уже начал читать.

«Все вперед, все вперед, отступления нет, победа иль смерть».

«Все вперед, все вперед, отступления нет, победа иль смерть».

Припев черных слуг из «Полли» неотступно вертелся у него в голове. А, черт! Надо кончать работу. Майкл умудрился кое-как дочитать главу. Он вспомнил содержание рукописи. Там говорилось о человеке, который, будучи мальчиком, увидел, как в доме напротив горничная передевалась в своей комнате, и это произвело на него столь сильное впечатление, что, будучи женатым, он вечно боролся с собой, чтобы не изменять жене с горничными. Его комплекс был раскрыт и должен был быть выявлен. Очевидно, вся остальная часть рукописи описывала, как этот комплекс выявлялся. Автор подробно и добросовестно излагал все те физические переживания, пропускать которые считалось отсталостью и «викторианством». Огромная работа — а времени на просмотр тратить не стоило! Старому Дэнби до смерти надоел Фрейд, и на этот раз правота старого Дэнби не раздражала Майкла. Он положил рукопись на стол. Семь часов! Рассказать Флер все, что он узнал о ее кузене? Зачем? Этого все равно не поправить! Если только она говорит правду об Уилфриде! Он подошел к окну — звезды вверху, полосы внизу — полосы дворов и садов.

«Все вперед, все вперед, отступления нет, победа иль смерть».

— Когда приедет ваш отец? — слышался голос.

«Старый Форсайт!» О боги!

— Кажется, завтра, сэр. Заходите. Вы как будто первый раз в моей конуре?

— Да, — сказал Сомс. — Славно. Карикатуры. Вы их собираете — пустое дело!

— Но ведь это не нынешнее — это воскрешенное искусство, сэр.

— Издеваться над ближним — это не по мне. Они только тогда и процветают, когда кругом творится чепуха и люди перестают прямо смотреть на вещи.

— Хорошо сказано, клянусь! — заметил Майкл. — Не присядете ли, сэр?

Сомс сел, привычно положив ногу на ногу. Тонкий, седой, сдержанный закрытая книга в аккуратном переплете. Интересно, какой у него комплекс? Впрочем, какой бы он ни был. Сомс его, наверно, не станет выявлять. Даже трудно себе представить такую операцию.

— Я не увезу своего Гойю, — сказал он неожиданно, — считайте, что он принадлежит Флер. Вообще, если бы я видел, что вы оба больше думаете о будущем, я бы сделал еще кое-какие распоряжения. По-моему, через несколько лет налог на наследство так повысят, что в пору будет ничего не завещать.

Майкл нахмурился.

— Я бы хотел, сэр, чтобы вы всегда помнили: то, что вы делаете для Флер, вы делаете для Флер. Я всегда смогу жить, как Эпикур; у меня хватит на хлеб, а по праздникам — на кусочек сыра.

Сомс пристально посмотрел на него.

— Знаю, — проговорил он, — я всегда это знал.

Майкл поклонился.

— Вероятно, вашего отца сильно затронуло падение цен на землю?

— Да, он говорит, что надо взяться за торговлю мылом или автомобилями, но я не удивлюсь, если он снова все перезаложит и будет тянуть дальше.

— Титул без поместья — неестественная вещь, — заметил Сомс. — Лучше ему подождать, пока я умру, — конечно, если я что-нибудь оставлю после себя. Но вот что я хотел вам сказать: разве вы с Флер не дружно живете, что у вас нет детей?

Майкл ответил не сразу.

— Не могу сказать, — медленно проговорил он, — чтобы мы когда-нибудь ссорились или вообще... я всегда страшно любил ее и люблю. Но ведь вы-то знаете, что я только подобрал обломки.

— Кто вам сказал?

— Я узнал это сегодня — от мисс Джун Форсайт.

— Эта женщина, — сказал Сомс. — Не может не вмешиваться в чужие дела. То было детское увлечение, окончилось за много месяцев до вашей свадьбы.

— Но глубокое увлечение, сэр, — мягко сказал Майкл.

— Глубокое! В таком возрасте — как можно знать? Глубокое! — Сомс помолчал. — Вы хороший человек, я всегда это признавал. Будьте терпеливы и смотрите в будущее.

— Да, сэр, — Майкл совсем ушел в свое кресло, — да, если смогу.

— Для меня она — все, — отрывисто буркнул Сомс.

— И для меня тоже, но от этого не легче.

Складка меж бровей Сомса углубилась.

— Может, и не легче. Но держите ее! Насколько хотите мягко, осторожно — только держите. Она молода, она мечется, но все это пустяки.

«Знает ли он и о том, другом?» — подумал Майкл.

— У меня есть свои неприятности, — продолжал Сомс, — но они ничто по сравнению с тем, что я буду чувствовать, если с ней что-нибудь случится.

Майкл почувствовал проблеск симпатии к этому замкнутому седому человеку.

— Я сделаю все, что смогу, — сказал он тихо, — но, конечно, я не царь Соломон.

— Я не совсем спокоен, — сказал Сомс, — не совсем спокоен. Во всяком случае, ребенок был бы своего рода страхов... — он запнулся, слово не совсем подходило!

Майкл словно застыл.

— Тут уж я ничего не могу сказать.

Сомс встал.

— Так, — произнес он задумчиво, — конечно нет. Пора одеваться.

«Одеться на обед, обедать, после — спать. Спать — видеть сны! Какие сны придут?»

По дороге в свою комнату Майкл встретил Кокера. Вид у него был совсем унылый.

— В чем дело, Кокер?

— Собачку стошнило в гостиной, сэр.

— Черт возьми, неужели!

— Да, сэр. Очевидно, кто-то бросил ее там одну. Она очень обиделась, сэр. Я всегда говорил: это не простая собачка...

За обедом, как будто устыдившись того, что осчастливил их и советами и двумя картинами, стоившими несколько тысяч, Сомс говорил, как говаривал Джемс в дни своего расцвета. Он говорил о французах, о падении марки, о повышении «консолей», об упрямстве Думетриуса, не желавшего уступить Сомсу этуод Констэбля, совершенно ему ненужный и нужный Сомсу, который все-таки не хотел платить за него цену, назначенную Думетриусом из чистого упрямства. Он говорил о неприятностях, которые наживут себе Соединенные Штаты из-за своего сухого закона. Вот упрямый народ! Ухватятся за что-нибудь, и хоть разбей голову об стенку. Сам он почти не пил, но приятно чувствовать, что можно выпить. Американцам, очевидно, приятно чувствовать, что нельзя выпить, но это ведь тирания! Они просто зазнались. Он не удивится, если узнает, что все там запили. Что касается Лиги наций — сегодня утром какой-то человек превозносил ее до небес. Но этот номер не пройдет: тратить деньги и улаживать дела, которые и сами уладятся, — это Лига умеет, а вот делать что-нибудь серьезное, например уничтожить большевизм или ядовитые газы, — это им не под силу; а ведь делают вид, что они — все на свете. Для обычно молчаливого человека это был рекорд разговорчивости, что пришлось весьма на руку молодой чете: им только и хотелось, чтобы он говорил и дал им возможность думать о своем. Единственной темой общего разговора было поведение Тинг-а-Линга. Флер считала, что во всем виноват медный пол. Сомс утверждал, что он съел что-то на улице, — собаки вечно все хватают — Майкл предположил, что это просто черта его китайского характера: протест против того, что никто не оценил, насколько он полон собственного достоинства. В Китае четыреста миллионов людей, там есть кому оценить, если человек полон собственного достоинства. А что бы сделал китаец, если бы вдруг оказался в пустыне Гоби? Наверно, его бы тоже стошнило.

«Все вперед, все вперед, отступления нет, победа или смерть».

Когда Флер вышла, мужчины почувствовали, что еще раз остаться вдвоем — невыносимо, и Сомс сказал:

— Мне надо сделать кое-какие подсчеты, я пройду к себе.

Майкл встал.

— Может быть, расположитесь в моем углу, сэр?

— Нет, — сказал Сомс, — мне надо сосредоточиться. Пожелайте за меня Флер спокойной ночи.

Майкл остался один. Он курил и смотрел на фарфоровые испанские фрукты. Белой обезьяне не съесть их, не выбросить кожуру. Не станут ли теперь плоды его жизни фарфоровыми? Жить а одном доме с Флер в отчуждении? Жить с Флер, как сейчас, чувствуя себя посторонним, ненужным? Или уехать, поступить в авиацию или в Общество спасения детей? Какое из трех решений наименее жалкое и глупое? Пепел сигары рос, упал и снова вырос. Фарфоровые фрукты дразнили его своим блеском и теплыми красками. Кокер заглянул и снова ушел. (Хозяин не в духе, — славный мальй этот хозяин!) Что-то должно решиться, где-то и когда-то, но решать будет не он, а Флер. Он слишком несчастен и растерян — где ему знать, чего он хочет! Но Флер знает. Она знает все, от чего может зависеть ее решение, — все об Уилфриде, об этом кузене, о своих собственных чувствах и поступках. Да, какое-то решение придет, но что это в конце концов значит в мире, где

жалость — чушь и философия может пригодиться только китайская?

Но нельзя, чтоб тебя тошнило в гостинной, надо держаться — даже когда никто не видит, как ты стараешься держаться!..

Он уже засыпал, и в его комнате было почти темно. Что-то белое очутилось у его кровати. Смутная душистая теплота коснулась его; голос чуть слышно прошептал: «Это я. Пусти меня к себе, Майкл». Словно ребенок! Майкл протянул руки. Белое и теплое прильнуло к нему. Завитки волос щекотали ему губы, голос шепнул на ухо: «Разве я пришла бы, если бы... если бы что-нибудь было?» Сердце Майкла, смятенное и обезумевшее, забилося у ее груди.

VII. НАГАЯ НАТУРА

В этот день, после сытного завтрака. Тони Бикету повезло. Он живо распродал шары и отправился домой, чувствуя себя победителем.

У Викторины на щеках тоже играл румянец. На его рассказ об удачном дне она ответила таким же рассказом. Правда, рассказ был выдуман — ни слова о Дэнби и Уинтере, о господине со скользкой улыбкой, о ликере, о «нагой натуре». Она не испытывала угрызений совести. То была ее тайна, ее сюрприз; если дело с «нагой натурой» выгорит (она еще не совсем решилась) и даст ей возможность заработать деньги на дорогу — что ж, она скажет мужу, что выиграла на скачках. В тот вечер она несколько раз спрашивала: «Разве я такая уж худая, Тони? Ах, как мне хочется пополнеть!» Бикет, все еще огорченный тем, что она не поделила с ним завтрака, нежно погладил ее и сказал, что скоро она у него станет жирной, как масло, — не объясняя, каким образом.

Им обоим снились синие бабочки, а утро встретило их тусклым светом газа и скудным завтраком из какао и хлеба с маргарином. Стоял туман. Он проглотил Бикета в десяти шагах от дверей. С досадой на душе Викторина вернулась в спальню. Ну кто станет покупать шары в такой туман? Лучше взяться за что угодно, только бы не давать Тони дрогнуть целыми днями. Раздевшись, она тщательно вымылась, на всякий случай! Она только что кончила одеваться, когда квартирная хозяйка известила ее о приходе посыльного. Он принес огромный пакет с надписью: «Мистеру Бикету».

Внутри оказалась записка:

«Дорогой Бикет, вот обещанная одежда. Надеюсь, пригодится.

Майкл Монт».

Дрожащим голосом она сказала посыльному:

— Спасибо, все в порядке. Вот вам два пенса.

Когда громкий свист посыльного растаял в тумане, она в восторге набросилась на пакет. Предметы мужского обихода были отделены от дамских папиросной бумагой. Синий костюм, велюровая шляпа, коричневые штiblеты, три пары носков с двумя маленькими дырочками, четыре рубашки, только слегка потертые на обшлагах, два полосатых галстука, шесть воротничков, не совсем новых, несколько носовых платков, две замечательно плотных фуфайки, две пары кальсон и коричневое пальто с поясом, и всего с двумя-тремя симпатичными пятнышками. Она прикинула синий костюм на себя рукава и брюки придется только укоротить пальца на два. Она сложила вещи стопкой и благоговейно взялась за то, что лежало под папиросной бумагой. Коричневое вязаное платье с маленькими прозрачными желтыми пуговками совершенно чистое, даже не смятое. Как можно отдавать такие вещи? Коричневая бархатная шапочка с пучком золотистых перьев. Викторина тут же надела ее. Розовый пояс, только чуть-чуть полинявший на косточках, чуть повыше и пониже талии, с розовыми шелковыми лентами и подвязками — прямо мечта! Она по могла удержаться, надела и пояс. Две пары коричневых чулок, коричневые туфли, две комбинации и вязаная кофточка. Белый шелковый джемпер с дырочками на одном рукаве, юбка сиреневого полотна, немного полинявшая; пара бледно-розовых шелковых панталон; и под всем этим темно-коричневое, длинное пальто, теплое и уютное, с большими агатовыми пуговицами, а в

кармане — шесть маленьких носовых платков. Она глубоко вдохнула сладкий запах — герань!

Ее охватил целый вихрь мыслей. Одеты, обуты с ног до головы — синие бабочки — солнце! Не хватает только денег на проезд. И вдруг она увидела себя совсем раздетой, перед джентльменом со скользящими глазами. Ну и что же! Зато деньги!

Весь остаток утра она лихорадочно работала, укорачивая костюм Тони, штопая его носки, загибая потертые обшлага. Она съела бисквит, выпила еще чашку какао — от него полнеют — и взялась за дырочку в белом шелковом джемпере. Пробило час. Страшно волнуясь, она опять разделась, надела новую комбинацию, чулки, розовый пояс — и вдруг остановилась. Нет! Платье и шляпу она наденет свои собственные, как вчера. Остальное надо приберечь пока... пока... Она побежала к автобусу: ее бросало то в жар, то в холод. Может быть, ей дадут еще стаканчик этого замечательного питья. Хорошо, если бы у нее закружилась голова и все бы стало безразлично!

Она добралась до студии, когда пробило два часа, и постучала. Там было уютно и тепло, много теплее, чем вчера, и она внезапно поняла зачем. У камина стояла дама с маленькой собачкой.

— Мисс Коллинз — миссис Майкл Монт; она привела нам своего китайчонка, мисс Коллинз.

Дама — одних лет с Викториной и прелесть какая хорошенькая — протянула ей руку. Герань! Так, значит, это она прислала...

Викторина приняла протянутую руку, но не могла сказать ни слова. Если дама останется, то... то это будет просто невысказано — перед ней, такой красивой, такой одетой — о нет, пет!

— Ну, Тинг, будь умницей и веди себя как можно забавней. До свидания, Обри, желаю удачи! До свидания, мисс Коллинз! Наверно, выйдет чудесно!

Ушла! Запах герани рассеялся. Собачка обнюхивала дверь. Скользящий джентльмен держал в руках две рюмки.

«Ага!» — подумала Викторина и выпила свою порцию залпом.

— Ну, мисс Коллинз, не надо стесняться, право! Там все для вас готово. Ничего нет страшного, уверяю вас. Мне нужно, чтобы вы легли вот тут ничком, опираясь на локти, — вы чуть подымете голову и повернетесь сюда. Волосы распушите как можно больше и смотрите вот на эту косточку. Вообразите, что перед вами какой-нибудь фавн или еще какая-нибудь занятная штука. И собачка вам поможет, когда примется грызть кость. Вы знаете, что за штука — фавн?

— Да, — чуть слышно сказала Викторина.

— Хотите еще глоточек?

— О да!

Он принес рюмку.

— Я вполне понимаю вас, но знаете — ей-богу, это нелепо. Ведь не станете вы стесняться доктора? Ну, ладно. Смотрите, я поставлю вот сюда на пол колокольчик. Когда вы приготовитесь, позвоните, и я войду. Так вам будет легче.

— Большое спасибо, — прошептала Викторина.

— Не стоит, это вполне естественно. Ну что ж, начнем. Надо пользоваться, пока светло. Пятнадцать шиллингов в день, как условились.

Викторина посмотрела ему вслед — он проскользнул за ширму, — потом взглянула на колокольчик. Пятнадцать монет! И еще пятнадцать монет. И много, много раз по пятнадцати монет, прежде чем... Но не больше, чем должен выстаивать Тони, переминаясь с ноги на ногу, предлагая шарики. И как будто эта мысль пустила в ход какую-то пружинку — Викторина, словно заводная кукла, спустилась с подмостков в комнату для натурщиц. И здесь уютно и очень тепло. Зеленый шелковый халат брошен на стул. Она сняла платье. Красота розовых подвязок снова приятно поразила ее. А может быть, джентльмен захотел бы... нет, это еще хуже. Она услышала какие-то звуки. Тинг-а-Линг жаловался на

одиночество. Если она станет медлить — у нее никогда не хватит смелости. Быстро раздевшись, она стала перед зеркалом. Если бы это тоненькое, белое, как слоновая кость, отражение могло пройти туда, на подмости, а ей бы остаться тут. Нет, это ужасно, ужасно! Ока не может, никак не может... Она опять потянулась к платью. Пятнадцать монет! Ведь пятнадцать монет! Перед ее тоскливо расширенными глазами встало видение: огромное здание и крохотный Тони с малюсенькими шариками в протянутой руке. Что-то холодное, стальное легло ей на сердце, как ложится ледяная кора на окно. Если это все, что люди могли для него сделать, она сделает больше! Она бросила рубашку и, смущенная, онемелая, взошла на подмости — «нагая натура». Тинг-а-Линг заворчал над своей косточкой. Она потянулась за колокольчиком и легла ничком, как ей велели. Скрестив ноги, подперев подбородок одной рукой, она тронула колокольчик. Раздался звук, какого она еще никогда не слышала, и собачонка залаяла — пресмешная собачонка!

— Превосходно, мисс Коллинз! Так и оставайтесь! Пятнадцать монет! И еще пятнадцать!

— Только еще чуть-чуть вытяните левую ногу. Прекрасно! Тон кожи изумительный! Ах, бог мой, почему это надо плестись шагом, пока не разгонишься. Рисовать — скучная вещь, мисс Коллинз. Писать стоит только кистью. Рисует же скульптор резцом, особенно если он Микельанджело. Сколько вам лет?

— Двадцать один, — произнесли губы, которые самой Викторине показались чужими и далекими.

— А мне тридцать два. Говорят, что наше поколение родилось таким старым, что дальше ему стареть некуда. У нас нет иллюзий. Да я сам, насколько помню, никогда ни во что не верил. А вы?

Викторина утратила всякую способность что-либо соображать, но это было неважно, так как художник болтал без умолку.

— Мы даже не верим в наших предков. И все-таки мы начинаем им подражать. Вы не знаете такую книгу — «Рыдающая черепаха», которая наделала столько шума? Настоящий Стерн, очень хорошо сделано, но все-таки чистейший Стерн, и автор здорово издевается и иронизирует. В этом вся суть, мисс Коллинз, мы над всем издеваемся — а то плохо! Ну, ничего! Этой картиной я переплюну Пьеро Козимо. Голову чуть повыше и, пожалуйста, примите прядь волос с глаза. Спасибо! Вот теперь отлично! Кстати, нет ли в вас итальянской крови? Как, например, была фамилия вашей матери?

— Браун.

— Ага! Никогда не знаешь наверно, откуда эти Брауны. Возможно, что они были Бруни или Бруно — во всяком случае, очень возможно, что она была из Иберии. Наверно, всех жителей Британии, оставленных в живых англо-саксами, звали Браун. Но, в сущности, все это чепуха. Если вернуться к Эдуарду Исповеднику, мисс Коллинз, всего на каких-нибудь тридцать поколений назад, у каждого из нас окажется тысяча семьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре предка, а население всего острова было меньше миллиона. Мы все породисты, как скаковые лошади, только не так красивы, правда? Уверяю вас, мисс Коллинз, за таких, как вы, надо быть благодарным судьбе. И за таких, как миссис Монт, — тоже. Правда, она хороша? Посмотрите-ка на собачку.

Тинг-а-Линг, вытянув передние лапки и сморщив нос, принохивался и присматривался к Викторине, точно она была второй лакомой косточкой.

— Он смешной! — сказала она, и снова собственный голос показался ей чужим.

Согласилась бы миссис Монт лежать здесь, если б он ее попросил? Она-то выглядела бы чудесно! Но ведь ей не нужны пятнадцать шиллингов!

— Вам так удобно?

Викторина встrepенулась.

— О да, спасибо!

— Не холодно?

— Нет, нет, спасибо!

— Чудесно! Чуть повыше голову!

Понемногу острое чувство необычности исчезло. Тони никогда не узнает. А раз он не узнает — значит ему все равно. Она может лежать так целыми днями — пятнадцать монет, да еще пятнадцать монет! Ничуть не трудно. Она следила за движениями проворных, гибких пальцев, за синим дымком папиросы. Следила за собачонкой.

— Хотите отдохнуть? Вы оставили там свой халат, сейчас я его принесу.

Завернувшись в зеленый шелковый халат — теплый стеганый! — она села на край подмостков, спустив ноги на пол.

— Хотите папироску? Я сейчас приготовлю кофе потурецки. Вы лучше походите, разомнитесь.

Викторина послушно встала.

— Вы словно из волшебной сказки, мисс Коллинз. Придется сделать с вас этюд в этом халате в стиле Маттейса Мариса.

Кофе, какого она никогда не пробовала, наполнило ее чувством блаженства.

— Даже не похоже на кофе, — сказала она.

Обри Грин развел руками.

— О, как вы правы! Англичане — великий народ, их ничем не проймешь. А ведь если бы они были подвержены разрушению, они бы давно погибли от своего кофе. Хотите еще?

— Пожалуйста! — сказала Викторина. Чашечка была такая крохотная.

— Ну как, отдохнули?

Викторина снова улеглась и сбросила халат.

— Отлично. Оставим его здесь — вы лежите в высокой траве, — зеленое мне поможет. Как жаль, что сейчас зима: я бы снял садик с лужайкой.

Лежать в траве — и, наверно, цветы кругом. Она так любила цветы. Девочкой она часто лежала в траве и плела венки из ромашек там, в поле за бабушкиной сторожкой, в Норбитоне. Бабушка была сторожихой. Каждый год на две недели Викторина ездила к ней — как она любила деревню! Только на ней всегда было что-нибудь надето. А так, без всего, было бы еще приятнее. Есть ли цветы в Центральной Австралии? Наверно, есть, раз там есть бабочки! Лежать на солнце — вдвоем с Тони, — как в раю!..

— Ну, спасибо, на сегодня хватит. Полдня десять шиллингов. Завтра утром в одиннадцать. Вы первоклассная натурщица, мисс Коллинз!

Викторина надевала розовые подвязки, и в душе у нее все пело! Сделано! Тони ничего не надо знать. Мысль о том, что он ничего и не узнает, доставляла ей удовольствие. И, сняв с себя костюм «нагой натуры», она вышла в студию.

Обри Грин заслонило свое произведение:

— Нет, пока нельзя, мисс Коллинз. Я не хочу вас разочаровывать. Бедро слишком высоко. Завтра исправим. Простите, руки грязные, До свидания! Значит, завтра в одиннадцать. И этот малыш нам не понадобится. Ну, ну, не смей! — прикрикнул он.

Ибо Тинг-а-Линг выказывал явное желание сопровождать большую «косточку». Викторина вышла улыбаясь.

VIII. СОМС БЕРЕТСЯ ЗА ДЕЛО

Сомс размышлял, сидя у огня в своей комнате, пока Большой Бэн не пробил двенадцать. В конце концов он пришел к решению переговорить со «Старым Монтом». Несмотря на легкомыслие, старик все же настоящий джентльмен, а вопрос — деликатный. Сомс лег спать, но в половине третьего проснулся. Какая досада! «Не буду думать об этом», — решил он и тут же начал «об этом» думать. Всю жизнь он имел дело с денежными вопросами и никогда не испытывал таких затруднений. Точно и неизменно придерживаться буквы закона, который сам далеко не всегда точен и неизменен, было неперемennым условием его карьеры. Говорят, что честность — лучшая политика. Но, может быть, это и не

так? Абсолютно честный человек и недели не мог бы прожить, не попав в работный дом. Конечно, работный дом это не тюрьма и не суд, А честность, по ходячим понятиям, на то и существует, чтобы удержать человека за пределами этих учреждений. До сих пор у Сомса затруднений не бывало. В чем, кроме распивания чая и получения жалованья, в сущности, состоят обязанности директора? Вот что интересно. И в какой мере он ответственен в случае невыполнения этих обязанностей? Директор обязан быть совершенно честным. Но если так, он не может оставаться директором. Это ясно. Ведь первым делом ему придется заявить своим акционерам, что он совершенно не заслуживает своего жалованья. Что он делал на заседаниях правления? Да просто сидел, расписывался, немного говорил и голосовал за то, что по ходу дела должно было быть принято. Проявлял ли он когда-нибудь инициативу? Может быть, один-единственный раз. Вел ли он расчеты? Нет, он их только прочитывал. Рассматривал ли он сметы? Нет, за него это делали служащие. Конечно, есть еще политика Общества. Успокоительные слова, но — если говорить откровенно — все дело директора и заключается в том, чтобы не мешать существующей политике. Взять, например, его самого. Если бы он выполнял свой долг, он через месяц по вступлении в правление должен был бы приостановить страхование иностранных контрактов, которым он с самого начала инстинктивно не доверял, или, в случае неудачи, должен был отказаться от своего места. А он этого не сделал. Казалось, что все наладится, что момент неподходящий и так далее. Если бы он хотел выполнять свой долг, как абсолютно честный директор, он вообще не должен был бы стать директором ОГС, потому что, прежде чем занять место в правлении, нужно было разобраться в делах Общества гораздо основательнее, чем он это сделал. Но все эти имена, престиж, и — «дареному коню в зубы не смотрят» — пот и вышло! Если бы он теперь захотел быть абсолютно честным, он должен был бы объявить акционерам: «Мое попустительство обошлось вам в двести с чем-то тысяч фунтов. Я отдаю эту сумму в руки доверенных лиц на покрытие ваших убытков и постараюсь выжать из остальных директоров их долю». Но он не собирался так поступить, потому что... ну, просто потому, что это не принято, и другим директорам это вряд ли понравится. Вывод один: ждать, пока акционеры сами не раскроют эту историю, но надеяться, что они ее не раскроют. Словом, совершенно как правительство, путать карты и стараться выйти сухим из воды. Не без некоторого удовольствия Сомс подумал об Ирландии: предыдущее правительство сначала вовлекло страну в эту историю с Ирландией, а потом делало вид, что исправило то, чего и не должно было быть. А мир, а воздушный флот, а земельная политика, а Египет — во всех этих пяти важнейших вопросах правительство каждый раз подливало масла в огонь. Но признавалось ли оно в этом? Нет, в таких случаях не признаются; в таких случаях принято говорить: «В данный момент это вызвано политической необходимостью». А еще лучше — ничего не говорить и просто положиться на британский характер. Высвободив подбородок из-под одеяла. Сомс вдруг почувствовал какое-то облегчение. Нет, последнее правительство, наверно, не тряслось под одеялом от страха. Устремив глаза на потухающие угли в камине. Сомс размышлял о неравенстве и о несправедливости судьбы. Взять всех этих политиков и дельцов, которые всю жизнь ходят по тонкому льду и за это получают титулы. Они и в ус не дуют. И взять его самого — он впервые очутился на тонком льду и страдает от этого невероятно. В сущности, установился целый культ обманывания публики, целый культ того, как избежать последствий неразумного ведения дел. И он, человек деловой, человек закона, не знает этого культа — и рад этому. Из врожденной осторожности, из чувства гордости, в которой был даже какой-то оттенок высокомерия. Сомс всегда чурался той примитивной, стандартной «честности», которой руководствовалась в своих делах британская публика. Во всем, что касалось денег, он был непоколебим, тверд, негибачем. Деньги есть деньги, фунт есть фунт, и нельзя притворяться, что это не так, и все-таки сохранить чувство собственного достоинства.

Сомс встал, выпил воды, сделал несколько глубоких вдохов и поразмял ноги. Кто это ему вчера говорил, что нет такой вещи, из-за которой он лишился бы сна хоть на пять минут? Наверно, этот человек здоров как бык или врет, как барон Мюнхгаузен. Он взял книгу, но

мысли все время вертелись вокруг того, что он мог бы реализовать из своего состояния. Не считая картин, решил он, его состояние, наверно, не меньше двухсот пятидесяти тысяч фунтов; и, кроме Флер, у него никого нет, а она уже обеспечена. Для жены он тоже выделил средства — она превосходно может на них жить во Франции. Что же касается его самого — не все ли ему равно? Комната в клубе, поближе к Флер — ему будет так же хорошо, как и сейчас, может быть даже лучше! И вдруг он увидел, что нашел выход из всех своих неприятностей и страхов. Представив себе худшее, что его ждало впереди, — потерю состояния, — он изгнал демона. Книга «Рыдающая черепаха», из которой он не прочел ни слова, выпала у него из рук; он уснул...

Встреча со «Старым Монтом» состоялась в «Клубе шутников» сейчас же после завтрака. Телеграфная лента в холле, на которую он взглянул мимоходом, отмечала дальнейшее падение марки. Так он и думал: она совершенно обесценивается.

Прихлебывающий кофе баронет показался Сомсу прямо-таки оскорбительно веселым. «Держу пари, что он ничего не подозревает. Хорошо, — подумал Сомс, — сейчас я, как говаривал старый дядя Джوليон, преподнесу ему, сюрприз!» И без предисловий он начал:

— Добрый день, Монт. Марка обесценена, вы понимаете, что ОГС потерпело около четверти миллиона убытка на этих злополучных иностранных контрактах Элдерсона. Я не уверен, что на нас не ляжет обвинение за такой ничем не оправданный риск. Но поговорить с вами я хотел, собственно, вот о чем. — Он подробно изложил свой разговор с клерком Баттерфилдом, наблюдая за бровями собеседника, и закончил словами: — Что вы на это скажете?

Сэр Лоренс, качая ногой так, что все его тело тряслось, вскинул монокль:

— Галлюцинации, мой дорогой Форсайт. Я знаком с Элдерсоном всю жизнь. Мы вместе учились в Уинчестере.

Опять, опять! О боже!

— Это еще ничего не значит, — медленно проговорил Сомс, — один человек, с которым я учился в Молборо, сбежал с кассой офицерского собрания и с женой полковника и нажил состояние в Чили на помидорных консервах. Суть вот в чем: если рассказ этого человека — правда, то мы в руках злостного афериста. Это не годится, Монт. Хотите позондировать его и посмотреть, что он скажет? Ведь вам было бы не особенно приятно, если бы про вас говорили такие вещи? Хотите, пойдем вместе?

— Да, — вдруг согласился сэр Лоренс. — Вы правы. Пойдем вместе. Это неприятно, но пойдем вместе. Надо ему все сказать.

— Сейчас?

— Сейчас.

Они торжественно взяли цилиндры и вышли.

— Мы, я полагаю, возьмем такси, Форсайт?

— Да, — сказал Сомс.

Машина медленно объехала львов на Трафальгар-сквере, потом быстро покатила по набережной. Старики сидели рядом, неотступно глядя вперед.

— Мы ездили с ним охотиться месяц тому назад, — сказал сэр Лоренс. Вы знаете гимн: «Господь — наш щит в веках минувших». Очень хороший гимн, Форсайт, Сомс не отвечал. Ну, теперь пошел трещать!

— У нас пели его в то воскресенье, — продолжал сэр Лоренс. — У Элдерсона был когда-то приятный голос, он пел даже соло. Теперь-то у него настоящий козлетон, но исполнение неплохое, — он засмеялся своим пискливым смешком.

«Интересно, бывает этот человек когда-нибудь серьезным?» — подумал Сомс и проговорил вслух:

— Если мы узнаем, что история с Элдерсоном — правда, и скроем ее нас всех, чего доброго, посадят на скамью подсудимых.

Сэр Лоренс поправил монокль.

— Черт возьми, — сказал он.

— Вы сами с ним поговорите, — продолжал Сомс, — или предоставите мне?
— По-моему, лучше вам, Форсайт; не вызвать ли нам и этого молодого человека?
— Подождем, посмотрим, — сказал Сомс.

Они поднялись в контору ОГС и вошли в кабинет правления. В комнате было холодно, стол ничем не был покрыт; старый конторщик ползал, словно муха по стеклу, наполняя чернильницы из бутыли.

— Спросите директора-распорядителя, не будет ли он любезен принять сэра Лоренса Монта и мистера Форсайта? — обратился к нему Сомс.

Старый клерк заморгал, поставил бутылку и вышел.

— Теперь нам надо быть начеку, — тихо проговорил Сомс, — он, разумеется, будет все отрицать.

— Надеюсь, Форсайт, надеюсь. Элдерсон — джентльмен.

— Никто так не лжет, как джентльмены, — вполголоса проворчал Сомс.

Они молча стояли у пустого камина, пристально рассматривая свои цилиндры, стоявшие рядом на столе.

— Одну минуту! — внезапно сказал Сомс и, пройдя через всю комнату, открыл противоположную дверь. Там, как и говорил молодой клерк, было что-то вроде коридорчика между кабинетом правления и кабинетом директора, с дверью, выходящей в главный коридор. Сомс вернулся, закрыл дверь и, подойдя к сэру Лоренсу, снова погрузился в созерцание цилиндров.

— География правильна, — сказал он хмуро.

Появление директора-распорядителя было отмечено стуком моногля сэра Лоренса, звякнувшего о пуговицу. Весь вид Элдерсона — черная визитка, чисто выбритое лицо и серые, довольно сильно опухшие глаза, розовые щеки и аккуратно разложенные на лысом яйцевидном черепе волоски, и губы, которые то вытягивались вперед, то стягивались в ниточку, то расходились в улыбке, — все это до смешного напоминало Сомсу старого дядю Николаев в среднем возрасте. Дядя Ник был умный мальчик — «самый умный человек в Лондоне», как кто-то назвал его, — но никто не сомневался в его честности. Сомнение, неприязнь всколыхнули Сомса. Казалось чудовищным предъявлять такое обвинение человеку одного с тобой возраста, одного воспитания. Но глаза молодого Баттерфилда, глядевшие так честно, с такой собачьей преданностью! Выдумать такую штуку — да разве это мыслимо?

— Дверь закрыта? — отрывисто бросил Сомс.

— Да. Вам, может быть, дуется? Хотите, я велю затопить?

— Нет, благодарю, — сказал Сомс. — Дело в том, мистер Элдерсон, что вчера один из молодых служащих этой конторы пришел ко мне с очень странным рассказом. Мы с Монтом решили, что вам нужно его передать.

Сомсу, привыкшему наблюдать за глазами людей, показалось, что на глаза директора набежала какая-то пленка, как бывает у попугаев. Но она сразу исчезла — а может быть, ему только показалось.

— Ну, разумеется, — сказал Элдерсон.

Твердо, с тем самообладанием, какое было ему свойственно в решительные минуты, Сомс повторил рассказ, который он выучил наизусть в часы ночной бессонницы.

— Вы, несомненно, захотите его вызвать сюда, — заключил он. — Его зовут Баттерфилд.

В продолжение всей речи сэр Лоренс не вмешивался и пристально разглядывал свои ногти. Затем он сказал:

— Нельзя было не сказать вам, Элдерсон.

— Конечно.

Директор подошел к звонку. Румянец на его щеках выступил гуще, зубы обнажились и как будто стали острее.

— Попросите сюда мистера Баттерфилда.

Последовала минута деланного невнимания друг к другу. Затем вошел молодой клерк, аккуратный, очень заурядный, глядевший, как подобает, в глаза начальству. На миг Сомса кольнула совесть. Клерк держал в руках всю свою жизнь — он был одним из великой армии тех, кто живет своей честностью и подавлением своего «я», а сотни других готовы занять его место, если он хоть раз оступится. Сомсу вспомнилась напыщенная декламация из репертуара провинциального актера, над которой так любил подшучивать старый дядя Джолион: «Как бедный мученик в пылающей одежде...» — Итак, мистер Баттерфилд, вы сообразовали изощрять вашу фантазию на мой счет?

— Нет, сэр.

— Вы настаиваете на вашей фантастической истории с подслушиванием?

— Да, сэр.

— В таком случае мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Вы свободны.

Молодой человек поднял на Сомса голодные, собачьи глаза, он глотнул воздух, его губы беззвучно шевельнулись. Он молча повернулся и вышел.

— С этим покончено, — послышался голос директора, — теперь он ни за что не получит другого места.

Злоба, с которой директор произнес эти слова, подействовала на Сомса, как запах ворвани. Одновременно у него явилась мысль: это следует хорошенько обдумать. Такой резкий тон мог быть у Элдерсона, только если он ни в чем не виноват или же если виноват и решился на все. Что же правильно?

Директор продолжал:

— Благодарю вас, господа, что вы обратили мое внимание на это дело. Я и сам с некоторого времени следил за этим молодчиком. Он большой мошенник.

Сомс сказал угрюмо:

— Что же, по-вашему, он надеялся выиграть?

— Предвидел расчет и хотел заранее наделать неприятностей.

— Понимаю, — сказал Сомс. Но в памяти его встала контора, где сидел старый Грэдмен, потирая нос и качая седой головой, и слова Баттерфилда: «Нет, сэр, я ничего не имею против мистера Элдерсона, и он ничего не имеет против меня».

«Надо будет разузнать побольше об этом молодом человеке», — подумал он.

Голос директора снова прорезал молчание:

— Я думал над вашими вчерашними словами, мистер Форсайт, относительно того, что правление могут обвинить в небрежном ведении дел. Это совершенно неосновательно: наша политика была полностью изложена на двух общих собраниях и не вызвала никаких возражений. Пайщики столь же ответственны, как и правление.

— Гм! — промычал Сомс и взял свой цилиндр. — Вы идете, Монт?

Сэр Лоренс нервно вскинул монокль, словно его окликнули издали.

— Вышло ужасно неприятно, — сказал он. — Вы должны извинить нас, Элдерсон. Нельзя было не уведомить вас. Мне кажется, что у этого молодого человека не все дома: у него удивительно странный вид. Но, конечно, мы не можем терпеть подобных историй. Прощайте, Элдерсон.

Одновременно надев цилиндры, оба вышли. Некоторое время они шли молча. Затем сэр Лоренс заговорил:

— Баттерфилд? У моего зятя работает старшим садовником некий Баттерфилд — вполне порядочный малый. Не следует ли нам приглядеться к этому молодому человеку, Форсайт?

— Да, — сказал Сомс, — предоставьте это мне.

— С удовольствием. Как-никак, если учился с человеком в одной школе, то невольно... вы понимаете...

Сомс внезапно вспылал.

— В наше время, по-моему, никому нельзя доверять. Происходит это оттого... впрочем, право, не знаю отчего. Но я с этим делом еще не покончил.

IX. СЛЕЖКА

Клуб «Всякая всячина» начал свое существование в шестидесятых годах прошлого столетия. Он был основан группой блестящей молодежи, политической и светской, и в нем они готовились к приему в более почтенные, старые клубы — «Шутников», «Путников», «Смена», «Бэртон», «Страусовые перья» и другие. Но благодаря изумительному повару клуб с самых первых дней своего существования укрепился и сам стал изысканным клубом. Впрочем, он все еще до некоторой степени оправдывал свое название, объединяя самых разнородных людей, — и в этом была его привлекательность для Майкла. От Уолтера Нэйзинга и других полуписателей и покровителей сцены, которые ездили в Венецию и рассуждали о любви в гондолах и о том, как надо ухаживать за такой-то дамой, от таких людей до свирепых усачей отставных генералов, заседавших когда-то в полевых судах и походя расстреливавших людей за минутные слабости человеческой природы, — от Уилфрида Дезерта (который перестал теперь туда ходить) до Мориса Элдерсона, игравшего там в карты, Майкл мог встретить всех и следить по ним за температурой современности. Через два дня после той ночи, как Флер пришла к нему в спальню, он сидел в курительной комнате и предавался своим наблюдениям, когда ему доложили:

— Вас желает видеть какой-то мистер Форсайт, сэр. Не тот, что состоял у нас членом до самой своей смерти, а, кажется, его двоюродный брат.

Зная, что его друзья вряд ли сейчас придутся по душе Сомсу (как и он им!), Майкл вышел и застал Сомса на автоматических весах.

— Никакой перемены, — сказал тот. — Как Флер?

— Отлично, благодарю вас, сэр.

— Я остановился на Грин-стрит. Задержался из-за одного молодого человека. Нет ли у вас в конторе свободного места для клерка — хорошего счетовода. Мне надо устроить его на работу.

— Зайдемте, сэр, — пригласил Майкл, открывая дверь в небольшую гостиную.

Сомс прошел за ним и оглядел комнату.

— Как называется эта комната? — спросил он.

— Да мы ее называем «могила» — тут так славно и спокойно. Не хотите ли стакан хереса?

— Хереса! — повторил Сомс. — Вы, молодежь, кажется, воображаете, что изобрели херес? Когда я был мальчиком, никому не приходило в голову сесть обедать без стакана сухого хереса к супу и хорошего старого хереса к сладкому. Херес!

— Охотно верю вам, сэр. Вообще на свете нет ничего нового. Венеция, например, и раньше, вероятно, была в моде. И вязанье, и писательские гонорары. Все идет циклами. Вашему юноше дали по шапке?

Сомс поглядел на него:

— Именно. Его фамилия Баттерфилд, ему нужна работа.

— Это страшно трудно — нас ежедневно засыпают предложениями. Не хочу хвастать, но у нас совершенно особая работа. Приходится иметь дело с книгами.

— Он производит впечатление способного, аккуратного и вежливого человека; не знаю, чего вам еще нужно от клерка. У него хороший почерк, и, насколько мне известно, он умеет говорить правду.

— Это, конечно, существенно, — заметил Майкл. — Но умеет ли он также лгать? Я хочу сказать, что ему, может быть, удастся найти работу по распространению книг. Продавать нумерованные издания и так далее. Не можете ли вы мне еще что-нибудь рассказать о нем? Может быть, он сделал что-нибудь хорошее — конечно, старый Дэнби этого не оценит, но ему можно и не говорить.

— М-м-гм. Видите ли, он... он исполнил свой долг, вопреки своим интересам, и действительно для него это — разорение. Кажется, он женат и имеет двоих детей.

— Ого! Весело, нечего сказать! А если я ему достану место, он по-прежнему будет исполнять свой долг?

— Я не шучу, — сказал Сомс, — этот молодой человек меня заботит.

— Да, — задумчиво проговорил Майкл, — в таких случаях надо первым делом переложить заботу с себя на другого. Могу я с ним повидаться?

— Я сказал ему, чтобы он зашел к вам сегодня после обеда. Я считал, что вы захотите повидать его частным образом и решить, годится ли он для вашего дела.

— Совершенно правильно, сэр. Но только вот что: не думаете ли вы, что мне следует знать, как именно он выполнил свой долг, — это, разумеется, останется между нами. Иначе я могу попасть впросак, не так ли?

Сомс посмотрел зятю в лицо. В энный раз он почувствовал к нему симпатию и доверие: такой честный взгляд был у Майкла.

— Видите ли, — сказал он, подходя к двери и убедившись в ее непроницаемости, — здесь могут усмотреть клевету, так что не только ради меня, но и ради себя самого вы должны соблюдать абсолютную тайну, — и он вполголоса изложил суть дела.

— Как я и ожидал, — заключил он, — этот молодой человек пришел ко мне опять сегодня утром. Он, разумеется, совершенно подавлен. Я хочу, чтобы он был у меня под рукой. Не располагая дальнейшими сведениями, я не могу решиться — продолжать ли это дело, или бросить. К тому же... — Сомс колебался: проявлять добрые побуждения ему претило. — Я... это было жестоко по отношению к нему. Он зарабатывал триста пятьдесят фунтов в год.

— Да, скверно ему, — сказал Майкл. — А знаете, ведь Элдерсон — член этого клуба.

Сомс снова покосился на дверь; она по-прежнему выглядела непроницаемой. И он сказал:

— Еще недоставало! Вы с ним знакомы?

— Я играл с ним в бридж — он здорово меня обчистил; замечательно ловкий игрок.

— Так, — сказал Сомс (сам он никогда не играл в карты). — Я, по вполне понятным причинам, не могу взять этого юношу к себе в контору. Но вам я доверяю.

Майкл потянул себя за волосы.

— Чрезвычайно тронут, сэр. Покровительство бедным — и при этом незаметная слежка. Ладно, повидаясь с ним сегодня вечером и дам вам знать, можно ли будет что-нибудь выковырнуть для него.

Сомс ответил кивком. «Но что за жаргон, о боже правый!» — подумал он.

Этот разговор сослужил Майклу хорошую службу: он отвлек его мысли от личных переживаний. В душе он уже сочувствовал молодому Баттерфилду и, закурив сигару, ушел в комнату для карточной игры. Он сел на решетку камина. Эта комната всегда ему импонировала. Совершенно квадратная, и в ней три квадратных ломберных столика, под углом к стенам, с тремя треугольниками игроков.

«Если бы только четвертый игрок сидел под столом, — подумал Майкл, кубистический узор был бы вполне закончен. То, что выходящий сидит тут же, портит все». И вдруг с каким-то странным чувством он заметил, что Элдерсон — выходящий. Весь какой-то острый, невозмутимый, он внимательно срезал ножичком кончик сигары. Черт! До чего непонятная книга — человеческое лицо! Целые страницы заполнены какими-то личными мыслями, интересами, планами, фантазиями, страстями, надеждами и страхами. И вдруг бац! Налетает смерть и смахивает человека, как муху со стены, и никто не узнает, как работал этот маленький скрытый механизм, для чего он был создан, чему служил. Никто не скажет, хорош или плох был этот механизм. И трудно сказать. Всякие люди бывают. Вот, например, Элдерсон: что он такое — отъявленный жулик или невинный барашек в скрытом виде? «Почему-то мне кажется, что он бабник, — подумал Майкл, — а почему, собственно?» Он протянул руки назад, к огню, потирая их, как муха трет лапки, когда вылезет из патоки. Если человек не знает толком, что происходит в душе его собственной жены в его собственном доме, как он может прочесть что-нибудь по лицу чужого человека, да еще такого сложного

типа — английского дельца? Если бы только жизнь была похожа на «Идиота» или «Братьев Карамазовых» и все бы во весь голос кричали о своем сокровенном «я»! Если бы в клубных карточных комнатах был хоть намек на эпилепсию! Нет — ничего. Ничего. Мир полон необычайных тайн, каждый хранит их про себя — и нет у них ни субтитров, ни крупных планов.

Вошел лакей, посмотрел на огонь, постоял минуту, невыразительный, как аист, ожидая, не прорвется ли сквозь гул голосов какой-нибудь отрывистый приказ, повернулся и вышел. Механизм! Всюду механизмы! Приспособления, чтобы уйти от жизни, — и такие совершенные, что даже не остается, от чего уходить.

«Все равно как если б человек сам себе послал заказное письмо, — подумал Майкл. — А может быть, так и надо. Хорошая ли вещь — жизнь? Хочу ли я снова видеть „жизнь“ в ее неприкрашенном виде?» Теперь Элдерсон сидел за столиком, и Майкл отлично видел его затылок, но это ему ничего не говорило.

«Нет, я плохой сыщик, — подумал он, — а ведь, наверно, что-то кроется в том, почему он не делает сзади пробора». И, соскочив с каминной решетки, он пошел домой.

Но за обедом он поймал себя на том, как он смотрит на Флер, — совсем не так, как считает нужным. Слежка! Но как же отказаться от попытки узнать истинные мысли и чувства человека, который знает твое сердце, словно клавиатуру, и заставляет его стонать и звенеть, как ему заблагорассудится!

— Я видела натурщицу, которую ты послал Обри, — сказала Флер, — она ничего не сказала про платья, но я сразу поняла. Какое лицо, Майкл! Где ты ее откопал?

У Майкла мелькнула мысль: «Не заставить ли ее ревновать?» Но он сразу устыдился — низменная мысль, пошлая и мелочная!

— Сама явилась ко мне, — сказал он. — Она — жена нашего бывшего упаковщика, того, который стащил... м-м-м... несколько книг. Сейчас он продает воздушные шары; они страшно нуждаются.

— Понимаю. А ты знаешь, что Обри хочет писать ее обнаженной?

— Фью-ю! Нет, не знал. Я думал, что она — прекрасная модель для обложки. Слушай-ка, не приостановить ли мне все это?

Флер улыбнулась.

— Так дороже платят, и это — ее дело. Ведь тебя это не затрагивает, правда?

Снова эта мысль, снова он ее отогнал.

— Да, но только ее муж самый скромный и жалкий человечек на свете, хоть и воришка, и мне не хотелось бы, чтоб пришлось жалеть его еще больше.

— Но ведь она ему не скажет.

Флер сказала это так естественно, так просто, что в этих словах сразу раскрылся весь ее образ мыслей. Не надо рассказывать своему мужу то, что может расстроить беднягу. По трепету ее восковых век он увидел, что и она поняла, насколько она себя выдала. Поймать ли ее на слове, сказать все, что он узнал от Джун Форсайт, — выяснить все, все до конца? Но зачем, ради чего? Внесет ли это какую-либо перемену? Заставит ли ее полюбить его? Или это только больше ее взвинтит, а у него будет такое чувство, что он сдал последнюю позицию, стараясь сделать невозможное. Нет! Лучше принять принцип утаивания, который она невольно признала и утвердила, и, стиснув зубы, улыбаться. Он пробормотал:

— Пожалуй, она покажется ему слишком худой.

Глаза Флер смотрели прямо и ясно, и опять та же низменная мысль смутила его: «Не заставить ли ее...» — Я видел ее только раз, — добавил он, — тогда она была одета.

— Я не ревную, Майкл.

«Нет, — подумал он, — если б только ты могла меня ревновать!» Слова: «Вас спрашивает молодой человек по фамилии Баттерфилд, сэръ», показались ему поворотом ключа в тюремной камере.

В холле молодой человек «по фамилии Баттерфилд» был поглощен созерцанием Тинг-а-Линга.

«Судя по его глазам, — подумал Майкл, — в нем больше собачьего, чем в этом китайском бесенке».

— Пройдемте ко мне в кабинет, — пригласил он, — здесь холодно. Мой тесть говорил, что вы ищете работу.

— Да, сэр, — сказал молодой человек, подымаясь вслед за ним по лестнице.

— Присаживайтесь, — сказал Майкл, — берите папироску. Ну, вот. Я знаю всю вашу историю. Судя по вашим усикам, вы были на войне, как и я. Признайтесь же мне, как товарищу по несчастью: это все — правда?

— Святая правда, сэр. Хотел бы я, чтобы это было не так. Выиграть я тут ничего не могу, а теряю все. Лучше бы мне было придержать язык. Его слова больше значат, чем мои, вот я и очутился на улице. Это было мое первое место после войны — так что теперь рекомендаций мне не добыть.

— Кажется, у нас жена и двое детей?

— Да, и я ради своей совести пожертвовал ими. В последний раз я так поступаю, уверяю вас. Какое мне было дело до того, что Общество обманывают? Моя жена совершенно права — я свалил дурака, сэр.

— Возможно, — сказал Майкл. — Вы что-нибудь смыслите в книгах?

— Да, сэр. Я умею вести конторские книги.

— Ах ты боже мой! Да у нас надо не вести книги, а избавляться от них, и как можно скорее. Ведь у нас издательство. Мы хотели взять еще одного агента. Вы умеете убеждать?

Молодой человек слабо улыбнулся.

— Не знаю, сэр.

— Ладно, я вам объясню, как это делается, — сказал Майкл, совершенно обезоруженный его взглядом. — Все дело в привычке. Но, конечно, этому надо выучиться. Вы, вероятно, не очень-то много читаете?

— Да, сэр, не слишком много.

— Ну, может, это к лучшему. Вам придется внушать этим несчастным книготорговцам, что каждая книга в вашем списке — а их будет, скажем, штук тридцать пять — необходима в его магазине, в большом количестве экземпляров. Очень хорошо, что вы только что разделались с вашей совестью, так как, откровенно говоря, большинство книг им не нужно. Боюсь, что вам негде поучиться убеждать людей, но можете себе это проделать мысленно, а если вы сумеете прийти сюда на часок-другой, я вас натаскаю по нашим авторам и подготовлю вас к встрече с апостолом Петром.

— С апостолом Петром, сэр?

— Да, с тем, который с ключами. К счастью, это мистер Уинтер, а не мистер Дэнби; думаю, что смогу уговорить его принять вас на месяц, на пробу.

— Сэр, я сделаю все, что в моих силах. Моя жена понимает толк в книгах, она мне поможет. Я не могу выразить, как я вам благодарен за вашу доброту. Ведь, потеряв работу, я остался, по правде сказать, совсем на мели. Я не мог ничего отложить, с двумя-то детьми. Прямо хоть в петлю полезай.

— Ну, ладно. Значит, приходите завтра вечером, я вас начиню. Лицо у вас подходящее для такой работы — только бы разговаривать научиться. Ведь всего одна книга из двадцати действительно нужна, остальные — роскошь. А ваша задача — убедить их, что девятнадцать необходимы, а двадцатая — роскошь, без которой нельзя обойтись. Тут дело обстоит, как с одеждой, как с пищей и всем прочим в нашем цивилизованном обществе.

— Да, сэр, я понимаю.

— Отлично. Ну, спокойной ночи и всего хорошего!

Майкл встал и протянул руку. Молодой человек пожал ее с почтительным полупоклоном. Через минуту он уже был на улице, а Майкл, стоя в холле, думал:

«Жалость — чушь! Я чуть было совсем не забыл, что я — сыщик!»

Х. ЛИЦО

Когда Майкл вышел из-за стола, Флер тоже встала. Прошло больше двух дней с тех пор, как она рассталась с Уилфридом, а она еще не пришла в себя. Открывать устрицу-жизнь, собирать редчайшие цветы Лондона — все, что так ее развлекало — теперь казалось скучным и бессмысленным. Те три часа, когда непосредственно за потрясением, испытанным ею на Корк-стрит, она испытала другое потрясение в своей собственной гостиной, так выбили ее из колеи, что она ни за что не могла приняться. Рана, которую разбередила встреча с Холли, почти затянулась. Мертвый лев рядом с живым ослом — довольно незначительное явление. Но она никак не могла вновь обрести... что? В том-то и дело: Флер целых два дня старалась понять, чего ей не хватает. Майкл по-прежнему был как чужой, Уилфрид — потерян, Джон — заживо похоронен, и ничто под луной не ново. Единственное, что утешало ее в эти дни тоскливого разочарования, была белая обезьяна. Чем больше Флер смотрела на нее, тем более китайской она казалась. Обезьяна с какой-то иронией подчеркивала то, что, быть может, подсознательно чувствовала Флер: все ее метания, беспокойство, погоня за будущим только доказывают ее неверие ни во что, кроме прошлого. Современность изжила себя и должна обратиться к прошлому за верой. Как золотая рыбка, которую вынули из теплого залива и пустили в холодную, незнакомую реку, Флер испытывала смутную тоску по родине.

Оставшись в испанской столовой наедине со своими переживаниями, она, не мигая, смотрела на фарфоровые фрукты. Как они блестели, такие холодные, несъедобные! Она взяла в руки апельсин. Сделан «совсем как живой» бедная жизнь! Она положила его обратно — фарфор глухо звякнул, и Флер чуть вздрогнула. Обманула ли она Майкла своими поцелуями? Обманула — в чем же? В том, что она не способна на страсть?

«Но это неправда, — подумала она, — неправда. Когданибудь я покажу ему, на что я способна, — всем им покажу». Она посмотрела на висевшего напротив Гойю. Какая захватывающая уверенность в рисунке, какая напряженная жизнь в черных глазах этой нарумяненной красавицы. Вот эта знала бы, что ей нужно, и, наверно, добилась бы своего. Никаких компромиссов, никакой неуверенности — не бродить по жизни, раздумывая, в чем ее смысл и стоит ли вообще существовать, — нет, просто жить ради того, чтобы жить!

Флер положила руку на шею, туда, где кончалось теплое тело и начиналось платье. Разве она не такая же теплая и упругая — нет, даже в тысячу раз лучше этой утонченной, злой испанской красавицы в изумительных кружевах? И, отвернувшись от картины, Флер вышла в холл. Голос Майкла и еще чей-то, чужой. Идут вниз! Она проскользнула в гостиную и взяла рукопись — стихи, о которых она обещала сказать Майклу свое мнение. Она сидела, не читая, и ждала — войдет он или нет. Она услышала, как закрылась входная дверь. Нет! Он вышел. Какое-то облегчение — и все-таки неприятно. Майкл, холодный и невеселый дома, — если так будет продолжаться, то это совсем тоска! Флер свернулась на диване и попыталась читать. Скучные стихи — вольный размер, без рифм, самосозерцательные, все насчет внутренних переживаний автора. Ни подъема, ни мелодии. Скука! словно уже читала их десятки раз. Она совсем затихла и лежала, прислушиваясь к треску и шуршанию горящих поленьев. Если будет темно, может быть, ей удастся уснуть. Флер потушила свет и вернулась к дивану. Она как будто сама себя видела у камина; видела, какая она одинокая, какая трогательная и хорошенькая, — как будто все, чего она желала, у нее есть, и вместе с тем ничего! Ее губы дрогнули. Она как будто даже видела со стороны капризное, детское выражение своего лица. И хуже всего, что она сама видела, как она все это видит, — какое-то тройное существо, словно запрятанное в жизненепроницаемую камеру, так что жизнь не могла ее захлестнуть. Если бы вдруг влетел какой-нибудь вихрь из нежилого холода, из пустыни Лондона, чьи цветы она срывала! Отблески камина, мягкие и трепетные, выхватывали из мрака то тот, то другой уголок китайской гостиной, как в театре во время тех таинственных, увлекательных сцен, когда под звуки тамбуринов ждешь развязки. Она протянула руку за папироской. Снова она будто со стороны увидела, как она зажигает ее, выпускает дым, увидела свои согнутые пальцы, полураскрытые губы, круглые белые руки.

Да, она очень декоративна! А в сущности, не в этом ли все дело? Быть декоративной и окружать себя декорациями, быть красивой в некрасивой жизни! В «Медяках» было стихотворение о комнате, озаренной бликами огня, о капризной Коломбине у камина, об Арлекине, томящемся за окном, «словно тень розы». И внезапно, безотчетно сердце Флер сжалось. Сердце сжалось тоской, болью страшной болью, и, соскользнув на пол у камина, она прижалась лицом к Тинг-а-Лингу. Китайский песик поднял голову, его черные глаза заблестели в отблеске огня.

Он лизнул ее в щеку и отвернулся. Фу, пудра! Но Флер лежала, как мертвая. Она видела себя, вот так, на ковре — изгиб бедра, каштановые блики на коротких кудрях; она слышала биение своего сердца. Встать, выйти, взяться за что-нибудь! Но за что — за что стоило взяться? В чем была хоть капля смысла? Она представила себе, как она делает что-то, — всякие невероятные вещи: ухаживает за больными женщинами, нянчит хилых ребят, говорит речи в парламенте, — берет препятствия на скачках, полет турнепс в коротких шароварах — очень декоративно! И она лежала совершенно неподвижно, опутанная сетью собственного воображения: пока она видит себя вот так со стороны, она не возьмется ни за что — в этом она была уверена, потому что ни за что не стоило браться. Она лежала совсем неподвижно, и ей казалось, что не видеть себя со стороны — хуже всего на свете, но что, признавая это, она навеки сковывает и связывает себя.

Тинг-а-Линг заворчал, повернув нос к окну, как бы говоря: «Мы дома, у нас уютно, мы думаем о прошлом. Нам не нужно ничего чужого. Будьте добры удалиться, кто бы вы ни были». И снова он заворчал — тихим, протяжным ворчаньем.

— В чем дело, Тинг?

Тинг привстал, вытянув морду к окну.

— Ты хочешь погулять?

— Нет, — проворчал он.

Флер взяла его на руки.

— Что ты, глупенький? — и подошла к окну.

Занавески были плотно задернуты. Пышные, китайские, подбитые шелком, они не выпускали ночь. Флер одной рукой сделала маленькую щелочку и отшатнулась. За окном было лицо: лоб прижат к стеклу, глаза закрыты — как будто оно уже давно было там. В темноте оно казалось лишенным черт, смутно-бледным. Флер почувствовала, как напряглось тельце Тинг-а-Линга под ее рукой, почувствовала его молчание. Сердце ее колотилось — было жутко: лицо без тела.

Внезапно лоб отодвинулся, глаза открылись, она увидела лицо Уилфрида. Видел ли он ее — видел ли, что она стоит у окна, выглядывая из темной комнаты? Дрожа всем телом, она опустила занавес. Кивнуть? Впустить его? Выйти к нему? Махнуть ему, чтоб он ушел? Сердце ее дико билось. Сколько времени стоит он так под окном, словно призрак? Тинг-а-Линг шлепнулся на пол, она сжала руками лоб, пытаясь собраться с мыслями. И вдруг она шагнула к окну и распахнула занавеси. Никого! Лицо исчезло! Ушел! Темная площадь на сквозном ветру — и ни души! Был ли он здесь, или ей померещилось? Но Тинг-а-Линг! Собакам не мерещатся призраки. Тинг вернулся к камину и опять прикорнул там.

«Я не виновата, — в страстном отчаянии думала Флер, — я не виновата! Я не хотела, чтобы он полюбил меня, я только хотела, чтобы он... он...!» И она бессильно опустилась на пол перед камином. «О Тинг! Пожалей меня!» Но китайский пес, обиженный ее небрежностью, не отзывался...

XI. ШАПКА НАБЕКРЕНЬ

Не слишком удачно разыграв роль сыщика по отношению к молодому Баттерфилду, Майкл постоял в раздумье в холле. В конце концов он не вернулся к себе наверх, а тихо вышел на улицу. Он прошел мимо парламента на Уайтхолл. На Трафальгар-сквер он

вспомнил, что у него есть отец. Барт мог быть и у «Шутников», и в «Кофейне», и в «Аэроплане». «Вот с кем можно отдохнуть», — подумал Майкл и пошел в самый модный из этих трех клубов.

— Да, сэр Лоренс Монт в читальне, сэр.

Старик сидел, скрестив ноги, держа сигару кончиками пальцев, в ожидании случайного собеседника.

— А, Майкл. Как по-твоему, зачем я сюда хожу?

— Ждать конца света, сэр.

Сэр Лоренс хихикнул.

— Это мысль, — сказал он. — Когда небеса обрушатся на цивилизацию, здесь, наверно, будет самое лучшее место для наблюдений. Любопытство, вероятно, одна из сильнейших человеческих страстей, Майкл. Мне очень не хотелось бы взлететь на воздух, особенно после обеда, но еще меньше мне хотелось бы пропустить хорошее зрелище. Воздушные налеты все-таки были очень заняты, правда?

Майкл вздохнул.

— Да, — сказал юн. — Война приучила нас думать о вечности; а потом война кончилась, а вечность осталась висеть над нами. Теперь мы не успокоимся, пока не достигнем ее. Можно мне взять у вас сигару, сэр?

— Ну конечно. Я опять перечитывал Фрезера. Удивительно, как далеки от нас всякие суеверия теперь, когда мы поняли высшую истину: что цивилизация не завоюет мира.

Майкл перестал раскуривать сигару.

— Вы действительно так думаете, сэр?

— А как же еще думать? Кто может сомневаться в том, что сейчас, при таком развитии техники, настойчивость человечества приведет его к самоуничтожению? Это неизбежный вывод из всех последних событий. «Per ardua ad astra» — «Под градом ударов увидим звезды».

— Но ведь так всегда было, сэр, и все же мы живем.

— Да, говорят — живем, но я в этом сомневаюсь. Я считаю, что мы живем только прошлым. Я не думаю, нет, не думаю, что о нас можно сказать, будто мы надеемся на будущее. Мы говорим о лучшем будущем, но, по-моему, мы едва ли надеемся на него. Как будто можно возражать против такого положения, но подсознательно мы делаем этот вывод. По той путанице, что мы натворили в течение последних десяти лет, мы ясно чувствуем, насколько большую путаницу мы можем натворить в течение ближайших тридцати лет. Человек может спорить о том, есть ли у осла четвертая нога, но после этого спора осел все-таки будет стоять на четырех ногах.

Майкл вдруг выпрямился и сказал:

— Вы просто беспощадный и злой старый Барт!

Сэр Лоренс улыбнулся.

— Я бы рад признать, что люди действительно верят в человечество и всякую такую штуку, но ты сам знаешь, что это не так, — люди верят только в новизну и в то, чего им хочется добиться. За редкими исключениями все человечество — еще обезьяны, особенно ученая его часть. А если ты дашь в лапы обезьянам порох и горящую спичку, они сами себя взорвут, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Обезьяны в безопасности, только когда они лишены всякой возможности подвергать себя опасности.

— Весело, нечего сказать, — проговорил Майкл.

— Не веселее, чем все остальное, мой милый. Я вот думал недавно: у нас здесь есть один член клуба, он изобрел такую штуку, перед которой все, что было во время войны, — пустяки; необычайно ценный человек. Правительство к нему присматривается. Он поможет другим таким же ценным людям — во Франции, Германии, Америке и России — делать историю. Они все вместе сделают нечто такое, перед чем все, что было до сих пор, побледнеет. Да, ты знаешь, новый лозунг homo sapiens — «Шапка набекрень».

— Так, — сказал Майкл, — ну, а что же вы собираетесь предпринять по этому поводу?

Брови сэра Лоренса поднялись чуть ли не до самых волос.

— Предпринять, мой милый? А что мне, мне предпринимать? Разве я могу пойти и взять за шиворот этого человека и все наше правительство, да и всех других столь же ценных изобретателей вместе с их правительствами? Нет, конечно. Все, что я могу делать, — это курить сигару и говорить: «Бог с вами, милые друзья, и мир вам и покой». Так или иначе, они своего добьются, Майкл. Но, по естественному ходу событий, я до этого не доживу.

— А я доживу, — сказал Майкл.

— Да, мой милый, но ты только подумай, какие будут взрывы, какое зрелище, какие запахи! Ей-богу, тебе еще есть ради чего жить. Иногда мне жаль, что я не твой ровесник. А иногда, — сэр Лоренс вновь раскурил сигару, — не жаль. Иногда мне кажется, что хватит с меня всяких этих штук и что ничего не остается, как только умереть джентльменом.

— Это уже что-то вроде нытья, папа!

— Ну что ж, — сказал сэр Лоренс, покручивая короткий седой ус, — будем надеяться, что я не прав. Но мы идем к тому, что, нажав две-три кнопки, можно будет уничтожить миллионы людей. А какие у нас есть основания думать, будто мы станем такими хорошими, что вовремя откажемся применять эти потрясающие новые игрушки, несущие смерть и разрушение?

— «Когда мало знаешь, воображай всякие ужасы».

— Очень мило сказано. Откуда это?

— Из биографии Христофора Колумба.

— А, старый К.! Иногда я ловлю себя на мысли, что было бы лучше, если бы он не был так чертовски пытлив. В средние века жилось уютней. Еще вопрос, стоило ли открывать этих янки.

— Ладно, — сказал Майкл, — как-нибудь выберемся.

Кстати, насчет этой элдерсоновской истории; я только что видел этого клерка: по-моему, у него не такой вид, чтобы он мог все это выдумать.

— Ах, ты об этом! Но, знаешь, если уж Элдерсон мог проделать такую штуку, тогда все на свете возможно. Это совершенная дикость. Он прекрасно играл в крикет, всегда вел мяч лучше всех. Мы с ним набили пятьдесят четыре очка итонцам. Тебе, наверно, рассказал «Старый Форсайт»?

— Да, он хотел, чтобы я дал работу этому клерку.

— Баттерфилд! Ты узнай, не родня ли он старому садовнику Баттерфилду? Это внесло бы некоторую ясность. Не находишь ли ты, что «Старый Форсайт» несколько утомителен?

Майкл из лояльности по отношению к Флер скрыл свои чувства.

— Нет, мы с ним отлично ладим.

— Он очень прямой человек, это верно.

— Да, — сказал Майкл, — исключительно прямой.

— Но все-таки скрытный.

— Да, — сказал Майкл.

И оба замолчали, как будто за этим выводом крылись «всякие ужасы».

Скоро Майкл встал.

— Уже одиннадцатый час, пора мне идти домой.

Возвращаясь той же дорогой, он мог думать только об Уилфриде. Чего бы он не дал, чтобы услышать от него: «Ладно, старина, все прошло; я все переборол» — и крепко пожать его руку. Почему вдруг человек заболевает страшной болезнью, называемой любовью? Почему она сводит человека с ума? Говорят, что любовь и есть защита против ужасов Барта, против «чрезвычайно ценных» изобретателей. Непреодолимый импульс — чтобы не дать человечеству вымереть! Какая проза, если это так. Ему, в сущности, все равно — будут у Флер дети или нет. Странно, как природа маскирует свои планы хитрая bestия! Пожалуй, она все же перестаралась. Если Барт прав, дети могут вообще выйти из моды. Еще немного — и так оно и будет: кто захочет иметь детей только для того, чтобы иметь удовольствие видеть их взорванными, отравленными или умирающими с голоду? Несколько фанатиков

будут продолжать свой род, но остальные люди откажутся от потомства. Шапка набекрень! Инстинктивно Майкл поправил шляпу, проходя мимо Большого Бэна. Он дошел до площади парламента, как вдруг человек, шедший ему навстречу, круто повернул налево и быстро пошел к Виктория-стрит. Высокая фигура, упругий шаг — Уилфрид! Майкл остановился. Уилфрид идет от Саут-сквера! И вдруг Майкл, пустился вдогонку. Он не бежал, но шел, как только мог быстро. Кровь стучала в висках, он испытывал почти невыносимое напряжение, смятение. Уилфрид, наверно, его видел — иначе он не свернул бы так поспешно, не летел бы сейчас, как черт. Ужас, ужас! Он не мог его догнать — Уилфрид шел быстрее, — надо было просто пуститься за ним бегом. Какое-то исступление охватило Майкла. Его лучший друг — его жена! Нет, хватит! Гордость должна удерживать от такой борьбы. Пусть, делает, что хочет. Майкл остановился, следя за быстро удаляющейся фигурой, и медленно, опустив голову в сползшей набекрень шляпе, повернул домой. Он шел совершенно спокойно, с ощущением, что все кончено. Нечего из-за этого поднимать историю. Не надо скандала, но отступления нет. Пока он дошел до своей площади, он главным образом сравнивал высоту домов с ничтожными размерами людей. Такие букашки — и создали такие громады, залили их светом так, что они сверкают огромной сияющей грудой и не разобрать даже, какого цвета небо. Какую невероятную работу проделывают эти букашки! Смешно думать, что его любовь к другой букашке что-нибудь значит! Он повернул ключ в замке, снял свою нахлобученную шляпу и вошел в гостиную. Темно — никого? Нет. Флер и Тинг-а-Линг лежат на полу у камина. Майкл сел на диван и вдруг заметил, что весь дрожит и так вспотел, будто выкурил слишком крепкую сигару. Флер села, скрестив ноги по-турецки, и неподвижно глядела на него. Он ждал, пока справится с дрожью. Почему она молчит? Почему она сидит тут в темноте? «Она знает, — подумал он, — мы оба знаем, что это конец. Господи, только бы побольше выдержки!» Он взял подушку, засунул ее за спину и откинулся на спинку дивана, положив ногу на ногу. Он сам удивился неожиданному звуку своего голоса:

— Можно мне спросить тебя о чем-то, Флер? И пожалуйста, отвечай мне совершенно искренно — хорошо?

— Да.

— Так вот. Я знаю, что ты меня не любила, когда выходила за меня замуж. Думаю, что и теперь ты не любишь меня. Хочешь, чтобы я ушел?

Казалось, что прошло много, много времени.

— Нет.

— Ты говоришь правду?

— Да.

— Почему?

— Потому что я не хочу.

Майкл встал.

— Ты ответишь еще на один вопрос?

— Да.

— Был здесь Уилфрид сегодня вечером?

— Да... нет. То есть...

Майкл стиснул руки; он увидел, что ее глаза прикованы к этим стиснутым рукам, и застыл.

— Флер, не надо!

— Нет. Он подошел к окну — вон там. Я видела его лицо, вот и все. Его лицо... О Майкл, не сердись на меня сегодня!

«Не сердись!» Сердце Майкла задрожало при этих непривычных словах.

— Да нет же, — пробормотал он. — Ты только скажи мне, чего ты хочешь?

Флер ответила, не шевелясь:

— Хочу, чтобы ты меня утешил.

О, как она знает, что надо сказать и как сказать! И, опустившись на колени, он стал

утешать ее.

XII. НА ВОСТОК

Он не простоял на коленях и нескольких минут, как оба они почувствовали реакцию. Он старался успокоить Флер, а в нем самом нарастало беспокойство. Ей он верил, верил в этот вечер так, как не перил много месяцев. Но что делает Уилфрид? Где он бродит? Лицо в окне — без голоса, без попытки приблизиться к ней! У Майкла ныло сердце — сердце, существования которого он не признавал. Выпустив ее из объятий, он встал.

— Хочешь, я зайду к нему? Если все кончено, то он, может быть... может быть, я...

Флер тоже встала. Сейчас она была совсем спокойна.

— Да, я пойду спать.

С Тинг-а-Лингом на руках она подошла к двери; ее лицо между каштановой шерстью собаки и ее каштановыми волосами было очень бледно, очень неподвижно.

— Кстати, — сказала она, — у меня второй месяц не все в порядке, Майкл. Я думаю, что это, вероятно...

Майкл обомлел. Волнение нахлынуло, захлестнуло, закружило, отняло дар речи.

— С той ночи, как ты принес воздушный шар, — сказала она. — Ты ничего не имеешь против?

— Против? Господи! Против!

— Значит, все в порядке. Я тоже ничего не имею против. Спокойной ночи.

Она ушла. Майкл без всякой связи вдруг вспомнил:

«Вначале было слово, и слово было у бога, и слово было бог». Так он стоял, оцепенев, охваченный огромным чувством какой-то определенности. Будет ребенок! Словно корабль его жизни, гонимый волнами, вдруг пришел в гавань и стал на якорь. Он подошел к окну и отдернул занавесь. Звездная ночь! Дивный мир! Чудесно, чудесно! Но — Уилфрид? Майкл прижался лицом к стеклу. Так прижималось к стеклу лицо Уилфрида. Если закрыть глаза, можно ясно увидеть это. Так нельзя! Человек не собака. Человек за бортом! SOS. Он прошел в холл и вытащил из мраморного ларя свое самое теплое пальто. Он остановил первое встречное такси.

— Корт-стрит. Скорее!

Искать иголку в стоге сена! На Большом Бэне — четверть двенадцатого. Великое облегчение, которое Майкл ощущал, сидя в этом тряском автомобиле, казалось ему самому жестоким. Спасение! Да, это спасение; у него появилась какая-то странная уверенность, словно он увидел Флер внезапно «крупным планом» в резком свете, настоящую, под сетью грациозных уловов. Семья! Продолжение рода! Он не мог ее привязать, потому что он не был частью ее. Но ребенок, ее ребенок, сможет. А быть может, и он тоже с рождением ребенка станет ей ближе. Почему он так любит ее — ведь так нельзя! Они с Уилфридом ослы — это так несовременно, так нелепо!

— Приехали, сэр, какой номер?

— Отлично. Отдохните-ка, подождите меня! Вот вам папироска.

И с папироской в пересохших губах Майкл пошел к подъезду.

В квартире Уилфрида светло! Он позвонил. Дверь открылась, выглянул слуга.

— Что угодно, сэр?

— Мистер Дезерт дома?

— Нет, сэр. Мистер Дезерт только что уехал на Восток.

Его пароход отходит завтра утром.

— Откуда? — упавшим голосом спросил Майкл.

— Из Плимута, сэр. Поезд отходит с Пэддингтонского вокзала ровно в полночь. Вы еще, может, успеете его захватить.

— Как это внезапно, — сказал Майкл, — он даже не...

— Нет, сэр. Мистер Дезерт внезапный джентльмен.

— Ну, спасибо. Попробую поймать его.

Бросив шоферу: «Пэддингтон — гоните всю!» — он подумал: «Внезапный джентльмен!» Замечательно сказано! Он вспомнил совершенно внезапный разговор у бюста Лайонеля Черрела. Внезапной была их дружба, внезапным конец, внезапность была даже в стихах Уилфрида — плодах внезапных переживаний! Глядя то в одно, то в другое окно дребезжащего, подпрыгивающего такси, Майкл ощущал что-то вроде пляски святого Витта. Не дурак ли он? Не бросить ли все это? Жалость — чушь! И все-таки! С Уилфридом отрывался кусок его сердца, и, несмотря ни на что, Майкл хотел, чтоб его друг это знал. Брук-стрит, Парк-Лейн! Пустеющие улицы, холодная ночь, голые платаны, врезанные светом фонарей в темную синеву. И Майкл подумал: «Блуждаем! А где конец, в чем цель? Делать то, что тебе предназначено, — и не думать! Но что мне предназначено? А Уилфриду? Что с ним будет теперь?» Машина пролетела спуск к вокзалу и остановилась под навесом. Без десяти двенадцать, и длинный тяжелый поезд на первой платформе.

«Что делать? — подумал Майкл. — До чего это трудно. Неужели надо его искать по всем вагонам? Я не мог не прийти, старина, — фу, какой бред!» Матросы! Пьяные или подвыпившие. Еще восемь минут! Майкл медленно пошел вдоль поезда. Не прошел он и четырех окон, как увидел того, кого искал. Дезерт сидел спиной к паровозу в ближнем углу пустого купе первого класса. Незажженная папироса во рту, меховой воротник поднят по самые брови, и пристальный взгляд устремлен на неразвернутую газету на коленях. Он сидел неподвижно. Майкл стоял, глядя на него. Сердце у него дико билось. Он зажег спичку, шагнул вперед и сказал:

— Прикуришь, старина?

Дезерт поднял на него глаза.

— Спасибо, — проговорил он и взял спичку. При вспышке его лицо показалось темным, худым, осунувшимся; глаза — темными, глубокими, усталыми. Майкл прислонился к окну. Оба молчали.

— Если едете, сэр, занимайте место.

— Я не еду, — сказал Майкл. Внутри у него все переворачивалось.

— Куда ты едешь? — спросил он вдруг.

— К черту на кулички.

— Господи, Уилфрид, до чего мне жаль!

Дезерт улыбнулся.

— Ну, брось!

— Да, я понимаю! Дай руку!

Уилфрид протянул руку.

Майкл крепко ее пожал.

Прозвучал свисток.

Дезерт вдруг поднялся и повернулся к верхней сетке.

Он достал сверток из чемодана.

— Вот, — сказал он, — возьми эту несчастную рукопись.

Если хочешь — можешь издать.

Что-то сжало горло Майклу.

— Спасибо, старина. Это замечательно с твоей стороны! Прощай!

Лицо Дезерта осветилось странной красотой.

— Ну, пока! — сказал он.

Поезд тронулся. Майкл отошел от окна; он стоял не шевелясь, провожая взглядом неподвижную фигуру, медленно отодвигающуюся от него все дальше, дальше. Вагон за вагоном проходил мимо, полный матросов, — они высывались из окон, шумели, пели, махали платками и бутылками. Вот и служебный вагон, задний фонарь — все смешалось, — багровый отблеск — туда, на Восток, — уходит — уходит — ушел!

И это все, да? Он сунул рукопись в карман пальто. Теперь домой, к Флер. Так уж устроен мир: что одному — жизнь, то другому — смерть. Майкл провел рукой по глазам.

Вот проклятые, полны слез... фу, бред!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. ПРАЗДНИК

Троицын день вызвал очередное нашествие на Хэмстед-Хис; и в толпе гуляющих была пара, которая собиралась утром заработать деньги, а после обеда истратить их.

Тони Бикет, с шарами и женой, спозаранку погрузился в вагон хэмстедской подземки.

— Вот увидишь, — сказал он, — я к двенадцати распродам всю эту чертову музыку, и мы с тобой покутим.

Прижимаясь к нему, Викторина через платье коснулась рукой небольшой опухоли над своим правым коленом. «Опухоль» была вызвана пятьюдесятью четырьмя фунтами, зашитыми в край чулка. Теперь шары уже не огорчали ее. Они давали временное пропитание, пока она не заработает те несколько фунтов, которых не хватало им на билеты. Тони все еще верил в спасительную силу своих драгоценных шаров: уж он такой, этот Тони, хотя, в сущности, его заработки еле-еле их содержат. И Вик улыбнулась. У нее была своя тайна — и теперь она могла безразлично относиться к его позорному торчанию на тротуаре. Она уже подготовила свой рассказ. Из вечерних газет, из разговоров в автобусах с людьми, увлеченными любимым национальным времяпрепровождением, она узнала все, что нужно, о скачках. Она даже говорила о них с Тони, который знал о них все, как и всякий уличный торговец. Она уже подготовила целый рассказ о двух воображаемых выигрышах: совершен, полученный за шитье воображаемых блузок, был поставлен на победителя, взявшего приз в две тысячи гиней, а выигрыш — на победителя в юбилейных скачках, с неплохой выдачей. Вместе с третьим призовиком, которого еще предстояло выбрать, эти выигрыши должны были составить сумму в шестьдесят фунтов, которую она скоро накопит позированием. Все это она выложит Тони и наизусть отбарабанит рассказ о том, как ей необычайно повезло и как она все скрывала от него, пока не скопила всю сумму. Она прижмется лбом к его глазам, если он станет слишком пристально смотреть на нее, и зацелует его так, что у него голова закружится. А наутро они встанут и купят билеты на пароход. Вот какой план был у Викторины, а пять десятифунтовых и четыре фунтовых бумажки были уже зашиты в чулок, пристегнутый розовой шелковой подвязкой.

«Отдых дриады» был давно закончен и выставлен в галерее Думетриуса вместе с другими произведениями Обри Грина. Викторина заплатила шиллинг, чтобы посмотреть картину, и несколько минут простояла, украдкой поглядывая на белое тело, сверкающее среди травы и пестрых цветов, и на лицо, которое как будто говорило: «Я знаю тайну».

«Просто гений этот Обри Грин. Лицо совершенно изумительно!» Испугавшись, пряча лицо. Викторина убежала.

С того дня, как она стояла, дрожа, у дверей студии Обри Грина, она все время работала. Он рисовал ее три раза — всегда приветливый, всегда вежливый — настоящий джентльмен! И он рекомендовал ее своим друзьям. Одни рисовали ее в платье, другие — полуодетой, третьи — «нагой натурой», что больше уже не смущало ее, — а Тони ни о чем не подозревал, и край чулка набухал от денег. Не все были с ней «вежливы»; некоторые делали попытки поухаживать, но она пресекала их в корне. Конечно, деньги можно было бы заработать быстрее, но — Тони! Зато через две недели она сможет все-все бросить! И часто по дороге домой она останавливалась у зеркальной витрины, где были фрукты, и колосья, и синие бабочки...

В переполненном вагоне они сидели рядом, и Бикет, держа лоток на коленях, обсуждал, где ему лучше стать.

— Я облюбую местечко поближе к пруду, — говорил он. — Там у публики будет больше денег, пока не потратятся на карусели да орехи; а ты можешь посидеть на скамье у

пруда, как на пляже, — нам лучше быть врозь, пока я не распродам все.

Викторина сжала его локоть.

На валу и дальше по лугу со всех сторон плыла веселая праздничная толпа с бумажными кулками. У пруда дети с тонкими, серовато-белыми слабыми ножками плескались и верещали, слишком довольные, чтобы улыбаться. Пожилые пары медленно проползали, выпятив животы, с изменившимися от напряжения лицами, устав от непривычного подъема. Молодежь уже разбежалась в поисках более головокружительных развлечений. На скамьях, на стульях из зеленой парусины или крашеного дерева сотни людей сидели, глядя себе под ноги, как будто воображая морские волны. Три осла, подгоняемые сзади, трусили рысцей вдоль берега пруда, катая желающих. Разносчики выкрикивали товары. Толстые смуглые женщины предсказывали судьбу. Полисмены откровенно следили за ними. Какой-то человек говорил не останавливаясь, обходя всех со шляпой.

Тони Бикет снял с плеча лоток. Его ласковый хриловатый голос с неправильным выговором без передышки предлагал цветные воздушные шары. Торговля шла бойко, шары так и расхватывали! Он то и дело поглядывал на берег пруда, где в парусиновом кресле сидела Викторина, не похожая ни на кого, — он был в этом уверен!

— Вот шарики, шарики, замечательные шарики! Шесть штук на шиллинг! Вам большой, сударыня? Всего шесть пенсов! Размер-то какой! Купите, купите! Возьмите шарик для мальчугана.

Тут хотя «олдерменов» и не было, но множество людей охотно платили за яркий, веселый шарик.

Без пяти двенадцать он сложил лоток — ни единого шара не осталось! Будь на неделе шесть праздничных гуляний — он нажил бы капитал! С лотком под мышкой он пошел вокруг пруда. Ребятишки славные, но — господи ты боже мой — до чего худы и бледны! Если у них с Вик будет малыш... нет, невозможно, — по крайней мере пока они не уедут туда. Толстый загорелый малыш гоняется за синими бабочками, и от него так и пышет солнцем! Завернув у конца пруда, он медленно пошел вдоль кресел. Вот она сидит, откинувшись в кресле, скрестив ноги в коричневых чулках и коричневых туфлях с язычками, — до чего хороша! В каком-то своем, особом мире. Что-то сжало горло Бикету. Господи! Как ему хотелось все для нее сделать!

— Ну, Вик, о чем думаешь?

— Я думала об Австралии.

— А-а! Ну, этого еще бог весть как долго ждать! Но это пустяки — видишь, я продал все дочиста! Что мы будем делать — походим под деревьями или сразу пойдем на карусель?

— На карусель! — ответила она.

«Долина здоровья» была заполнена восторженной толпой. Толпа плыла непрерывным, медленным и молчаливым потоком под крики владельцев палаток и каруселей и продавцов кокосовых орехов.

— Бей, кати, поддавай! А ну, кто попробует?.. Пенни удар... Кому на карусель?.. Мороженое, мороженое!.. Бананы, замечательные бананы!

Тридцать подвесных кресел гигантской карусели под огромным зонтиком были заняты девушками и молодыми людьми. Под музыку — кругом — быстрее, быстрее, пока не натянется цепь; откинуться назад — ноги вытянуть; смех и разговоры смолкли, напряженные, чуть растерянные лица, руки, крепко впившиеся в поручни. Быстрее, быстрее — потом медленнее, пока не остановишься и не замолчит музыка.

— Вот чудно! — прошептала Викторина. — Пойдем, Тони.

Они вошли в загородку, уселись в кресла. Викторина инстинктивно крепче скрестила ноги и, ухватившись за цепь, наклонилась в сторону движения. Она приоткрыла губы.

— Тони, милый!..

Быстрее, быстрее — каждый нерв, каждый мускул отдать движению. О-о-о! Что за чувство — лететь так, над всем светом. Быстрее, быстрее! Медленнее, медленнее, и — спуск

на землю.

— Токи, это просто рай!

— Чудно как-то внутри, когда тебя так заносит!

— Я бы хотела взлететь под самую крышу. Давай еще раз.

— Ладно!

Прокатились еще два раза — половина выручки с шаров! А, не все ли равно? Тони нравилось смотреть на ее лицо. После этого — шесть ударов по шару, и ни разу не попали, и по порции мороженого на брата! Потом под руку пошли разыскивать местечко, где бы позавтракать. Эти минуты отдыха, после имбирного пива и бутербродов, были самыми блаженными минутами для Бикета; покуривая дешевый табак и положив голову на колени жене, он глядел в синее небо — долго-долго. Викторина встрепенулась первая.

— Пойдем посмотрим на танцы.

На зеленой, лужайке, окаймленной песчаной дорожкой, десятка два пар танцевали под оркестр.

Викторина потянула мужа за рукав.

— Мне так хочется пройтись разок, Тони!

— Ну что ж, идет! — согласился Бикет. — Вон тот одноногий подержит мой лоток.

Они вошли в круг.

— Обними меня крепче, Тони!

Бикет послушался — на это он всегда был готов. Медленно задвигались ноги — в одну сторону, потом в другую. Почти не сходя с места, они делали повороты в такт музыке, забыв обо всем на свете.

— Ты славно танцуешь, Тони!

— А ты-то! Просто чудо! — шепнул Бикет.

В перерывах, отдышавшись, они подходили проверить — тут ли одноногий с лотком; потом снова шли в круг, пока оркестр не кончил играть.

— Честное слово, — сказала Викторина, — ведь на пароходе тоже бывают танцы. Тони!

Тони крепче сжал ее талию.

— Я добьюсь этого, хоть бы мне пришлось ограбить банк. Я пойду для тебя на все, Вик.

Викторина только улыбалась: она-то уже добилась своего!

Толпа, разгоряченная, усталая, веселая, двигалась по полю битвы, усеянному бумажными кулками, банановой кожурой и обрывками газет.

— Давай выпьем чаю и еще разок прокатимся на карусели, — сказал Бикет, — потом перейдем на ту сторону, в рощу.

На той стороне, в роще, гуляли пары. Солнце медленно заходило. Тони и Вик сидели под деревом и смотрели на закат. Легкий ветер шуршал в листве берез. Смолкли голоса людей. Как будто все пришли сюда искать тишины, ждть темноты и уединения. Изредка бесшумно шмыгал какой-нибудь шпион, разглядывая пары.

— Вот лисицы! — сказал Бикет. — Ух, с каким удовольствием я бы им расквасил носы!

Викторина вздохнула, крепче прижимаясь к нему. Ктото заиграл на гитаре; зазвучал голос. Смеркалось, где-то всходила луна, и маленькие тени крались по земле.

Они говорили шепотом. Казалось, нельзя повышать голос, казалось — они в заколдованной роще. — Они и говорили-то мало. Роса покрыла траву, но они ее не замечали, Рука с рукой, щека к щеке, они сидели совершенно тихо. Бикет думал: вот это настоящая поэзия, самая настоящая. Темнота, бледные серебристые отблески, звуки пьяной песни, гул запоздалых машин, возвращающихся с севера, и вдруг — уханье совы.

— Ой, сова! — Викторина вздрогнула. — Только подумай! Я когда-то слышала сову в Норбитоне. Ведь это не плохая примета, нет?

Бикет встал, потягиваясь.

— Пойдем, — сказал он, — вот это был день! Смотри только не простудись!

Под руку они медленно вышли из темноты березовой рощи, радуясь фонарям, уличному шуму и людному вокзалу, словно пересытятся уединением.

Забравшись в угол вагона подземки, Бикет лениво просматривал брошенную кем-то газету. А Викторина думала о такой массе вещей, что ей казалось, будто она ни о чем не думает. Карусель, темная роща, деньги в чулке. Странно, что Тони не замечает, как они шуршат, — а держать их больше негде. Что это он так пристально рассматривает? Она заглянула через его плечо и прочла: «Отдых дриады» — поразительная картина Обри Грина на выставке в галерее Думетриуса».

У Викторины замерло сердце.

— Вот так штука! — сказал Бикет. — Смотри, правда, похоже на тебя?

— На меня? Нет!

Бикет всмотрелся в газету.

— Нет, похоже. Совсем ты, как вылитая! Я вырежу ее. Вот бы посмотреть эту картину!

Кровь хлынула к щекам Викторины — так быстро заколотилось сердце!

— Это неприлично, — проговорила она.

— Не знаю — прилично или нет, только ужас до чего похоже на тебя. Даже улыбка — и то твоя.

Сложив газету, он стал отрывать лист с картиной. Мизинец Викторины прижался к пачке бумажек в чулке.

— Странно, — сказала она, — подумать только, что люди могут быть так похожи друг на друга.

— Никогда не думал, что кто-нибудь может быть похож на тебя. Чэринг-Кросс — нам пересадка.

В суতোлке крысиных ходов подземки она тихонько сунула руку в его карман, и вскоре обрывки разорванной бумаги упали на землю за Викторинной, пробиравшейся в толкотне вслед за мужем. Лишь бы он не вспомнил, где выставлена эта картина.

Ночью она не спала и думала:

«Все равно! Я все-таки достану остальные деньги — вот и все!» Но сердце ее странно екнуло — как будто она вдруг ступила на край зыбкой трясины.

II. СЛУЖЕБНЫЕ ДЕЛА

Майкл сидел и правил гранки книги «Подделки», которую оставил ему Уилфрид.

— Можете принять Баттерфилда, сэр?

— Могу.

Имя Баттерфилда вызвало в Майкле чувство неловкой гордости. Молодой человек с неизменно возрастающим успехом выполнял должность, на которую был взят на пробу четыре месяца назад. Главный агент даже назвал его «находкой». После издания «Медяков» он был вторым достижением Майкла. Книготорговцы покупали плохо, но Баттерфилд распродал книги — так по крайней мере Майклу говорили; у него был особый дар внушать доверие там, где оно не могло оправдаться. Дэнби и Уинтер даже поручили ему распространить частным образом роскошное нумерованное издание «Дуэта», которым они хотели покрыть убытки от простого издания этой книги. Сейчас Баттерфилд распространял книгу по списку: туда входили люди, которые как будто должны были поддержать автора этого небольшого шедевра. Такой личный подход к покупателю предложил сам Баттерфилд.

— Видите ли, сэр, — сказал он Майклу, — я немного знаком с системой Куэ. Конечно, на торговцах ее не попробуешь — они ни во что не верят. Да и чего от них ждать? Каждый день они покупают всякие книги, руководствуясь только тем, что у них обычно идет в продажу. Вряд ли вы найдете одного из двадцати, который поддержал бы новое начинание. Но некоторым джентльменам и особенно некоторым леди можно внушить мысль, как делает Куэ, — внушать им ежедневно всеми способами, что данный автор становится все более и более знаменитым, — и десять против одного, что в следующий раз, когда вы к ним зайдете,

эта мысль засядет у них в подсознании, особенно если вам удастся застать их после обеда или завтрака, когда они чуточку осовели. Дайте срок, сэр, и я это издание для вас продам.

— Ну, знаете, — ответил Майкл, — если вы сможете внушить людям, что мой родитель имеет будущее, то вы заслуживаете больше, чем причитающиеся вам десять процентов.

— Я могу это сделать, сэр. Тут вся суть только в вере.

— Но сами-то вы неверующий?

— Нет, что касается автора, то не совсем. Но я верю, что я могу их заставить поверить, вот в чем суть.

— Понимаю, фокус с тремя картами: внушите людям, даже если сами не верите, что карта тут, и они возьмут ее. Ну, а разочарование наступает не сразу. Вы успеете закрыть за собой дверь. Что же, валяйте!

Баттерфилд только улыбнулся...

Неловкость примешивалось к гордости Майкла потому, что «Старый Форсайт» без конца повторял ему, что ничего не знает — не может сказать, верно ли то, что Баттерфилд рассказал об Элдереоне, — и дальше ни с места...

— С добрым утром, сэр. Можете уделить мне пять минут?

— Входите, Баттерфилд. Засыпались с «Дуэтом»?

— Нет, сэр. Я уже продал сорок экземпляров. Тут другое дело. — И, бросив взгляд на закрытую дверь, он подошел ближе.

— Я иду по списку в алфавитном порядке. Вчера я дошел до «Э», — он понизил голос: — мистер Элдереон.

— Фью! — сказал Майкл. — Его-то вы можете пропустить.

— В том-то и дело, сэр, что я его не пропустил.

— Как? Пошли в атаку?

— Да, сэр. Вчера вечером.

— Молодец, Баттерфилд! Ну, и что же?

— Я не назвал своей фамилии — просто просил передать ему карточку фирмы.

Майкл заметил, что в голосе Баттерфилда зазвучало очень понятное злорадство.

— Ну?

— Мистер Элдереон, сэр, кончал обедать. Я заранее подготовился и сделал вид, что я его никогда раньше не встречал. И поразило меня то, что он принял это как должное!

— Не выкинул вас за дверь?

— Наоборот, сэр. Он сразу сказал: «Запишите за мной два экземпляра».

Майкл рассмеялся.

— Ну и нахалы же вы оба.

— Нет, сэр, в том-то и дело. Мистер Элдереон был очень недоволен. Ему это было неприятно.

— Не понимаю, — сказал Майкл.

— Неприятно, что я служу у вас, сэр. Ведь он знает, что вы здесь компаньон и что мистер Форсайт — ваш тесть, не правда ли?

— Знает, конечно.

— Вот видите, сэр, и выходит, что два директора поверили мне, а не ему. Вот почему я его и не пропустил. Я решил, что это его немного встряхнет. Я случайно увидел его лицо в зеркале, когда уходил. Он, по-моему, здорово струсил.

Майкл грыз указательный палец, испытывая что-то вроде сочувствия к Элдереону, как к мухе, на которую паук накинул свою первую петлю.

— Спасибо, Баттерфилд.

Когда тот ушел, он сел, царапая перочинным ножом промокашку на столе. Что это, своеобразное «классовое» чувство? А может быть, просто сочувствие к преследуемому, нервная дрожь при мысли, что человеку некуда скрыться? Ибо тут, безусловно, были явные улики, и ему придется сообщить об этом отцу и «Старому Форсайту». Очевидно, храбрость покинула Элдереона, иначе он бы сказал: «Наглый негодяй! Сейчас же убирайтесь вон!»

Ясно, что это было бы единственно правильное поведение не повинного ни в чем человека и единственно разумное поведение человека виновного. Что ж! Нервы иногда сдают — даже самые крепкие. Взять хотя бы корректуру, которую он только что закончил:

ПОЛЕВОЙ СУД

Я человек — не лучше вас, не хуже:

Кровь, нервы, мускулы, костяк.

Легко ль мне было драться в дождь и в стужу?

Попробовали б сами так!

Когда бы вы умели — не блистать

Мундиром, выправкою бравою.

А вместе с нами мерзнуть, голодать, Тогда б сказать имели право:

«Его из всех, кто был тогда в бою, За трусость расстреляйте первым!

Кто служит родине и королю,

Не знает, что такое нервы!»

Эх, Уилфрид, Уилфрид!

— В чем дело, мисс Перрен?

— Письмо к сэру Джемсу Фоггарту, мистер Монт; вы просили вам напомнить. И потом — вы можете принять мисс Мануэлли?

— Мисс Ман... О-о, да, конечно!

Маленькая жена Бикета, чье лицо использовано для обложки сторбертовского романа, натурщица для картины Обри Грина! Майкл встал: она уже была в комнате.

«Ага, помню это платье, — подумал он. — Флер никогда его не любила».

— Чем могу быть полезен, миссис Бикет? А как поживает Бикет, кстати?

— Ничего, сэр, спасибо.

— Все еще торгует шарами?

— Да.

— Ну, все мы связаны с воздушными шарами.

— Как вы сказали?»

— Висим в воздухе — не так ли? Но ведь вы не об этом хотели со мной поговорить?

— Нет, сэр.

Легкий румянец на впалых щеках, пальцы теребят поношенные перчатки, губы неуверенно полуоткрыты; но глаза смотрят прямо — удивительное существо, честное слово!

— Помните, сэр, вы дали мне записку к мистеру Грину?

— Да, и я видел, что из этого вышло, — картина замечательная, миссис Бикет.

— Да, но она попала в газеты; мой муж вчера увидел ее — а он ведь ничего не знает.

Фью! Ну и подвел он эту девочку!

— Я заработала на этом много денег, сэр, почти хватит на билеты в Австралию. Но теперь я боюсь. Он говорит: «Смотри, как похоже на тебя». Я разорвала газету, но что если он запомнил название галереи и пойдет посмотреть картину? Там я еще больше похожа на себя. Он может дойти до мистера Грина. Так вот, не поговорите ли вы с мистером. Грином, сэр, и не попросите ли его сказать, что это — совсем не я, в случае если Тони пойдет к нему?

— Конечно скажу, — сказал Майкл. — Но почему вы боитесь, что Бикет рассердится, раз это вас так выручило? Ведь профессию натурщицы можно считать вполне приличным ремеслом.

Викторина прижала руки к груди.

— Да, — сказала она просто. — Я вела себя совершенно прилично. И я взялась за это только потому, что нам так хочется уехать, и я не могу выносить, не могу видеть, как он стоит на тротуаре и продает эти шары в сырости и в тумане. Но сейчас, сэр, я так боюсь.

Майкл посмотрел на нее.

— Да, — сказал он, — скверная штука — деньги.

Викторина слабо улыбнулась:

— Хуже, когда их нет, сэр.

— Сколько вам еще не хватает?

— Еще только около десяти фунтов, сэр.

— Это я могу вам одолжить.

— О, спасибо! Но не в этом дело — я легко могу их заработать, я уже привыкла; еще несколько дней не играют роли.

— А как же вы объясните, откуда вы достали деньги?

— Скажу, что выиграла на скачках.

— Слабо, — сказал Майкл. — Слушайте, скажите, что вы пришли ко мне и я вам дал их в долг. Если Бикет захочет мне их прислать из Австралии, я могу снова переслать их туда на ваше имя. Я вас очень подвел, и я хотел бы вас выручить.

— О нет, сэр! Вы мне оказали большую услугу. Я не хочу, чтобы вы лгали из-за меня.

— Это меня ничуть не смущает, миссис Бикет. Я могу врать без запинки, если это безвредная ложь. Самое главное — это поскорее вам уехать. Много есть еще картин, писанных с вас?

— Да, уйма, — только там меня не узнать — они такие странные, как будто из кубиков.

— Обри-то нарисовал вас как живую.

— Да, Тони сказал, что это вылитая я.

— Вот именно. Ладно, я поговорю с Обри, я его увижу за завтраком. Вот вам десять фунтов. Значит — решено. Вы сегодня были у меня — понятно? Скажите, что вас просто осенило. Я совершенно вас понимаю. Вы для него готовы на что угодно, а он — для вас. Ну ладно, ладно, не надо плакать!

Викторина судорожно глотнула воздух. Рука в поношенной перчатке ответила на пожатие Майкла.

— Я на вашем месте сказал бы ему все сегодня же, — добавил Майкл, — а я подготовлю остальное.

Когда она ушла, он подумал: «Надеюсь, Бикету не придет в голову, что я получил вознаграждение за эти шестьдесят фунтов!» — и, нажав кнопку звонка, он снова стал царапать промокашку на столе.

— Вы звонили, мистер Монт?

— Да, будем продолжать, мисс Перрен.

«Уважаемый сэр Джемс Фоггарт, мы уделили чрезвычайное внимание Вашему весьма интересному... м-м... труду. Хотя мы и считаем, что Ваши взгляды на теперешнее положение Великобритании среди других стран изложены прекрасно и представят большой интерес для каждого... м-м... вдумчивого человека, но мы не уверены, что таких людей... м-м... достаточно, чтобы книгу можно было издать без убытка. Мы опасаемся, как бы Ваша... м-м... точка зрения, что Великобритания должна искать спасения в распределении рынков, населения, спроса и предложения в пределах самой империи, к тому же изложенная чрезвычайно прямолинейно, не вызвала злобу всех политических партий, мы также считаем, что Ваше предложение — вывозить из Англии целые партии мальчиков и девочек, пока их еще не успела испортить городская цивилизация, — только вызовет раздражение у рабочего класса, понятия не имеющего о жизни вне своей страны и, как известно, не желающего дать своим детям возможность попытаться счастья в других краях».

— Так и написать, мистер Монт?

— Да, только чуть-чуть смягчите. М-м... «И, наконец, Ваш взгляд на то, что на земле надо сеять хлеб, так необычен в наши дни, что мы предчувствуем враждебные выпады против Вашей книги во всей печати, исключая, пожалуй, старой гвардии, неунывающих консерваторов и нескольких понимающих людей».

— Дальше, мистер Монт.

— «В период неустойчивого равновесия», так и напишите, мисс Перрен, «при полной нереальности надежд, устаревших и сданных на свалку», почти так и напишите, мисс Перрен, «ни один план с расчетом на будущее и с откладыванием урожая еще на двадцать лет не может рассчитывать на популярность. Из этого Вы сами поймете причину, почему

Вы... м-м... должны искать себе другого издателя». Словом — спасибо, что-то не хочется. «Остаемся с... — ну, там сами знаете, с чем, — уважаемый сэръ Джемс Фоггарт, Ваши покорные слуги Дэнби и Уинтер». Когда вы это переведете, мисс Перрен, принесите, я подпишу.

— Хорошо. Но, мистер Монт, я думала, вы — социалист. А ведь это... вы простите, что я спрашиваю.

— Мисс Перрен, я недавно обнаружил, что время всяких ярлычков прошло. Как может человек быть кем-то определенным, когда все висит в воздухе? Возьмите либералов. Им видеть ситуацию мешает свобода торговли; лейбористской партии — налог на капитал; а консерваторам — идеи протекционизма; словом, все они опутаны лозунгами. Старый сэръ Джемс Фоггарт чертовски прав, но никто не подумает его слушать. Его книга — только перевод бумаги, если ее кто-либо издаст. Мир сейчас — очень нереальная штука, мисс Перрен, а из всех стран — мы самая нереальная.

— Почему, мистер Монт?

— Почему? Да потому, что мы с большим упорством, чем любая другая нация, держимся за то, что, в сущности, у нас, как ни в одной другой стране, давным-давно лопнуло. Во всяком случае, нечего было мистеру Дэнби поручать мне это письмо, если он не собирался меня развлекать. Да, кстати, раз мы об этом заговорили, мне придется отказаться от новой книги Хэролда Мастера: может, это ошибка, но они не желают ее печатать.

— Но почему же, мистер Монт? Ведь «Рыдающая черепаха» имела такой успех!

— Да, но в новой книжке у Мастера появилась определенная мысль, которая неизбежно заставляет его что-то сказать. Уинтер говорит, что те, кто расхвалил «Рыдающую черепаху» как величайшее произведение искусства, конечно за это на него накинута; а мистер Дэнби называет эту книгу клеветой на человечество. Так что все против нее. Ну, давайте писать.

«Дорогой Мастер!

В увлечении своей темой Вы, очевидно, сами не заметили, как испортили всю музыку. В «Рыдающей черепахе» Вы вполне сыгрались с половиной оркестра, причем с самой... м-м... шумной половиной. Вы были очаровательно архаичны и достаточно хладнокровны. Что же Вы теперь наделали? Взяли в герои последнего туземца с Маркизских островов и переселили его в Лондон. Ваш роман — едчайшая сатира, настоящая критика жизни. Я уверен, что Вы не хотели писать о современности или копаться в нашей действительности; но тема увлекла Вас за собой. Холодная едкость и хладнокровие — вещи разные, сами понимаете, не говоря уже о том, что Вам пришлось отказаться от архаического стиля. Конечно, я лично считаю новый роман во сто раз лучше «Рыдающей черепахи» — то была приятная книжечка, о которой и сказать, в сущности, нечего. Но я не публика, и я — не критика. Молодые и худые будут огорчены тем, что Вы недостаточно современны, они скажут, что вы морализируете; старые и толстые назовут Вас скептиком, разрушителем, а рядовые читатели примут Вашего островитянина всерьез и обидятся, что он у Вас лучше них. Как видите, перспектива не из веселых. Как же, по-вашему, мы «провернем» такую книжку? Очевидно, никак. Таково решение издательства. Я с ним не согласен: я издал бы книгу завтра же; но ничего не поделаешь, раз все в руках Дэнби и Уинтера. Итак, с большим сожалением я возвращаю то, что считаю настоящим произведением искусства.

Всегда Ваш Майкл Монт.

— А знаете, мисс Перрен, по-моему, вам не надо это переводить.

— Да, боюсь, это будет трудно.

— Отлично; но первое письмо обязательно переделайте. Я сейчас повезу жену на выставку; к четырем вернусь. Ах да, если тут зайдет один человек по фамилии Бикет — он когда-то у нас служил, — и спросит меня, пусть его проведут сюда. Только надо меня предупредить. Вы скажете об этом в конторе?

— Конечно, мистер Монт. Да, я хотела... скажите, не с этой ли мисс Мануэлли написана обложка для романа мистера Сторберта?

— Именно, мисс Перрен. Я сам ее отыскал.

- Очень интересное лицо, правда?
- Боюсь, что единственное в своем роде.
- По-моему, в этом нет ничего плохого.
- Как сказать, — проговорил Майкл и стал ковырять промокашку.

III. «ОТДЫХ ДРИАДЫ»

Флер, изящная как всегда, умело скрывала то, что Майкл называл «одиннадцатым баронетом», — он должен был появиться месяца через два. Она как будто душой и телом приспособилась к спокойному и неуклонному коллекционированию наследника. Майкл знал, что с самого начала, по совету матери, она пыталась влиять на пол будущего ребенка, повторяя перед сном и утром слова: «Изо дня в день, из часа в час он все больше становится мальчиком», — это должно было повлиять на подсознание, которое, как теперь уверяли, направляет ход событий; и она никогда не говорила: «Я обязательно хочу мальчика», потому что это, вызвав реакцию, привело бы к рождению девочки. Майкл заметил, что она все больше и больше дружит с матерью, как будто французские черты самой Флер были больше связаны с процессами, происходившими в ее теле. Она часто уезжала в Мейплдерхем в машине Сомса, а ее мать часто гостила на Саут-сквер. Присутствие красивой Аннет, в ее излюбленных черных кружевах, всегда было приятно Майклу, который не забыл, как она его поддержала в то время, когда все надежды казались потерянными. Хотя он все еще чувствовал, что не проник дальше порога в сердце Флер, и готовился играть вторую скрипку при «одиннадцатом баронете», все же после отъезда Уилфрида ему стало много легче. Его забавляло и трогало, что Флер сосредоточила все свои коллекционерские инстинкты на чем-то, не принадлежащем ни к какой эпохе, одинаково свойственном всем векам.

В сопровождении самого Обри Грина экспедиция на выставку в галерею Думетриуса отбыла из Саут-сквер после раннего завтрака.

— Ваша дриада заходила сегодня утром ко мне, Обри, — сказал Майкл в автомобиле. — Она хотела, чтобы я попросил вас всячески отпираться, если ее муж налетит на вас с обвинениями за то, что вы рисовали его жену. Он где-то видел репродукцию с картины.

— Гм-м-м, — пробормотал художник. — Что вы скажете, Флер, нужно отпираться?

— Конечно, Обри, непременно.

Улыбка Обри скользнула от Флер к Майклу.

— Как его фамилия?

— Бикет.

Обри Грин устремил глаза в пространство и медленно произнес:

Озлившийся Бикет сердито

Сказал мне: «Вы будете биты:

Как две капли — жена,

И притом — обнажена,

Мистер Грин, постыдились бы вы-то!» — Обри, как не стыдно!

— Бросьте, Обри, — оказал Майкл. — Я говорю серьезно. Она страшно храброе маленькое существо. Она заработала деньги, которые им были нужны, и осталась вполне порядочной женщиной.

— Что касается меня — несомненно.

— Я думаю!

— Почему, Флер?

— Вы не губитель женщин, Обри.

— По правде говоря, она возбуждала во мне эстетическое чувство.

— Вот уж что не спасло бы ее от некоторых эстетов! — сказал Майкл.

— А кроме того, она из Пэтни.

— Вот это — уважительная причина. Значит, вы непременно дадите отпор, если Бикет

к вам разлетится?

Обри Грин положил руку на сердце.

— Вот и приехали.

Забываясь об одиннадцатом баронете, Майкл выбрал час, когда истинные поклонники Обри Грина еще завтракали. Растрепанный юноша и три бледно-зеленые девицы одиноко бродили по галерее. Художник сразу провел их к своему шедевру; несколько минут все стояли перед картиной, как подобало, словно парализованные. Сразу рассыпаться в похвалах было неудобно; заговорить слишком поздно — тоже бестактно; говорить слишком восторженно прозвучало бы фальшиво; холодно проронить: «Очень мило, очень мило» обидело бы. Сказать прямо: «Знаете, милый, говоря по правде, мне она ни чуточки не нравится», — разозлило бы художника окончательно.

Наконец Майкл тихонько ущипнул Флер, и она сказала:

— Действительно прелесть, Обри, и ужасно похоже, по крайней мере...

— Насколько можно судить. Но, право же, вы удивительно поймали сходство. Боюсь, что Бикет тоже так подумает.

— Бросьте, — сказал художник, — лучше скажите, как вы находите цветовую гамму?

— Прекрасно. Особенно тон тела; правда. Флер?

— Да, только мне кажется, что тень с этой стороны должна бы быть чуть глубже.

— Да? — уронил художник. — Пожалуй!

— Вы уловили дух, — сказал Майкл, — но вот что я скажу вам, дорогой мой, откровенно: в картине есть какойто смысл. Не знаю, что с вами за это сделает критика.

Обри Грин улыбнулся.

— Это в ней была самая худшая черта. Она сама меня на это навела. Фатальная штука — заразиться идеей.

— Я лично с этим не согласен, а ты. Флер?

— Конечно нет; только об этом не принято говорить.

— А пора бы, нечего плестись в хвосте за кафе «Крильон». Знаете, волосы здорово сделаны, и пальцы на ногах тоже — просто так и шевелятся, когда смотришь на них.

— И до чего приятно, когда ноги не изображены в виде всяких кубов. Кстати, Обри, модели похожи на цветы «Мадонны в гроте» Леонардо.

— Вся картина слегка в Леопардовом стиле, Обри. Придется вам с этим примириться.

— Да, Обри, мой отец видел эту картину. Кажется, он на нее зарится. Его поразило одно ваше замечание — про белую обезьяну, помните?

Обри Грин широко развел руками.

— Ну как же! Замечательная обезьяна! Только подумать — нарисовать такую вещь! Есть апельсин, разбрасывать кожуру и спрашивать взглядом: к чему все это?

— Мораль! — сказал Майкл. — Поосторожнее, старина! Ну, всего доброго! Вот наше такси. Идем, Флер. Оставим Обри наедине с его совестью.

В такси он взял ее за руку.

— Бедная птаха, этот Бикет! Что, если бы я наткнулся на тебя, как он — на свою жену!

— Я не выглядела бы так мило.

— Что ты! Гораздо милее, по-моему. Хотя, по правде сказать, она тоже очень мило выглядит.

— Так чего же Бикету огорчаться в наше просвещенное время?

— Чего? Господи, детка! Уж не думаешь ли ты, что Бикет... я хочу только сказать, что мы, люди без предрассудков, считаем, что мы — весь мир. Так вот, это все чепуха. Мы — только маленькая, шумная кучка. Мы говорим так, будто все прежние критерии и предрассудки исчезли; но они исчезли не больше, чем сельские дачки и серенькие городские домишки.

— Почему вдруг такая горячность, Майкл?

— Знаешь, милая, мне просто немножко приелась вся наша компания и ее манера держаться. Если бы эмансипация действительно существовала, это можно было бы

выдержать. Но это не так. Между современностью и тем, что было тридцать лет назад, нет разницы и в десять процентов.

— Откуда ты знаешь? Тебя тогда на свете не было.

— Верно. Но я читаю газеты, говорю со всякими людьми и присматриваюсь к лицам. Наша компания думает, что они — как скатерть на столе, но они только бахрома. Знаешь ли ты, что всего каких-нибудь сто пятьдесят тысяч человек у нас в Англии слышали Бетховенскую симфонию? А сколько же, по-твоему, считают старика Бетховена устаревшим? Ну, может быть, наберется пять тысяч человек из сорока двух миллионов. Где же тут эмансипация?

Он замолчал, заметив, как опустились ее веки.

— Я думала, Майкл, что надо бы переменить занавески у меня в спальне — сделать голубые. Я видела вчера у Хартона как раз тот цвет, какой нужно. Говорят, что голубой цвет хорошо влияет на настроение, теперешние мои занавески слишком кричащие.

Одиннадцатый баронет!

— Все что хочешь, душенька. Сделай голубой потолок, если это нужно.

— Ну нет! А вот ковер тоже можно переменить — я видела чудесный серовато-голубой у Хартона.

— Ну, купи его. Хочешь сейчас съездить туда? Я могу вернуться в издательство подземкой.

— Да, по-моему, лучше съездить, а то еще упушу ковер.

Майкл высунул голову в окно.

— К Хартону, пожалуйста!

И, поправляя шляпу, он посмотрел на Флер. Вот она, эмансипированная женщина!

IV. ОТДЫХ БИКЕТА

Примерно в этот же час Бикет вернулся в свою комнату и поставил на место лоток. Все утро под сенью св. Павла он переживал троицын день. Ноги у него гудели от усталости, и в мыслях было беспокойно. Он тешил себя надеждой, что будет иногда ради отдыха поглядывать на картинку, которая казалась ему почти фотографией Вик. А картинка затерялась! И ведь он ничего не вынимал из кармана — только повесил пальто. Неужели она вылетела в сутолоке или он сунул ее мимо кармана и уронил в вагоне? Ему ведь еще хотелось и оригинал посмотреть. Он помнил, что название галереи начиналось на «Д», и потратил за завтраком полтора пенса на газету, чтобы посмотреть объявления. Наверно, имя иностранное, раз картина с голой женщиной. «Думетриус». Ага! Он самый!

Как только он вернулся на свое место, ему сразу повезло. Тот самый «олдермен», которого он столько месяцев не видел, опять прошел мимо. Словно по наитию, Бикет сразу сказал:

— Надеюсь, что вижу вас в добром здоровье, сэр. Никогда не забываю вашу доброту.

«Олдермен», глядевший вверх, точно увидел на куполе св. Павла сороку, остановился, как в столбняке.

— Доброту? — спросил он. — Какую доброту? Ага, шары! Мне они были ни к чему.

— Конечно, сэр, конечно, — почтительно согласился Бикет.

— Ну, вот вам, — проворчал «олдермен», — только в другой раз не рассчитывайте.

Полкроны! Целых полкроны! Взгляд Бикета провожал удаляющуюся фигуру. «В добрый час!» — тихо пробормотал он и стал складывать лоток. «Пойду домой, отдохну малость, а потом поведу Вик смотреть эту картину. Забавно будет поглядеть на нее вдвоем».

Но Вик не было дома. Он сел и закурил. Ему было обидно, что ее не оказалось дома в первый его свободный день. Конечно, не сидеть же ей весь день в комнате. И все-таки! Он подождал минут двадцать, потом надел костюм и ботинки Майкла.

«Пойду посмотрю один, — решил он. — И стоять будет вдвое дешевле. Пожалуй, сдерут шесть пенсов, не меньше!» С него содрали шиллинг — целый шиллинг, четверть его

дневного заработка! — за то, чтоб посмотреть какую-то картину! Он робко вошел. Там были дамы, которые пахли духами и говорили нараспев, но внешностью они и в подметки не годились его Викторине! Одна из них за его спиной сказала:

— Посмотрите! Вот это сам Обри Грин! А вон его картина, о которой столько говорят, «Отдых дриады».

Дамы прошли мимо Бикета. Он пошел за «ними». В конце комнаты, заслоненная платьями и каталогами, мелькнула картина. Пот проступил на лбу Бикета. Почти в натуральную величину, среди цветов и пушистых трав, ему улыбалось лицо — точный портрет Викторины! Неужели кто-нибудь на свете так похож на нее? Эта мысль была ему обидна: так обиделся бы коллекционер, найдя дубликат вещи, которую он считал уникалом.

— Изумительная картина, мистер Грин! Что за тип! Молодой человек, без шляпы, со светлыми, откинутыми назад волосами, ответил:

— Находка — не правда ли?

— Удивительно — воплощенная душа лесной нимфы! И какая загадочная!

Это самое слово всегда говорили про Викторину! Тьфу, наваждение! Вот она лежит тут — всем напоказ, только потому, что какая-то проклятая баба как две капли воды похожа на нее. Ярость сдавила горло Бикету, кровь бросилась ему в голову, и вместе с тем какая-то странная физическая ревность охватила его. Этот художник! Какое он имел право рисовать женщину, похожую на Вик, — женщину, которая не посовестилась лежать в таком виде! А тут еще эти со всякими разговорами насчет кьяроскуро, и язычества, и какого-то типа Ленеарда! Черт бы побрал их фокусы и кривляние. Он хотел отойти — и не мог, прикованный к этому образу, так таинственно напоминавшему ту, «которая до сих пор принадлежала только ему. Глупо так расстраиваться из-за совпадения, но ему хотелось разбить стекло и раскромсать это тело в клочки. Дамы с художником ушли, оставив его наедине с картиной. Без посторонних было не так обидно. Лицо было тоскливое, грустное, и с такой дразнящей улыбкой! Сущее наваждение, право! „Ладно, — подумал Бикет, — надо пойти домой к Вик! Хорошо, что я ее не привел сюда глядеть на свою копию. Будь я олдерменом, я бы купил эту проклятую штуку и сжег“.

И вдруг у входа Бикет увидел своего «олдермена», разговаривающего с каким-то чумазым иностранцем. Бикет замер в полном изумлении.

— Это вошходящая жвезда, миштер Форшайт, — услышал Бикет, — цены на его вещи поднимаются.

— Все это верно, Думетриус, но не каждому в наш» дни доступна такая цена — слишком дорого!

— Хорошо, миштер Форшайт, вам я уштуплю дешть процентов.

— Уступите двадцать, и я покупаю.

Плечи «чумазого» поднялись вровень с его волосатыми ушами — нет, даже выше! А улыбка-то, улыбка!

— Миштер Форшайт! Пятнадцать, шэр!

— Хорошо, уговорили; только пошлите картину на квартиру к моей дочери, на Саут-сквер — вы знаете адрес? Когда у вас закрывается?

— Пошлежавтра, шэр.

Вот как! Значит, подделка под Вик перешла к этому «олдермену»?

Бикет яростно скрипнул зубами и выскользнул на улицу.

Он испытывал странное чувство. Не зря ли он так волнуется? Ведь в конце концов это не она. Но знать, что другая женщина может так же улыбаться, что у нее такие же черные кудри, те же изгибы тела! И он вглядывался в лицо каждой встречной женщины — ну совсем иное, совсем не похоже на Вик!

Когда он пришел домой, он увидел Вик посреди комнаты, с воздушным шариком у губ. Вокруг нее на полу, на стульях, на столе, на камине лежали надутые шары — весь его запас; один за другим они отлетали от ее губ и садились, куда хотели, — пунцовые, оранжевые, зеленые, красные, синие, оживляя своей пестротой унылую комнату. Все его шары надуты!

А Вик стояла среди них, в своем лучшем платье, улыбающаяся, странно возбужденная.

— Что за представление? — воскликнул Бикет.

Приподняв платье, она вынула из чулка пачку хрустящих бумажек и протянула ему.

— Смотри! Шестьдесят четыре фунта. Тони! Я раздобыла все, что надо. Можем ехать!

— Что?!

— Меня точно осенило — пошла к мистеру Монту, который нам тогда прислал вещи, и он одолжил нам эти деньги. Когда-нибудь мы с ним расплатимся. Ну, разве это не чудо?

Бикет впился испуганными, как у кролика, глазами в ее лицо. Эта улыбка, этот взволнованный румянец! Странное чувство шевельнулось в нем — не обман ли все это? Вик не похожа на Вик! Нет! И вдруг ее руки обвили вокруг его шеи и влажные губы припали к его губам. Она прильнула к нему так, что он не мог шевельнуться. Голова закружилась.

— Наконец! Наконец-то! Как чудесно! Поцелуй меня, Тони.

Бикет обнял ее; его страсть была неподдельна, но за ней, временно заглушенное, вставало чувство какой-то нереальности...

Когда это случилось — вечером или уже ночью пришло первое сомнение призрачное, робкое, настойчивое, неотвязное, оно на рассвете вгрызлось ему в душу, сковало его оцепенением. Деньги — картина — пропавшая газета — и это чувство нереальности. То, что она ему рассказала... Разве так бывает? Зачем мистер Монт станет давать в долг деньги? Она с ним виделась — это несомненно: комната, секретарша — она так безошибочно описала мисс Перрен. Откуда же это грызущее сомнение? Деньги — такая куча денег! С мистером Монтом... нет, никогда! Он настоящий джентльмен. Ох, какая же он свинья, что допускает такую мысль о Вик! Он повернулся к ней спиной, попробовал уснуть. Но разве уснешь, когда заползет такое подозрение? Нет! А ее лицо среди шаров — как она зацеловала его глаза, как замутила ему голову так, что он ни подумать, ни спросить, ни сказать ничего не мог. От смутных подозрений, от тоски и неизвестности, от трепетной надежды и видений Австралии Бикет встал совсем измученный.

— Так, — сказал он за завтраком, запивая какао хлеб с маргарином. Я, во всяком случае, должен повидаться с мистером Монтом, — и вдруг он добавил, глядя ей прямо в лицо: — Вик?

Она ответила на его взгляд так же твердо и прямо — да, прямо. Ох, и свинья же он!..

Когда он ушел, Викторина остановилась посреди комнаты, прижав руки к груди. Она спала еще меньше его. Лежа тихо, как мышь, она без конца думала одно и то же: поверил ли он? поверил ли он? А вдруг не поверил что тогда? Она вынула деньги, за которые было куплено — или продано? их счастье, и еще раз пересчитала их. Обида на его несправедливость жгла ее. Разве ей хотелось стоять в таком виде перед мужчинами? Разве ей все это легко досталось? Да ведь она могла получить эти шестьдесят фунтов три месяца назад от того скульптора, который по ней с ума сходил, — так он по крайней мере уверял ее. Но она выдержала испытание, да, выдержала. Тони совершенно не за что на нее сердиться, даже если б он узнал все. Ведь она это сделала ради него — главным образом ради него, — чтобы он не продавал эти шары во всякую погоду! Если б не она, они так бы и сидели ни с чем, а впереди зима, и безработица, как пишут в газетах, все растет! Опять сидеть в холоде, в тумане! Брр! Ведь у нее все еще иногда побаливает грудь, а он вечно хрипит. И эта тесная комнатка, эта кровать, такая узкая, что невозможно повернуться, не разбудив его. Почему Тони сомневается в ней? А ведь он сомневается. Она поняла это из его робкого «Вик?». Убедит ли его мистер Монт? Тони такой хитрый. Она опустила голову. До чего все на свете несправедливо! У одних есть все, как у хорошенькой жены мистера Монта. А когда пытаешься найти выход и попытаться заново счастья — вот что получается! Она тряхнула волосами. Тони должен ей верить, должен. Если нет — она ему покажет. Она ничего не сделала стыдного. Ничего, совершенно ничего! И как будто стремясь пойти вперед и повести за собой свое счастье, она вынула старый обитый жестью сундучок и аккуратно стала складывать в него вещи.

V. МАЙКЛ ДАЕТ СОВЕТЫ

Майкл все еще сидел над корректурой «Подделок». Кроме «чертовых куличек», у него не было никакого адреса, и послать корректору было некуда. Восток велик, а Уилфрид не подавал признаков жизни. Вспоминает ли о нем теперь Флер? Майклу казалось, что не вспоминает. А Уилфрид — ну, он, вероятно, тоже начал ее забывать. Даже страсть не может жить, не питаясь.

— К вам мистер Форсайт, сэр.

Привидение в царстве книги!

— А, попросите его зайти.

Сомс вошел, неодобрительно оглядываясь.

— Это ваш кабинет? — спросил он. — Я зашел сообщить, что купил эту картину Обри Грина. Найдется у вас, где ее повесить?

— Конечно, найдется, — сказал Майкл. — Превосходная вещь, сэр, не правда ли?

— М-мда, — проворчал Сомс, — по нашим временам не плохо. Он далеко пойдет.

— Он большой поклонник «Белой обезьяны», которую вы нам подарили.

— А-а! Я сейчас занялся китайской живописью. Если я буду и дальше покупать... — Сомс остановился.

— Да, они что-то вроде противоядия, сэр, не так ли? Помните «Земной рай»? А гуси! У них перышки можно пересчитать.

Сомс не отвечал; он, очевидно, думал: «И как это я пропустил эти вещи, когда они только что появились на рынке?» Он поднял зонтик и, словно указывая на все издательское дело, спросил:

— А как Баттерфилд с этим справляется?

— Ах да, я как раз хотел вам сообщить, сэр. Он пришел вчера и рассказал, что видел на днях Элдерсона. Он зашел предложить ему экземпляр нумерованного издания книги, которую написал мой отец. Элдерсон не сказал ни слова и купил две штуки.

— Не может быть!

— Баттерфилду показалось, что его посещение здорово смутило Элдерсона. Ведь он, наверно, знает, что я связан с этой фирмой и что я — ваш зять.

Сомс нахмурился.

— Не знаю, стоит ли дразнить спящую собаку. Ну, во всяком случае, я сейчас иду туда.

— Упомяните о книге, сэр, и посмотрите, как Элдерсон это примет. Не возьмете ли и вы один экземпляр? Вы все равно состоите в списке. Баттерфилд хотел сегодня к вам зайти. Я вас избавлю от отказа. Вот книга очень мило издана. Стоит гинеею.

— «Дуэт», — прочел Сомс. — Это о чем же? Музыка?

— Не совсем. Кошачий концерт с участием призраков Гладстона и Дизраэли.

— Я мало читаю, — сказал Сомс. Он вынул бумажник. — Почему вы не берете за нее фунт? Вот вам еще шиллинг.

— Бесконечно благодарен, сэр. Я уверен, что отец будет страшно доволен, когда узнает, что вы купили книгу.

— Вот как? — Сомс чуть заметно улыбнулся. — А вы здесь работаете когда-нибудь?

— Да, пытаемся кое-что сделать.

— Сколько вы зарабатываете?

— Я лично около пятисот фунтов в год.

— И это все?

— Да, но я считаю, что больше трехсот я и не стою.

— Гм-м! Мне казалось, что вы отошли от своего увлечения социализмом?

— Кажется, да, сэр. Как-то он не вязался с моим положением.

— Да, — сказал Сомс. — Флер выглядит как будто хорошо.

— О, она молодцом. Она продлевает эти упражнения по Куэ, знаете?

Сомс прищурился.

— Это влияние матери, — проворчал он, — я в этом не разбираюсь. До свидания!

Он пошел к двери. Его спина казалась очень положительной и реальной. Он скрылся за дверью, и с ним как будто ушло чувство определенности.

Майкл взял корректуру и прочел два стихотворения. Горькие как хина! Какое волнение, какая тоска в каждом слове! Вот уж где нет ничего китайского! В конце концов люди пожилые, вроде его отца и «Старого Форсайта», правда, по-разному, но все же имеют какую-то опору. «В чем дело? подумал Майкл. — Что у нас неладно? Мы активны, умны, самоуверенны — и все же не удовлетворены. Если бы только что-нибудь нас увлекло или разозлило! Мы отрицаем религию, традицию, собственность, жалость; а что мы ставим на их место? Красоту? Ерунда! С такими-то критериями, как Уолтер Нэйзинг и кафе „Крильон,,? И все же какая-то цель у нас должна быть. Творить лучшую жизнь? Что-то не похоже. Загробный мир? Наверно, мне надо заняться спиритизмом, как сказал бы «Старый Форсайт». Но духи только и делают, что болтаются между загробным миром и нашим, вряд ли они менее взбалмошны, чем мы!» Так куда же, куда мы идем?

«К черту, — подумал Майкл, вставая из-за стола, — попробую продиктовать объявление!» — Мисс Перрен, пожалуйста, зайдите ко мне. Объявление о новой книжке Дезерта для библиографических журналов: «Дэнби и Уинтер в скором времени выпускают стихи „Подделки“. Поэт — автор „Медяков“, имевших непревзойденный успех в текущем году». Как по-вашему, мисс Перрен, сколько издателей в нынешнем году так писало про свои книги? «В новых стихах — тот же блеск и живость, та же изумительная техника, что и в первом сборнике молодого автора».

— Блеск и живость, мистер Монт? Разве это так?

— Конечно нет. Но что сказать — все то же отчаяние и пессимизм?

— Нет, нет. Но, может быть, лучше сказать: «Та же блестящая певучесть, те же изменчивые и оригинальные настроения».

— Можно, только дороже будет стоить. Напишите: «Тот же оригинальный блеск», на это они сразу клюнут. Мы обожаем все «оригинальное», но у нас ничего не выходит: утрировка еще, пожалуй, выходит, а «оригинальное» никак.

— Вот у мистера Дезерта выходит.

— Да, изредка; но больше, пожалуй, ни у кого. Где уж им быть «оригинальными», кишка тонка, — извините за выражение, мисс Перрен.

— Что вы, мистер Монт! Там вас ждет этот молодой человек, Бикет.

— Он пришел, да? — Майкл взял папироску. — Дайте мне собраться с духом, мисс Перрен, и зовите его сюда.

«Ложь во спасение, — подумал он. — Попробуем!» Появление Бикета в комнате, где он был в последний раз по такому неприятному поводу, было отмечено некоторой натянутостью. Майкл стоял у камина с папиросой, Бикет стал спиной к высокой стопке модного романа с надписью: «Изумительный новый роман» на обложке. Майкл кивнул.

— Здорово, Бикет.

Бикет кивнул.

— Как вы поживаете, сэр?

— Замечательно, спасибо.

Наступило молчание.

— Вот что, — наконец проговорил Майкл. — Я предполагаю, что вы пришли по поводу той небольшой суммы, которую я одолжил вашей жене. Вы не беспокойтесь, отдавать не к спеху.

И вдруг он заметил, что маленький человечек ужасно расстроен. И какое странное выражение в этих огромных, как у креветки, глазах, которые как будто хотят выскочить из орбит. Майкл поспешил добавить:

— Я сам верю в Австралию. Я считаю, что вы абсолютно правы, Бикет, и чем скорее вы уедете, тем лучше. Ваша жена неважно выглядит.

Бикет глотнул воздух.

— Сэр, — сказал он, — вы со мной поступили как джентльмен, и мне трудно говорить.

— Ну и не надо.

Кровь хлынула в лицо Бикету, и странным показался румянец на бледном, изможденном лице.

— Вы не так поняли меня, — сказал он. — Я пришел просить вас сказать мне правду, — он вдруг вытащил из кармана бумажку: Майкл узнал смятую обложку романа.

— Я сорвал это с книги на прилавке, там, внизу. Смотрите. Это моя жена?

Он протянул Майклу обложку.

Майкл растерянно глядел на обложку сторбертовского романа. Одно дело произнести «ложь во спасение», заранее ее обдумав, другое дело — отрицать очевидность.

Но Бикет и не дал ему говорить.

— Я по вашему лицу вижу, что это она, — сказал он. — Что же это такое? Я желаю знать правду — я должен знать правду! Если это ее лицо, значит там, в галерее, — ее тело... Обри Грин, то же имя. Что же это значит? — его лицо стало грозным, его простонародный акцент зазвучал резче. — Что за штуку она ее мной разыграла? Я не уйду отсюда, пока вы не скажете!

Майкл сдвинул каблуки по-военному и сказал внушительно:

— Спокойней, Бикет!

— Спокойней! Посмотрел бы я, как вы были бы спокойны, если б ваша жена... И столько денег! Да вы ей никогда и не давали денег — никогда! И не говорите мне об этом!

Майкл принял твердое решение. Никакой лжи!

— Я одолжил ей десять фунтов, чтобы получилась круглая сумма — вот и все; остальное она заработала честным трудом, и вы должны ею гордиться.

Бикет даже раскрыл рот.

— Гордиться? А как она их заработала? Гордиться! Господи ты боже мой!

— В качестве натурщицы, — голос Майкла звучал холодно. — Я сам дал ей рекомендацию к моему другу, мистеру Грину, в тот день, когда вы со мной завтракали. Надеюсь, вы слышали о натурщицах?

Пальцы Бикета рвали обложку, обрывки падали на пол.

— Натурщицы! — воскликнул он. — Для художников — да, слышал, еще бы... Свиньи!

— Не больше свиньи, чем вы сами, Бикет. Будьте добры не оскорблять моего друга. Возьмите же себя в руки, слышите? Закурите-ка!

Бикет оттолкнул протянутый портсигар.

— Я... я так гордился ею, а она со мной вот что сделала! — звук, похожий на рыдание, вырвался из его груди.

— Вы ею гордились, — сказал Майкл, и его голос стал резче, — а когда она делает для вас все, что в ее силах, вы от нее отрекаетесь — выходит так? Что ж, по-вашему, ей все это доставляло удовольствие?

Бикет вдруг закрыл лицо руками.

— Разве я знаю, — пробормотал он чуть слышно.

Жалость волной охватила Майкла. Жалость? Долой!

Он сухо проговорил:

— Перестаньте. Бикет. Вы, кажется, забыли, что вы сами-то сделали для нее?

Бикет отнял руки от лица и дико уставился на Майкла.

— Уж не рассказали ли вы ей об этом?

— Нет, но расскажу непременно, если только вы не возьмете себя в руки.

— Да не все ли мне равно — рассказывайте. Лежать в таком виде перед всем светом! Шестьдесят фунтов! Честно заработала! Думаете, я так и поверил? — Отчаяние звучало в его голосе.

— Ах так! — сказал Майкл. — Да ведь вы просто не верите потому, что вы невежественны, как те свиньи, о которых вы только что говорили. Женщина может сделать то, что сделала ваша жена, и остаться абсолютно порядочной — я вот несколько не

сомневаюсь, что так оно и было. Достаточно посмотреть на нее и послушать, как она об этом говорит. Она пошла на это, потому что не могла вынести, что вы продаете шары. Она пошла на это, потому что хотела вытащить вас из грязи и найти выход для вас обоих. А теперь, когда этот выход найден, вы подымаете такую бучу. Бросьте, Бикет, будьте молодцом! А как, по-вашему, если бы я ей рассказал, что вы для нее сделали, она бы тоже так ныла и выла? Никогда! И вы поступили по-человечески, и она поступила по-человечески, черт возьми! И, пожалуйста, этого не забывайте.

Бикет снова глотнул воздуха.

— Хорошо вам рассуждать, — сказал он упрямо, — с вами таких вещей не бывало.

Майкла сразу охватило смущение. Нет, с ним этого не бывало! И все прежние сомнения относительно Флер и Уилфрида будто ударили его по лицу.

— Слушайте, Бикет, — сказал он вдруг, — неужели вы сомневаетесь в любви своей жены? В этом ведь все дело. Я видел ее только два раза, но я не понимаю, как можно ей не верить. Если бы она вас не любила, зачем же ей тогда, ехать с вами в Австралию, раз она знает, что может заработать здесь большие деньги и весело жить, если захочет. Я могу поручиться за моего друга Грина. Он — сама порядочность, и я знаю, что он не позволил себе ничего лишнего.

Но, глядя Бикету в лицо, он сам подумал: «А все прочие художники тоже были „сама порядочность“?» — Слушайте, Бикет! Всем нам приходится иногда в жизни тяжело — и это для нас хорошая проверка. Вам престо надо верить ей — и все; тут ничего больше не поделаешь.

— Выставляться напоказ перед всем светом! — слова с трудом выходили из пересохшего горла. — Я видел, как картину вчера купил какой-то треклятый олдермен.

Майкл невольно усмехнулся такому определению «Старого Форсайта».

— Если хотите знать, — сказал он, — картина куплена моим тестем нам в подарок и будет висеть в нашем доме. И потом, имейте в виду, Бикет, это превосходная вещь.

— Еще бы! — воскликнул Бикет. — За деньги-то! Деньги все могут купить. Они могут и человека купить со всеми потрохами!

«Нет, — подумал Майкл, — с ним ничего не поделаешь. Какая уж тут эмансипация! Он никогда, вероятно, и не слышал о древних греках. А если и слышал, то считает их сворой распутных иностранцев. Нет, надо этот разговор кончать». И вдруг он увидел, что слезы выступили на огромных глазах Бикета и покатались по впалым щекам.

Вконец расстроившись, Майкл сказал:

— Когда попадете в Австралию, вы обо всем этом даже и не вспомните. Черт возьми, Бикет, будьте же мужчиной! Она сделала это из лучших побуждений. Будь я на вашем месте, я никогда бы и виду не подал, что все знаю. Наверно, и она так поступила бы, если б я рассказал ей, как вы таскали эти злополучные «Медяки».

Бикет сжал кулаки, что до смешного противоречило его слезам, потом, не добавив ни слова, повернулся и поплелся к двери.

«Н-да, — подумал Майкл, — ясно, что давать советы не моя специальность. Несчастный он человечиска!»

VI. КВИТЫ

Шатаясь, как слепой, шел Бикет по Стрэнду. Характер у него от природы был спокойный, и после нервной вспышки он чувствовал себя совершенно больным и разбитым. Солнце и ходьба понемногу восстанавливали способность мыслить. Он узнал правду. Но вся ли это правда? Неужели все эти деньги она заработала без... Если бы он поверил этому, то, может быть, там, далеко от этого города, где люди за шиллинг могут ее видеть голой, все могло бы забыться. Но столько денег! И даже если и так, если все заработано «честно», как утверждает мистер Монт, сколько дней, перед сколькими мужчинами выставляла она свою наготу! Он громко застонал. Мысль о возвращении домой, о предстоящей сцене, о том, что

он мог вдруг узнать во время этой сцены, была просто невыносима. И все-таки надо идти домой. Лучше бы ему стоять на тротуаре и торговать шарами. Вот теперь он свободен впервые в жизни, словно какой-нибудь чертов олдермен, — ему только и дела, что пойти и взять билет туда, к этим распроклятым бабочкам! Но чему он обязан этой свободой? Даже мысль об этом была невыносима, и отвлечься от этой мысли нечем. Лучше бы он спер эти деньги из кассы магазина. Лучше бы на совести лежала кража, чем эта страшная, злая мужская ревность. «Будьте мужчиной!» Легко сказать. «Возьмите себя в руки — ведь она сделала это ради вас!» Лучше бы она этого не делала! Блэкфрайерский мост! Нырнуть туда, в грязную воду, — и конец. Нет, еще раз три всплывешь, а потом тебя выловят живьем да еще посадят за это и ничего не выиграешь, даже не получишь удовольствия от того, что Вик увидит, что она наделала, когда придет опознавать труп. Смерть есть смерть — и ему никогда не узнать, что Вик будет чувствовать после его смерти. Он плелся по мосту, уставившись в землю. Вот и Дич-стрит — как он, бывало, проходя здесь, торопился к Вик, когда она болела воспалением легких. Неужто никогда больше не вернется это чувство? Он пробрался мимо окна и вошел.

Викторина все еще сидела над бурым, обитым жестью сундучком. Она выпрямилась, и ее лицо стало холодным и усталым.

— Ну, я вижу, ты все знаешь, — проговорила она.

Бикету нужно было сделать только два шага в этой крохотной комнатухе. Он шагнул к жене и положил руки ей на плечи. Лицо его пододвинулось вплотную, большие глаза напряженно впились в ее зрачки.

— Я знаю, что ты выставляла себя напоказ перед всем Лондоном; теперь я хочу знать остальное.

Викторина широко открыла глаза.

— Остальное! — в ее голосе даже не звучал вопрос, она просто повторила это слово без всякого выражения.

— Да, — хрипло сказал Бикет, — остальное, ну?

— Если ты думаешь, что было «остальное», — достаточно!

Бикет отдернул руки.

— Ох, ради всего святого, не говори ты загадками, Я и так чуть не спятил.

— Вижу, — сказала Викторина, — вижу, что ты не тот, за кого я тебя принимала. Ты думаешь, мне самой это было приятно?

Она приподняла платье и вынула деньги.

— Вот, возьми. Можешь ехать в Австралию без меня.

— И предоставить тебя этим проклятым художникам! — хрипло крикнул Бикет.

— И предоставить меня самой себе. Бери!

Но Бикет отступил к двери, с ужасом глядя на деньги.

— Нет, я не возьму!

— Но я их не могу оставить себе. Я их заработала, чтобы вытащить тебя из этой ямы.

Наступило долгое молчание. Бумажки лежали между ними на столе — почти новые, хрустящие, чуть засаленные — они таили желанную, долгожданную свободу, счастливую жизнь вдвоем, на солнышке. Так они и лежали; никто не хотел их брать. Что же делать?

— Вик, — сказал наконец Бикет хриплым шепотом, — поклянись, что ты ни разу не позволила им коснуться тебя.

— Да, в этом я могу поклясться.

И она могла улыбаться при этих словах — улыбаться своей загадочной улыбкой! Как верить ей? Столько месяцев она жила, скрывая от него все, а потом — солгала ему! Он опустил на стул около стола и уронил голову на руки.

Викторина отвернулась и стала обвязывать сундучок старой веревкой. Бикет поднял голову, услышав звяканье крышки. Значит, она в самом деле хочет уйти от него? Вся жизнь показалась ему разбитой, пустой, как шелуха ореха на Хэмстед-Хисе. Слезы покатались у него из глаз.

— Когда ты была больна, — сказал он, — я воровал для тебя. Меня за это выкинули со службы.

Она быстро обернулась к нему.

— Тони, ты мне никогда этого не говорил. Что ты крал?

— Книги. Все твое усиленное питание — с этих книг.

Целую минуту она стояла, глядя на него без слов, потом молча протянула руки; Бикет схватил их.

— Мне ни до чего дела нет, — задыхаясь, прошептал он, — клянусь богом! Лишь бы ты любила меня, Вик!

— И мне тоже! Ох, уедем отсюда. Тони, из этой ужасной комнатухи, из этой ужасной страны. Уедем, уедем подальше!

— Да, — сказал Бикет и прижал к глазам ее ладони.

VII. БЕСЕДЫ С ЭЛДЕРСОНОМ

Сомс ушел от Дэнби и Уинтера, думая то об Элдерсоне, то о «Белой обезьяне». Как и предполагала Флер, он крепко запомнил слова Обри Грина об этой картине, уцелевшем обломке жизни Джорджа Форсайта. «Есть плоды жизни, разбрасывать кожуру — и попасться на этом». Сомс пытался применить эти слова к области деловой.

Страна явно проживала свой капитал. При сокращении морских перевозок и кризисе на европейском рынке Англия импортировала продовольствие, за которое не могла расплатиться. По мнению Сомса, они на этом попадутся, и даже очень скоро. Престиж Британии — очень хорошая вещь, предмет восхищения всего мира и все прочее, но нельзя жить без конца одним восхищением. А тут застой в морских перевозках, разорение целого ряда концернов и толпы безработных — веселенькая история, нечего сказать! Даже страхование должно будет пострадать от этого. Может, Элдерсон все это предвидел и заблаговременно обеспечивает себя? Если все равно в конце концов попадешься — какой смысл быть честным? Эта мысль была так цинична, что вся форсайтская натура Сомса восстала против нее, — и все же она навязчиво лезла в голову. Стоит ли при всеобщем банкротстве трудиться, думать о будущем, оставаться честным? Даже консерваторы перестали называться консерваторами — как будто это слово стало смешным и «консервировать» уже нечего. «Есть плоды, разбрасывать кожуру и в конце концов попасться на этом». Этот молодой художник хорошо сказал, и картину он сделал тоже хорошо, хотя Думетриус, как всегда, заломил несуразную цену. Куда Флер повесит картину? Возможно, в холле — там хорошее освещение, а тех, кто у них бывает, вряд ли особенно смутит обнаженное тело. Интересно, куда девались все картины с нагой натурой? Ему как-то не попадались картины с нагим телом — их так же трудно было найти, как пресловутого мертвого осла. Сомсу вдруг представилась вереница умирающих ослов, бредущих на край света с грузом этюдов обнаженного тела. Отгоняя от себя это экстравагантное видение, он поднял глаза и увидел вполне реальный собор св. Павла. Этого бедняги с цветными шарами что-то не видно. Впрочем, все равно сказать ему нечего. По странной ассоциации Сомс вспомнил о цели своего похода — об ОГС и полугодовом отчете. По его предложению они постановили просто списать эти германские дела — чистого убытку на двести тридцать тысяч фунтов! Дивидендов никаких не будет, и даже на следующее полугодие перейдет дебет. Но лучше вырвать гнилой зуб сразу и покончить с этим; акционеры за шесть месяцев до общего собрания привыкнут к потере. Он сам уже привык, и они со временем тоже привыкнут. Акционеры редко злятся, если их не пугать, — долготерпеливая публика!

В конторе старый клерк, как всегда, наполнял чернильницы из бутылки.

— Директор здесь?

— Да, сэр.

— Пожалуйста, скажите, что я пришел.

Старый клерк вышел. Сомс взглянул на часы. Двенадцать! Тоненький луч света

скользнул по обоям и полу, В комнате не было ничего живого, кроме синей мухи и тикающих часов, даже свежей газеты не было. Сомс следил за мухой. Он вспомнил, как в детстве предпочитал синих мух простым за их яркую окраску. Это был урок. Яркие вещи, блестящие люди — самое опасное в жизни. Взять хоть кайзера и этого пресловутого итальянского поэта как его там? А их собственный фигляр! Он не удивится, если окажется, что Элдерсон — блестящий человек в личной жизни. Что же он не идет? Может быть, виной этой задержки встреча с молодым Баттерфилдом? Муха поползла по стеклу, упала, жужжа, снова поползла; солнечный луч крался по полу. В комнате стояла пустота и тишина, словно воплощение основного правила страхования. «Незыблемость и неизменность».

«Что же мне, вечно здесь торчать?» — подумал Сомс и подошел к окну. На этой широкой улице, выходявшей к реке, солнце освещало только нескольких пешеходов и тележку разносчика, но дальше, на главной улице, грохотало и шумело уличное движение. Лондон! Чудовищный город! И весь застрахован! Что с ним будет через тридцать лет? И только подумать, что будет существовать Лондон, которого он не увидит. Ему стало жаль города, жаль себя. Даже старого Грэдмена не будет. Вероятно, страховые общества позаботятся обо всем — а может быть, и нет. И вдруг он увидел Элдерсона. Он был вполне элегантен в светлом костюме, с гвоздикой в петлице.

— Размышляете о будущем, мистер Форсайт?

— Нет, — ответил Сомс. Как этот человек угадал его мысли?

— Я рад, что вы зашли. Я имею возможность поблагодарить вас за тот интерес, какой вы проявляете к делам Общества. Это очень редко бывает. Обычно директор-распорядитель все делает один.

Насмехается? Тон у него очень оживленный, даже слегка нахальный. Хорошее настроение всегда казалось Сомсу подозрительным — обычно тут крылась какая-то причина.

— Если бы все директора относились к делу так же добросовестно, как вы, можно было бы спать спокойно. Я прямо скажу вам, что помощь, которую мне оказывало правление до того, как вы стали его членом, была... ну, скажем, просто ничтожной.

Льстит! Наверно, ведет к чему-то!

Элдерсон продолжал:

— Могу сказать вам то, чего не мог сказать никому другому: я очень недоволен тем, как идут дела, мистер Форсайт. Англия скоро увидит, в каком положении она очутилась.

Услышав такое неожиданное подтверждение своих собственных мыслей, Сомс вдруг ощутил реакцию.

— Нечего плакать прежде, чем мы расшиблись. Фунт стоит высоко, мы еще крепко сидим.

— Сидим в калоше! И если не принять решительных мер, мы так там и останемся. А вы знаете, что всякие решительные меры — это дезорганизация, и ощутимых результатов надо ждать годами.

И как этот человек мог говорить такие вещи и при этом блеснуть и сиять, как новый медяк? Это подтверждало теорию Сомса: видно, ему безразлично, что будет. И вдруг Сомс решил попробовать.

— Кстати, о годах ожидания: я пришел сказать, что нужно, по-моему, созвать собрание пайщиков по поводу этих убытков на германских контрактах.

Сомс проговорил эти слова, глядя в пол, и внезапно поднял голову. Светло-серые глаза Элдерсона встретили его взгляд не сморгнув.

— Я ждал, что вы это предложите, — сказал он.

«Как же, ждал ты», — подумал Сомс, потому что он сам это только что придумал.

— Конечно, соберите акционеров, но вряд ли правление это одобрит.

Сомс удержался, чтобы не сказать: «И я тоже».

— И пайщики не одобряют. По долголетнему опыту я знаю, что чем меньше вы их впутываете во всякие неприятности, тем лучше для всех.

— Может быть, и так, — сказал Сомс, упрямо стоя на своем, — но это один из видов

порочного нежелания смотреть фактам в глаза.

— Не думаю, мистер Форсайт, что вы в будущем сможете обвинить меня в том, что я не смотрел фактам в глаза. В будущем! Черт возьми, на что же этот человек намекает?

— Во всяком случае, я предложу это на ближайшем заседании правления, — сказал он.

— Конечно! — поддержал Элдерсон. — Самое лучшее — всегда доводить дело до конца, не так ли?

Снова чуть заметная ирония. Как будто он что-то скрывал. Сомс машинально посмотрел на манжеты этого человека, отлично выглаженные, с голубой полоской; на его пикейный жилет и пестрый галстук — настоящий денди Ничего, сейчас он ему закатит вторую порцию!

— Статьи, — сказал он, — Монт написал книгу. Я купил один экземпляр.

Не сморгнул! Только чуть больше обнажились зубы — безусловно фальшивые!

— А я взял две. Милый, бедный Монт!

Сомс почувствовал себя побежденным. Этот тип был бронирован, как краб, отлакирован, как испанский стол.

— Ну, мне надо идти, — объявил Сомс.

Директор-распорядитель протянул ему руку.

— Прощайте, мистер Форсайт. Я так вам благодарен!

Что это, Элдерсон даже пожимает ему руку? Сомс вышел смущенный. Так редко жали ему руку. Он почувствовал, что это его сбило, с толку. А может, это только заключительная сцена умелой комедии? Как знать! Однако теперь у него было еще меньше желания созывать собрание пайщиков, чем раньше. Нет, это просто был пробный камень — и тут Сомс промахнулся. Впрочем, другой камешек — насчет Баттерфилда — попал в цель. Если бы Элдерсон был невиновен, он обязательно сказал бы: «Какая наглость — это посещение». Хотя у такого типа достанет хладнокровия нарочно смолчать, чтобы подразнить человека. Нет! Ничего не попишешь, как теперь говорят. У Сомса было так же мало доказательств виновности, как и раньше, и он, откровенно говоря, был этому рад. Ни к чему такой скандал не приведет, разве что очернит все Общество вместе с директорами. Люди ведь так неосторожны — они никогда не знают, где остановиться, не разбираются в том, кто действительно виноват. Надо держаться начеку и продолжать свое дело. Нечего тревожить осиное гнездо. Сомс шел и думал об этом, как вдруг его окликнул голос:

— Приятная встреча, Форсайт! Нам по дороге?

«Старый Монт» спускался по лестнице из «Клуба шутников».

— А вам куда? — спросил Сомс.

— Иду завтракать в «Аэроплан».

— А-а, в этот новомодный клуб?

— Он идет в гору, вы знаете, идет в гору!

— Я только что видел Элдерсона. Он купил два экземпляра вашей книги.

— Да что вы! Вот бедняга!

Сомс слегка улыбнулся.

— Он то же самое сказал про вас! А как вы думаете, кто ему их продал? Молодой Баттерфилд!

— И он еще жив?

— Был жив сегодня утром.

Сэр Лоренс хитро сощурился.

— Знаете, что я думаю, Форсайт. Говорят, что у Элдерсона на содержании две женщины.

Сомс раскрыл глаза. Это мысль! Все объясняется тогда очень просто.

— Моя жена говорит, что одна из них безусловно лишняя. А вы что скажете?

— Я? — сказал Сомс. — Я только знаю, что этот человек хладнокровен, как рыба. Ну, мне сюда! До свидания!

Нет, никакой помощи от этого баронетишки не дожидаться. Решительно ничего не

принимает всерьез. Две женщины у Элдерсона! В его-то годы! Ну и жизнь! И всегда находятся такие люди, которым все мало, они идут на любой риск. Сомс не мог этого понять. Сколько ни изучай таких людей — ничего не разберешь! И все-таки такие люди существуют. Он прошел через холл в комнату, где завтракали «знатоки». Взяв со стола меню, он заказал дюжину устриц, но, вспомнив, что в названии месяца нет буквы «р», взял вместо них жареную камбалу.

VIII. СБЕЖАЛ

— Нет, родная, природа сдана в архив.

— Что ты хочешь этим сказать, Майкл?

— Да ты почитай романы с природой. Прилизанные описания корнуэлских скал или йоркширских болот — ты была когда-нибудь на йоркширском болоте? Просто не выдержать! А романы о Дартмуре! Жуть! Этот Дартмур, откуда приходят все страсти, — а ты была там когда-нибудь? Ведь все это ерунда! А эти, которые пишут о Полинезии! Ой-ой-ой! А поэты, из тех, что «брызжут и блещут», — разве они в состоянии показать природу? Те, которые работают под сельских простачков, чуть получше, конечно. В конце концов старик Уордсворт дал нам Природу с большой буквы, и она успокоительна, как бром. Конечно, есть еще настоящая природа, с маленькой буквы; если ты имеешь дело с ней, то тут обычно идет борьба не на жизнь, а на смерть. А Природу, о которой мы столько кричим, запатентовали, сделали из нее настой и разлили по бутылкам. Для современного стиля природа уже устарела.

— Ну, ладно, давай все же покатаемся по реке, Майкл. Может, выпить чаю в «Шелтере»?

Они уже подъезжали к дому, который Майкл называл «завидной резиденцией», когда Флер наклонилась вперед и, коснувшись его колена, сказала:

— Я к тебе и вполтину не так отношусь, как ты заслуживаешь, Майкл.

— Что ты, детка! А по-моему, так.

— Я знаю, я эгоистка, особенно теперь.

— Но ведь это из-за одиннадцатого баронета.

— Да, ребенок — большая ответственность. Я надеюсь, что он будет похож на тебя.

Майкл подвел лодку к пристани, сложил весла и сел рядом с Флер.

— Если он пойдет в меня, я его лишу наследства. Но сыновья обычно похожи на мать.

— Я говорю про характер. Я страшно хочу, чтоб он был веселый, спокойный и чтоб он чувствовал, что стоит жить на свете.

Майкл поглядел на ее губы — они дрожали, — на ее щеку, покрывшуюся легким загаром за этот день на солнце, и, наклонившись, он прижался к ее щеке.

— Я уверен, он будет славный малыш, веселый.

Флер покачала головой.

— Я не хочу, чтоб он был жадный и занят только собой — у меня, знаешь, это в крови; я вижу, как это плохо, и ничего не могу с собой сделать. Как ты умудряешься быть не таким?

Майкл взъерошил волосы свободной рукой.

— Солнце не слишком печет, маленькая?

— Нет, серьезно, Майкл, как ты умудряешься?

— Но ведь я тоже жадный. Ты ведь знаешь, как ты мне нужна. И тут уж ничем не поможешь.

Ее щека ласково потерлась об его щеку, и, осмелев, он сказал:

— Помнишь, как ты однажды вечером в этом самом месте подошла к берегу и увидела меня в лодке. Когда ты дулла, я стал на голову, чтобы охладить ее. Я тогда чуть с ума не сошел, совсем не надеялся. — Он остановился. Нет! Не стоит ей напоминать, что в тот вечер она ему сказала: «Приходите опять, когда я наверно буду знать, что не добьюсь своего». Неведомый братец!

Флер сказала спокойно:

— Я была свиньей по отношению к тебе, Майкл. Но я была страшно несчастна. Это прошло наконец, совсем прошло. Теперь все в порядке, кроме моего характера.

— Ну, это ничего. А как насчет чаю?

Рука об руку они поднялись по лужайке. Дома никого не было: Сомс уехал в Лондон. Аннет — в гости.

— Дайте нам чай на веранду, — попросила Флер.

Сидя рядом с Флер, такой счастливый, каким он себя еще не помнил, Майкл чувствовал всю прелесть Природы с большой буквы, чувствовал косые лучи солнца, запах гвоздики и роз, шелест осин. Ворковали любимые голуби Аннет, а на дальнем берегу спокойной реки высились кроны тополей. Но в конце концов он так наслаждался всем этим потому, что рядом была его любимая, и смотреть на нее, касаться ее было его радостью. И впервые он чувствовал, что ей не хочется встать и упорхнуть куда-нибудь к кому-нибудь другому. Странно, что вот так, вне тебя, может существовать другой человек, который абсолютно отнял у всего на свете значение, забрал в свои руки «всю эту музыку», и что этот человек — твоя жена! Ужасно странно, особенно если подумать, что ты, в сущности, такое! Он услышал голос Флер:

— Мать у меня, конечно, католичка; она не ходит в церковь потому, что живет с отцом здесь. Она и меня не очень заставляла. Но я все думаю, Майкл, как мы поступим с ним.

— Пусть растет, как хочет.

— Не знаю. Чему-нибудь его надо учить, ведь он пойдет в школу. Католикам религия все-таки что-то дает.

— Да, вера вслепую. Это сейчас единственный логический путь.

— Я думаю, что человеку без религии всегда кажется, что ничто на свете не имеет значения.

Майкл чуть было не сказал: «Давай воспитывать его солнцепоклонником», но вместо этого проговорил:

— Мне кажется, чему бы его ни учить — все это только пока он сам не начнет думать, а уж тогда он решит, что ему больше всего подходит.

— Ну, а твое мнение, Майкл? Ведь ты один из самых хороших людей, кого я знаю.

— Ну да, — сказал Майкл, странно польщенный, — Разве?

— Нет, серьезно, что ты об этом думаешь, Майкл?

— Видишь ли, детка, никакой доктрины я не придерживаюсь, значит и религии у меня нет. Я считаю, что надо быть на высоте, — но это уже этика.

— Но ведь право же, трудно ни во что не верить, кроме себя самого. Если из какой-нибудь религии можно что-либо извлечь, то не лучше ли ее принять?

Майкл улыбнулся — правда, только мысленно.

— Ты можешь поступать с одиннадцатым баронетом, как тебе будет угодно, а я буду тебе помогать. При его наследственности он, наверно, будет немножко скептиком.

— Но я не хочу этого! Мне гораздо больше хочется, чтобы он был последовательный и убежденный. Скептицизм только лишает людей спокойствия.

— Чтобы в нем не было «белой обезьяны», да? Ну не знаю. Это, по-моему, носится в воздухе. Самое главное — вбить ему с малолетства уважение к другим людям, вбить хоть шлепками, если нужно.

Флер посмотрела на него ясными глазами и засмеялась.

— Да, — сказала она. — Моя мать пробовала так меня воспитывать, но папа запретил.

Они вернулись домой в девятом часу.

— Либо твой отец здесь, либо мой, — сказал Майкл в холле. — Вон лежит доисторическая шляпа.

— Это папина. Она внутри серая, а у Барта — беж.

Действительно, в китайской гостиной сидел Сомс, держа в руке распечатанное письмо, а у его ног Тинг-а-Линг. Сомс протянул письмо Майклу, не говоря ни слова. На письме не

было ни даты, ни адреса. Майкл стал читать:

«Дорогой мистер Форсайт, Может быть. Вы будете столь любезны доложить правлению на заседании, во вторник, что я уезжаю, чтобы оказаться в безопасности от последствий каких бы то ни было грехов, если таковые за мной водились. Когда Вы получите это письмо, я буду за пределами досягаемости. Как в частной жизни, так и в делах я всегда держался того мнения, что надо уметь вовремя остановиться. Бесплезно будет предпринимать против меня судебное преследование, так как, выражаясь юридическим языком, моя особа будет неприкосновенна и никакого имущества я не оставляю. Если Ваша цель была — поймать меня в ловушку, я не могу поздравить Вас с Вашей тактикой. Если, напротив, посещение того молодого человека было инспирировано Вами как предупреждение о том, что Вы собираетесь довести дело до конца, я почитаю своим приятным долгом еще раз поблагодарить Вас, как благодарил при Вашем последнем посещении.

Остаюсь, любезный мистер Форсайт, Ваш покорный слуга Роберт Элдерсон» Майкл весело проговорил:

— Счастливое избавление! Теперь вы будете чувствовать себя спокойнее, сэр.

Сомс провел рукой по лицу, словно желая стереть застывшее на нем выражение.

— Мы обсудим это после, — сказал он. — Ваша собачонка все время сидела тут со мной.

Майкл восхищался тестем в этот момент: он явно скрывал свое огорчение ради Флер.

— Флер немного устала, — сказал он. — Мы катались по реке и пили чай в «Шелтере». Мадам не было дома. Давай сейчас же обедать. Флер.

Флер взяла на руки Тинг-а-Линга и пыталась уклониться от его жадного язычка.

— Прости, что заставили тебя ждать, папа, — пробормотала она, прячась за коричневой шерстью. — Я только пойду умоюсь, а переодеться не стану.

Когда она ушла. Сомс протянул руку за письмом.

— Хорошая заварилась каша, а? Не знаю, чем это кончится.

— Но разве это еще не конец, сэр?

Сомс изумленно посмотрел на него. Ох, уж эта молодежь! Тут ему угрожает публичный скандал, который может привести бог весть к чему — к потере имени в Сити, возможно, и к потере состояния, а им хоть бы что! Никакого чувства ответственности, абсолютно никакого. Все дурные предчувствия, обычно одолевавшие Джемса, весь его пессимизм проснулся в Сомсе с той минуты, как ему вручили в клубе это письмо. Только удивительная выдержка следующего за Джемсом поколения мешала ему даже сейчас, когда Флер вышла из комнаты, дать волю своим страхам.

— Ваш отец в городе?

— Вероятно, сэр.

— Отлично! — Сомс, впрочем, не чувствовал особого облегчения. Этот баронетишка тоже довольно безответственный человек — заставить Сомса войти в такое правление!

А все оттого, что связываешься с людьми, воспитанными в непростительном легкомыслии, без всякого понимания ценности денег.

— Теперь, когда Элдерсон сбежал, — заговорил Сомс, — все должно открыться. Его признание у меня в руках.

— А почему бы не разорвать его, сэр, и не объявить, что Элдерсон заболел туберкулезом?

Невозможность добиться серьезности от этого молодого человека действовала на Сомса так, как если бы он объелся тяжелым пудингом.

— И, по-вашему, это было бы честно? — сурово сказал он.

— Простите, сэр, — Майкл сразу отрезвел. — Чем мне вам помочь?

— Тем, что оставите ваше легкомыслие и постараетесь скрыть все это от Флер.

— Непременно, — проговорил Майкл серьезным тоном, — обещаю вам. Буду молчать, как рыба. А что вы собираетесь предпринять?

— Нам придется созвать пайщиков и объяснить всю эту махинацию. Они, вероятно, истолкуют ее в дурную сторону.

— Но почему? Вы ведь никак не могли предотвратить то, что произошло?

Сомс сердито фыркнул.

— В жизни нет никакой связи между воздаянием и заслугами. Если война вас этому не научила, то ничто не научит.

— Так, — проговорил Майкл. — Ну, сейчас придет Флер. Вы меня извините на минуту — мы продолжим наш разговор при первой возможности.

Возможность представилась, только когда Флер легла спать.

— Вот что, сэр, — сказал Майкл, — мой отец сейчас, наверно, в «Аэроплане». Он ходит туда размышлять о конце света. Хотите, я его вызову, если завтра у вас действительно заседание правления?

Сомс кивнул. Сам он всю ночь не сомкнет глаз — чего же ему щадить «Старого Монта»?

Майкл подошел к китайскому шкафчику.

— Барт? Говорит Майкл. Старый Фор... мой тесть сидит у нас; он проглотил горькую пилюлю... Нет, Элдерсон. Не можете ли вы заехать и послушать?.. Он придет, сэр. Останемся здесь или поднимемся ко мне в кабинет?

— Здесь, — сказал Сомс, пристально разглядывая «Белую обезьяну». Не знаю, куда мы идем? — внезапно добавил он.

— Если б мы знали, мы умерли бы от скуки, сэр.

— Это ваше личное мнение. Просто не на кого положиться! Не знаю, куда это нас заведет.

— Может быть, куда-нибудь, не в ад и не в рай.

— Подумать только — человек его лет!

— Он одних лет с моим отцом, сэр; возможно, это было неважное поколение. Если бы вы побывали на войне, сэр, вы бы смотрели на жизнь веселее.

— Вы уверены? — проворчал Сомс.

— Конечно! Война здорово выбивает из колеи — это верно; но зато когда попадешь в такую переделку, тут уж понимаешь, что такое выдержка.

Сомс поглядел на него. Неужели этот юнец читает ему лекцию о вреде пессимизма?

— Возьмите Баттерфилда, — продолжал Майкл, — ведь пошел же он к Элдерсону. Возьмите девочку, которая позировала для этой картины — знаете, что вы нам подарили. Она — жена того упаковщика, которого от нас выперли за кражу книг. Она заработала уйму денег тем, что позировала голой; и не сбилась с пути. Теперь они едут в Австралию на эти деньги. Да возьмите и самого этого воришку: он таскал книги, чтобы подкормить жену после воспаления легких, а потом стал торговать воздушными шарами.

— Не понимаю, к чему вы все это рассказываете, — сказал Сомс.

— Я говорю о выдержке, сэр. Бы ведь сказали, что не знаете, к чему мы идем. Посмотрите хотя бы на безработных. Разве есть еще страна в мире, где они так держатся, как здесь? Право, я иногда начинаю гордиться, что я англичанин. А вы?

Слова Майкла задели что-то глубоко в душе Сомса; но, не выдавая своих переживаний, он продолжал смотреть на «Белую обезьяну». Какая тревожная, нечеловеческая и вместе с тем страшно человеческая угрюмая тоска в глазах этого существа! «Белков глаз не видно, — подумал Сомс, — должно быть, оттого это и кажется». И Джорджу нравилось, чтобы такая картина висела против его кровати! Да, у Джорджа была выдержка — шутил до последнего вздоха; настоящий англичанин этот Джордж. И все Форсайты — настоящие англичане. Старый дядя Джолион и его обращение с пайщиками; Суизин — прямой, надутый, огромный в слишком тесном для него кресле у Тимоти. «Вся эта мелкота!» — Сомс как будто слышал, как он произносит эти слова. И дядя Николае, на которого так похож этот тип, Элдерсон, — правда только внешне, — тоже живой и очень любивший пожить человек, но совершенно вне всяких подозрений в нечестности. А старый Роджер с его причудами и немецкой

бараниной! И, наконец, его собственный отец, Джемс, как он долго тянул; худой — в чем только душа держалась! — и все-таки жил да жил. А Тимоти, словно законсервированный в консервах, доживший до ста лет! Выдержка и крепкий костяк у всех этих прежних англичан, несмотря на их чудачества. И в Сомсе зашевелилась какая-то атавистическая сила воли. Поживем — увидим и другим покажем, вот и все!

Шум автомобиля вывел его из раздумья. Вошел «Старый Монт» — конечно, такой же чирикающий и легкомысленный, как всегда. И вместо того чтобы протянуть руку. Сомс протянул ему письмо Элдersona.

— Ваш драгоценный школьный товарищ сбежал, — проговорил он.

Сэр Лоренс прочел письмо и свистнул.

— А куда он сбежал, по-вашему, Форсайт, — в Константинополь?

— Скорее в Монте-Карло, — угрюмо сказал Сомс. — Незаконно получал комиссию — за это власти не обязаны его выдавать.

Лицо баронета странно передернулось, что доставило Сомсу некоторое удовольствие: почувствовал все-таки!

— Я полагаю, он просто удрал от своих дам, Форсайт.

Нет, этот человек неисправим! Сомс сердито пожал плечами.

— Не мешало бы вам понять, что дело совсем скверно.

— Но, право, дорогой мой Форсайт, дело скверно уже с тех пор, как французы заняли Рур. Элдerson благополучно скрылся, мы назначим кого-нибудь другого — только и всего.

Сомсу вдруг показалось, что он сам преувеличенно честен. Если такой почтенный человек, девятый баронет, не видит, какие обязательства налагает на них признание Элдersona, то существуют ли эти обязательства? Нужно ли поднимать скандал и шум? Видит бог, ему лично этого не хочется! И он с трудом проговорил:

— У нас теперь на руках неопровержимое доказательство мошенничества. Мы знаем, что Элдerson орал взятки за проведение сделок, на которых пайщики понесли большой убыток. Как же мы можем скрывать от них эти сведения?

— Но ведь дело уже сделано, Форсайт. Разве пайщикам поможет, если они узнают правду?

Сомс нахмурился.

— Мы — доверенные лица, Я не намерен идти на риск и скрывать этот обман. Если мы скроем его, мы станем соучастниками. В любое время все может обнаружиться.

Если в нем говорила осторожность, а не честность — что поделать!

— Я бы хотел пощадить имя Элдersona. Мы с ним вместе...

— Знаю, — сухо отрезал Сомс.

— Но как же может открыться, Форсайт? Элдerson не расскажет, Баттерфилд — тоже, если вы ему прикажете. Те, кто давал взятки, и подавно будут молчать. А кроме нас троих, никто не знает. И ведь нам никакой выгоды это не дало.

Сомс молчал. Аргумент довольно веский. Конечно, крайне несправедливо, чтобы он, Сомс, нес наказание за грехи Элдersona!

— Нет, — сказал он вдруг, — так не годится. Отступи от закона хоть раз — и неизвестно, куда это заведет. Пайщики понесли убытки, и они вправе знать все факты, которые известны директорам. Может быть, они найдут какой-нибудь способ поправить дело. Об этом не нам судить. Может быть, они найдут средство против нас самих.

— Ну если так, Форсайт, то я с вами.

Сомсу стало неприятно. Нечего Монту изображать рыцарские чувства там, где они ему ничего не стоят; если дойдет до расплаты, так пострадает не Монт, чьи земли заложены и перезаложены, а он сам, потому что его имущество можно легко реализовать.

— Прекрасно, — холодно проговорил он. — Не забудьте завтра ваши слова. Я иду спать.

Стоя в своей комнате у открытого окна, он не чувствовал себя очень добродетельным, а просто был спокойнее. Он наметил свою линию — и не отступит от нее!

IX. СОМСУ РЕШИТЕЛЬНО ВСЕ РАВНО

За этот месяц, после получения письма Элдersonа, Сомс постарел больше чем на тридцать дней. Он заставил сомневающееся правление принять его план — сообщить обо всем пайщикам; было назначено специальное собрание, и точно так же, как двадцать три года тому назад, когда он разводился с Ирэн, он должен был предстать перед публикой, так что сейчас он день и ночь уже страдал от страха перед пронзительными глазами толпы. У французов есть пословица: «Отсутствующие всегда виноваты», но Сомс сильно сомневался в ее правильности. Элдersonа на общем собрании не будет, но Сомс готов был пари держать, что вину возложат не на отсутствующего Элдersonа, а на него самого. Вообще французам нельзя доверять. Волнуясь за Флер, боясь публичного выступления, Сомс плохо спал, плохо ел и чувствовал себя прескверно. Аннет посоветовала ему пойти к врачу. Вероятно, поэтому он и не пошел. Он верил докторам, но только для других, ему же, как он обычно говорил, они никогда не помогали — скорей всего потому, что до сих пор их помощь не требовалась.

Видя, что он не слушается ее советов и с каждым днем становится все угрюмее, Аннет дала ему книжку Куэ. Он пробежал брошюрку и собирался бросить ее в поезд, но теория, какой бы экстравагантной она ему ни казалась, чем-то его привлекла. В конце концов делает же Флер эти упражнения; к тому же они ничего не стоят, и все-таки — вдруг поможет! И помогло. Внушив себе двадцать пять раз подряд перед сном, что он чувствует себя все лучше и лучше, он в эту ночь спал так крепко, что Аннет в соседней комнате совсем не спала.

— Знаешь ли, мой друг, — сказала она за завтраком, — ты так храпел сегодня ночью, что я даже не слышала, как запел петух.

— А зачем тебе его слышать? — сказал Сомс.

— Ну, это не важно, если только ты хорошо выспался. Уж не мой ли Куэ помог тебе так чудесно заснуть?

Отчасти из нежелания поощрять Куэ, отчасти из нежелания поощрять Аннет, Сомс уклонился от ответа; но у него было странное ощущение своей силы, словно ему стало все равно, что скажут люди.

«Обязательно сегодня вечером еще раз проделаю», — подумал он.

— Ты знаешь, — продолжала Аннет, — у тебя идеальный темперамент для Куэ. Если ты излечишься от своих тревог, ты, наверно, располнеешь.

— Располнею! — и Сомс посмотрел на ее округлую фигуру. — Ты еще скажи, что я отпущу бороду!

Полнота и бороды у него ассоциировались с французами. Нет, надо за собой последить, если хочешь продолжать эту... гм... как же это назвать? Ерундой не назовешь, даже если и приходится завязывать двадцать пять узелков на веревочке. Как это по-французски! Словно перебирать четки. Сам он, правда, только просчитал по пальцам. Ощущение своей силы продолжалось и в поезде, до самого Лондона; он был убежден, что может посидеть на сквозняке, если захочет; что Флер благополучно разрешится мальчиком; что же касается ОГС, то десять против одного, что его имя не будет упомянуто в отчетах и речах.

После раннего завтрака и еще двадцати пяти внушений за кофе он отправился в Сити.

Это заседание правления перед экстренным собранием пайщиков было вроде генеральной репетиции. Предстояло выработать детали отчета, и Сомс особенно старался, чтобы была соблюдена безличная форма. Он был категорически против того, чтобы открыть пайщикам, что молодой Баттерфилд рассказал, а Элдerson написал именно ему, надо просто сказать: «Один из членов правления». Больше ничего не надо. Разумеется, объяснения давать придется председателю и старшему директору — лорду Фонтеню. Однако Сомс убедился, что правление считает, будто именно ему нужно изложить дело перед собранием. Никто, говорили они, не может сделать это так убедительно и уверенно. Председатель сделает краткое вступление и потом попросит Сомса дать показания обо всем, что ему известно. Лорд Фонтеню настойчиво говорил:

— Это ваше дело, мистер Форсайт. Если бы не вы, Элдерсон и посейчас был бы здесь. С самого начала до самого конца вы все время шли против него; и, черт возьми, лучше бы вы этого не делали! Видите, какие вышли неприятности! Он был большой умник, мы еще о нем пожалеем. Наш новый директор-распорядитель и в подметки ему не годится. А если он и взял тайком несколько тысконок, так ведь брал-то он с немчуры.

Вот старая морская свинка! Сомс едко возразил:

— А те четверть миллиона, которые потеряли пайщики ради этих нескольких тысконок, — это, по-вашему, пустьак?

— Пайщики могли бы получить и прибыль, как в первый год. Кто из нас не ошибается!

Сомс переводил взгляд с лица на лицо. Никто не поддерживал Фонтеню, но в глазах у всех, кроме разве «Старого Монта», он прочел озлобление против себя. Как будто на этих лицах было написано: «Ничего у нас не случилось, пока вы не появились в правлении». Да, он нарушил их спокойствие — и за это его не любят. Какая несправедливость! Сомс сказал вызывающе:

— Значит, вы предоставляете все дело мне? Отлично!

Какую линию он собирался проводить и была ли у него в виду какая-либо определенная линия, он и сам не знал, но после этих слов даже «старая морская свинка» Фонтеню, и тот стал с ним несравненно любезнее. Однако, уходя с собрания. Сомс чувствовал полный упадок сил. Значит, во вторник придется ему стоять у всех на виду.

Справившись по телефону о здоровье Флер — она лежала, так как плохо себя чувствовала, — Сомс поехал домой с ощущением, что его предали. Оказывается все же, что нельзя полагаться на этого француза с его двадцатью пятью узелками. Как бы он себя хорошо ни чувствовал, его дочь, его репутация и, возможно, даже его состояние не зависели от его подсознательного «я». За обедом он молчал, а потом прошел в свою картинную галерею, чтобы все обдумать. Полчаса он простоял у открытого окна, наедине с летним вечером; и чем дольше он стоял, тем лучше понимал, что в его жизни все связано одно с другим. Его дочь — да разве не ради нее он заботится о своей репутации и о своем состоянии? Репутация? Какие они дураки, если не видят, что он был осторожен и честен, как только мог, — что ж, тем хуже для них! Его состояние... да, надо будет на всякий случай теперь же перевести на имя Флер и ее ребенка еще пятьдесят тысяч. Только бы она благополучно разрешилась! Пора Аннет совсем к ней переехать. Говорят, есть какойто наркоз. Ей страдать — да разве можно!

Вечер медленно угасал. Солнце зашло за давно знакомые деревья. Руки Сомса, впившиеся в подоконник, почувствовали сырость росы. Аромат травы и реки подкрался к нему. Небо побледнело и стало темнеть; высыпали звезды. Он долго прожил здесь — все детство Флер, лучшие годы своей жизни. Но все-таки он не будет в отчаянии, если придется все продать, — он всей душой в Лондоне. Продать? Не слишком ли он забегает вперед? Нет, нет, до этого не дойдет! Он отвел взгляд от окна и, повернув выключатель, в тысячу первый раз обошел галерею. После свадьбы Флер он купил несколько прекрасных экземпляров, не тратил зря деньги на всяких модных художников. И продал кое-что тоже очень удачно. По его вычислениям, собрание в этой галерее стоит от семидесяти до ста тысяч фунтов; и если считать, что он иногда продавал очень выгодно, то вся коллекция обошлась ему тысяч в двадцать пять, не больше. Неплохой результат увлечения коллекционерством, уже не говоря об удовольствии. Конечно, он мог бы увлечься чемнибудь другим: бабочками, фотографией, археологией или первыми изданиями книг; мало ли в какой области можно противопоставить свой вкус общепринятой моде и выиграть на этом; но он ни разу не пожалел, что выбрал картины. О нет! Тут было что показать за свои деньги, было больше славы, больше прибыли и больше риска. Эта мысль его самого слегка поразила: неужели он увлекся картинами, потому что в этом был риск? Риск никогда не привлекал его — по крайней мере так он думал до сих пор. Может быть, тут играло роль «подсознание»? Вдруг он сел и закрыл глаза. Надо еще раз попробовать — удивительно приятное ощущение было утром, что «все — все равно!» Он не помнил, чтобы раньше у него бывало такое чувство.

Всегда ему казалось, что обязательно нужно беспокоиться, — что-то вроде страховки от неведомых зол. Но беспокойство так утомляет, так страшно утомляет. Не потушить ли свет? В книжке говорилось, что надо расслабить мускулы. По смутно освещенной комнате ложились тени; звездный свет, входя в большие окна, одевал все предметы дымкой нереальности, и Сомс тихо сидел в большом кресле. Неясное бормотание слетало с его губ: «Полнее, полнее, полнее». «Нет, нет, — подумал он, — я не то говорю». И он снова начал бормотать: «Спокойней, спокойней, спокойней». Кончики пальцев отстукивали такт. Еще, еще — надо как следует попробовать. Если бы не надо было беспокоиться! Еще, еще — «спокойней, спокойней, спокойней!» Если бы только... Его губы перестали шевелиться, седая голова упала на грудь, он погрузился в подсознание. И звездный свет одел и его дымкой нереальности.

Х. НО ОСТОРОЖНОСТЬ — БЛАГОЕ ДЕЛО

Майкл совершенно не знал Сити, и он пробирался сквозь дебри Полтри в святая святых — контору «Кэткот. Кингсон и Форсайт» — с тем же чувством, с каким старые составители карт говорили: «Там, где неизвестность, воображай ужасы». Он находился в несколько задумчивом настроении, так как только что завтракал с Сибли Суоном в кафе «Крильон». Он знал всю компанию — семь человек еще более современных людей, чем Сибли Суон, кроме одного русского, до того ультрасовременного, что он даже не говорил по-французски и никто с ним не мог разговаривать. Майкл слушал, как они громили все на свете, и следил за русским, который закрывал глаза, как больной ребенок, когда упоминали кого бы то ни было из современников.

«Держись! — подумал Майкл, когда в этой свалке уже были сбиты с ног несколько его любимцев. — Бейте, режьте! Еще посмотрим, чья возьмет». Но он сдержался до момента ухода.

— Сиб, — сказал он, вставая, — ведь все эти типы — мертвецы; не убрать ли их отсюда, в такую-то жару?

— Что такое? — воскликнул Сибли Суон при тягостном молчании «этих типов».

— Я хочу сказать, что если они живы, то их дело совсем скверно — и, увернувшись от брошенной шоколадки, которая попала в русского, он пошел к выходу.

Идя по улице, он размышлял: «А хорошие, в сущности, ребята! И, совсем не так уж высокомерны, как воображают. Вполне человеческое желание пустить этому русскому пыль в глаза. Уф! Ну и жара!» В этот первый день состязаний Итона с Хэрроу все скрытое тепло прохладного лета вдруг вспыхнуло и сейчас заливало Майкла, ехавшего на империале автобуса; жара заливала соломенные шляпы и бледные, потные лица, бесконечные вереницы автобусов, дельцов, полисменов, лавочников у дверей, продавцов газет, шнурков для ботинок, игрушек, бесконечные повозки и автомобили, вывески и провода — всю гигантскую путаницу огромного города, невидимым инстинктом слаженную почти до предельной точности. Майкл смотрел и недоумевал. Как это выходит, что каждый занят только собой и своим делом, а между тем все это движение идет по какому-то закону? Даже муравейник, пожалуй, не выглядит столь суетливым и беспорядочным. Обнаженные провода пересекаются, переплетаются, перепутываются — кажется, их никогда не размотаешь, и все-таки жизнь и порядок, нужный для этой жизни, каким-то образом сохраняются. «Настоящее чудо, — думал он, — жизнь современного города!» И вдруг весь этот водоворот сразу стих, как будто уничтоженный безжалостной рукой какого-нибудь верховного Сибли Суона: Майкл очутился перед тупиком. По обеим сторонам плоские дома, недавно оштукатуренные, удивительно похожие друг на друга; в конце — плоский серый дом, еще больше похожий на все остальные, и сплошной серый девственный асфальт, не запятнанный ни лошадьми, ни бензином; ни машин, ни повозок, ни полисменов, ни торговцев, ни кошек, ни мух.» Никаких признаков человеческой жизни, кроме названий фирм с правой и с левой стороны каждой парадной двери.

«Кэткот, Кингсон и Форсайт. Нотариальная контора; второй этаж».

«Правь, Британия!» — подумал Майкл, поднимаясь по широкой каменной лестнице.

Его провели в комнату, где он увидел старичка с лицом мопса, с окладистой седой бородкой, в черном люстриновом пиджачке и объемистом пикежном жилете на объемистом животике. Он привстал со своего стула-вертушки навстречу Майклу.

— А-а, — сказал он, — мистер Майкл Монт, если не ошибаюсь. Я вас ждал. Мы вас долго не задержим, мистер Форсайт сейчас придет. Он вышел на минуту. Миссис Майкл, надеюсь, в добром здравье?

— Да, спасибо, но, конечно, она...

— Понимаю, вы за нее волнуетесь. Присаживайтесь.

Может быть, хотите пока почитать черновик?

Майкл покорно взял из пухлой руки большой исписанный лист и сел напротив клерка. Глядя одним глазом на старика, а другим на документ, он добросовестно читал.

— Как будто тут есть какой-то смысл, — сказал он наконец.

Старик разинул бородатый рот, как лягушка на муху, и Майкл поспешил исправить ошибку.

— Тут учитывается и то, что случится, и то, что будет, если ничего не случится, — прямо как букмекеры на скачках.

Он тут же почувствовал, что только напортил. Старик ворчливо сказал:

— Мы здесь зря время не тратим. Извините, я занят.

Майкл с искренним раскаянием следил, как старичок отмечает «птичками» какой-то длинный перечень. Он был похож на старого пса, который лежит у — порога, сторожит помещение и ищет блох. Так прошло минут пять в совершенном молчании, пока не вошел Сомс.

— Вы уже здесь? — сказал он.

— Да, сэр, я постарался прийти точно в назначенное время. Какая славная, прохладная комната!

— Вы это прочли? — Сомс показал на черновик.

Майкл кивнул.

— Поняли?

— Кое-что как будто понял.

— Доход с этих пятидесяти тысяч, — сказал Сомс, — находится в распоряжении Флер, пока ее старший ребенок — если это будет мальчик — не достигнет двадцати одного года, после чего весь капитал безограничительно переходит к нему. Если это будет девочка, половина доходов остается в пожизненное пользование Флер, а половина будет выплачиваться ее дочери, когда та достигнет совершеннолетия или же выйдет замуж, и половина капитала переходит к ней или ее законным детям по достижении ими совершеннолетия или по вступлении в брак, в равных долях. Вторая половина капитала переходит в полную собственность Флер и может передаваться по ее завещанию или по законам наследования.

— У вас все получается удивительно ясно, — сказал Майкл.

— Погодите, — проговорил Сомс. — Если у Флер не будет детей...

Майкл вздрогнул.

— Все возможно, — серьезно произнес Сомс, — и опыт учит меня, что именно непредусмотренные обстоятельства чаще всего и возникают. В таком случае доходы принадлежат Флер до конца жизни, и капитал она может завещать, кому пожелает. Если она этого не сделает, он переходит к ближайшему родственнику. Тут предусмотрено все.

— Что же, ей надо писать новое завещание? — спросил Майкл, чувствуя, что его лоб покрывается холодным потом.

— Если пожелает. Но ее завещание предусматривает все возможности.

— Надо ли мне что-нибудь сделать?

— Нет. Я хотел вам все объяснить, прежде чем подпишу. Дайте мне, пожалуйста,

документы, Грэдмен, и позовите Уиксона.

Майкл увидел, как старичок достал из шкафа лист веленовой бумаги, исписанный каллиграфическим почерком и украшенный печатями, любовно посмотрел на него и положил перед Сомсом. Когда он вышел из комнаты, Сомс сказал тихо:

— Во вторник собрание — мало ли что может быть. Но что бы ни случилось, эти деньги в безопасности.

— Вы очень добры к нам, сэр.

Сомс наклонил голову, пробуя перо.

— Боюсь, я обидел вашего старого клерка, — сказал Майкл, — он мне ужасно понравился, но я нечаянно сравнил его с букмекером.

Сомс улыбнулся.

— Грэдмен — своеобразный тип, — сказал он, — таких уже не много осталось.

Майкл думал, можно ли быть своеобразным типом до шестидесятилетнего возраста, когда «тип» вошел в сопровождении бледного человека в темном костюме.

Сомс, глядя как-то вбок, без предисловий сказал:

— Это — послесвадебный подарок моей дочери. Я подписываюсь в здравом уме и твердой памяти.

Он подписался и встал.

Бледный человек и Грэдмен тоже подписались. Когда бледный человек вышел, в комнате наступила полная тишина.

— Я вам еще нужен? — спросил Майкл.

— Да, я хочу, чтобы вы зашли со мною в банк, — я положу эту дарственную вместе с другими. Я больше не приду сегодня, Грэдмен.

— До свидания, мистер Грэдмен.

Майкл услышал, как старик что-то пробормотал в бороду, почти утонувшую в ящике стола, куда он прятал документы, и вышел вслед за Сомсом.

— Вот здесь была раньше наша контора, — сказал Сомс, когда они проходили Полтри, — а до меня тут был мой отец.

— Пожалуй, тут веселее, — заметил Майкл.

— Опекуны встретят нас в банке, вы их помните?

— Двоюродные братья Флер, сэр, да?

— Гроюродные. Старший сын молодого Роджера и старший сын молодого Николаев. Я выбрал молодых. Очень молодой Роджер был ранен в войну — он ничем не занимается; очень молодой Николае — юрист.

У Майкла даже уши наострились.

— А как назовут следующее поколение, сэр? «Очень, очень молодой Роджер» звучит даже обидно, правда?

— У него не будет детей при таких налогах. Он себе не может этого позволить; он серьезный малый. А как вы назовете своего, если родится мальчик?

— Мы хотели его назвать Кристофером, в честь святого Павла и Колумба. Флер хочет, чтобы он был крепкий, а я — чтобы был пытливый.

— Гм-м! А если девочка?

— О-о, девочку назовем Энн.

— Так, — сказал Сомс, — очень хорошо. А вот и они!

Они подошли к банку; у входа Майкл увидел двух Форсайтов в возрасте между тридцатью и сорока, их лица с выдающимися подбородками он смутно помнил. В сопровождении человека с блестящими пуговицами они прошли в комнату, где другой человек, без пуговиц, достал лакированный ящик. Один из Форсайтов открыл его ключом. Сомс пробормотал какое-то заклинание и положил дарственную в ящик. После того как он и тот Форсайт, у которого подбородок больше выдавался, обменялись с чиновником замечаниями о банковских делах, все вышли в переднюю и расстались со словами: «Ну, до свидания!» — Теперь, — сказал Сомс в уличном шуме и грохоте, — он, думается мне,

обеспечен. Когда вы, собственно, ждете?

— Примерно через две недели.

— Вы верите в это... этот наркоз?

— Хотелось бы верить, — и Майкл снова почувствовал испарину на лбу. Флер изумительно спокойна: она проделывает упражнения по Куэ вечером и утром.

— Ах, эти! — сказал Сомс. Он ни словом не упомянул, что сам их проделывает, не желая выдавать состояние своих нервов. — Если вы домой, я пойду с вами.

— Прекрасно.

Когда они пришли, Флер лежала на диване. Тинг-аЛинг прикорнул у нее в ногах.

— Пришел твой отец, дорогая. Он украсил наше будущее еще пятьюдесятью тысячами.

Я думаю, он сам захочет тебе рассказать.

Флер беспокойно зашевелилась.

— Сейчас, погоди. Если будет такая жара, Майкл, я просто не выдержу.

— Ничего, погода переменится, детка моя. Еще дня три — и будет гроза.

Он приподнял пальцем мордочку Тинга и повернул ее к себе.

— Ну, а как бы тебя научить не совать всюду свой нос, старик? И носа-то у тебя почти что нет.

— Он чувствует, что все чего-то ждут.

— Ты умный звереныш, старина, а?

Тинг-а-Линг фыркнул.

— Майкл!

— Да, маленькая?

— Мне теперь как-то все безразлично — удивительно странное чувство.

— Это от жары.

— Нет, наверное, просто потому, что слишком долго тянется. Ведь все готово — и теперь все как-то кажется глупым. Ну еще одним человеком на свете больше или меньше — не все ли равно?

— Что ты! Конечно, нет!

— Еще один комар закружится, еще один муравей забегает.

— Не надо, Флер, — сказал Майкл тревожно, — это у тебя просто настроение.

— Вышла книга Уилфрида?

— Завтра выходит.

— Ты прости, что я так тебя огорчала тогда. Мне просто не хотелось его потерять.

Майкл взял ее руку.

— А мне, думаешь, хотелось?

— Он, конечно, ни разу не написал?

— Нет.

— Что ж, наверно, у него все прошло. Нет ничего постоянного в мире.

Майкл прижался щекой к ее руке.

— Кроме меня, — проговорил он.

Рука соскользнула к его губам.

— Передай папе привет и скажи ему, что я спущусь к чаю. Ой, как мне жарко!

Майкл минутку помедлил и вышел. Черт бы подрал эту жару — бедняжка совсем измучилась.

Внизу Сомс стоял перед «Белой обезьяной».

— Я бы снял ее, на вашем месте, — проворчал он, — пока все не кончится.

— Почему, сэр? — удивился Майкл.

Сомс нахмурился.

— Эти глаза!

Майкл подошел к картине. Да! Не обезьяна, а какоето наваждение.

— Но ведь это исключительная работа, сэр.

— С художественной точки зрения — конечно. Но в такое время надо быть

поосторожнее с тем, что Флер видит.

— Пожалуй, вы правы. Давайте ее снимем.

— Я подержу, — сказал Сомс и взялся за раму.

— Крепко? Вот так! Ну, снимаю.

— Можете сказать Флер, что я взял ее, чтобы определить, к какой эпохе она относится, — заметил Сомс, когда картина была спущена на пол.

— Тут и сомнения быть не может, сэр, — к нашей, конечно.

— Что? Ах, вы хотите сказать... Да! гм-м... ага! Не говорите ей, что картина здесь.

— Нет, я ее запрячу подальше, — и Майкл поднял картину. — Можно вас попросить открыть дверь, сэр?

— Я вернусь к чаю, — сказал Сомс. — Выйдет, как будто я отвозил картину. Потом можете ее опять повесить.

— Конечно. Бедная зверюга! — и Майкл унес «Обезьяну» в чулан.

XI. С МАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ

Вечером в следующий понедельник, когда Флер легла спать, Майкл и Сомс сидели в китайской комнате; в открытые окна вливался лондонский шум и томительная жара.

— Говорят, война убила чувство, — сказал Сомс внезапно — Это правда?

— Отчасти да, сэр. Мы видели действительность так близко, что она нам больше не нужна.

— Не понимаю.

— Я хочу сказать, что только действительность заставляет человека чувствовать. А если сделать вид, что ничего не существует, — значит и чувствовать не надо. Очень неплохо выходит — правда, только до известного предела.

— А-а! — протянул Сомс. — Ее мать завтра переезжает сюда совсем. Собрание пайщиков ОГС назначено на половину третьего. Спокойной ночи!

Майкл следил из окна, как жара черной тучей сгущается над сквером. Несколько теплых капель упало на его протянутую ладонь. Кошка, прокравшись мимо фонарного столба, исчезала в густой, почти первобытной тени.

Станный вопрос задал ему «Старый Форсайт» о чувствах. Странно, что именно он спрашивает об этом. «До известного предела! Но не переходим ли мы иногда этот предел?» — подумал Майкл. Взять, например, Уилфрида и его самого — после войны они считали богохульством не признавать, что надо только есть, пить и веселиться: ведь Рее равно завтра умирать! Даже такие люди, как Нэйзинг и Мастер, не бывавшие на войне, тоже так думали после войны. Что же, Уилфрид и проверил это на своей собственной шее, а он — на собственном сердце. И можно сказать наверняка, что каждого, кроме тех, у кого в жилах чернила вместо крови, жизнь рано или поздно здорово проучит. Да ведь сейчас Майкл охотно бы взял на себя все страдания, все опасности, угрожавшие Флер. А почему бы у него появилось такое чувство, если ничто в мире не имеет значения?

Отвернувшись от окна, он прислонился к лакированной спинке изумрудного дивана и стал разглядывать опустевшее пространство между двумя китайскими шкафчиками. Все таки здорово заботливый старик: хорошо, что снял «Обезьяну». Это животное — символ настроения всего мира: вера разрушена, надежда подорвана. И ведь это, черт возьми, не только у молодежи — и старики в таком же настроении! «Старый Форсайт» тоже, конечно, иначе он не боялся бы глаз обезьяны; да, и он, и отец Майкла, и Элдерсон, и все остальные. Ни у молодых, ни у старых нет настоящей веры ни во что! И все же какой-то протест поднялся в душе Майкла, шумный, как стая куропаток. Неправда, что нет ничего вне человека, что бы его по-настоящему затрагивало; неправда, что нет такого другого человека, — есть, черт возьми, все есть! Значит, чувство не умерло; значит, не умерли вера и надежда, что в конце концов одно и то же. Может быть, они только меняют кожу, превращаются из куколок в бабочек, что ли. Возможно, что надежда, чувства, вера

спрятались, притаились, но они существуют — и в «Старом Форсайте», и в нем самом. Майклу даже захотелось опять повесить «Обезьяну». Не стоит преувеличивать ее значение!.. О черт! Ну и молния! Изломанная полоса резкого света сорвала покров темноты с ночи. Майкл стал закрывать окна. Оглушительный удар грома загрохотал над крышей, пошел дождь, хлеща и стегая стекла. Майкл увидел бегущего человека, черного, как тень на синем экране; увидел его при следующей вспышке молнии, необычайно отчетливо и ясно, увидел его испуганно-веселое лицо, как будто говорившее: «О черт! Ну и промок же я!» Еще один бешеный удар! «Флер!», — подумал Майкл и, опустив последнюю раму, побежал наверх.

Она сидела в кровати, и лицо ее казалось по-детски круглым и перепуганным.

«Вот дьяволы! — подумал он, невольно путая грохот пушек и гром. Разбудили ее!» — Ничего, моя маленькая. Просто летнее развлечение. Ты спала?

— Мне что-то снилось!

Он почувствовал, как ее пальцы сжались в его руке, и с бессильной яростью увидел, что ее лицо вдруг стало напряженно-испуганным. Нужно же было!

— Где Тинг?

Собаки в углу не было.

— Под кроватью — не иначе! Хочешь, я его тебе подам?

— Нет, оставь его, он терпеть не может грозы.

Она прислонилась головой к его плечу, и Майкл закрыл рукой ее другое ухо.

— Я никогда не любила грозы, — сказала Флер, — а теперь просто... просто больно!

На лице Майкла, склоненном над ее волосами, застыла гримаса непреодолимой нежности. От следующего удара она спрятала лицо у него на груди, и, присев на кровать, он крепко прижал ее к себе.

— Скорее бы уж кончилось, — глухо прозвучал ее голос.

— Сейчас кончится, детка; так сразу налетело! — Но он знал, что она говорит не о грозе.

— Если все кончится благополучно, я совсем иначе буду к тебе относиться, Майкл.

Страх в ожидании такого события — вещь естественная; но то, как она сказала: «если кончится благополучно» — просто перевернуло сердце Майкла. Невероятно, что такому молодому, прелестному существу может угрожать хоть отдаленная опасность смерти; невысказанно больно, что она должна бояться! Он и не подозревал этого. Она так спокойно, так просто ко всему этому относилась.

— Перестань! — прошептал он. — Ну конечно все сойдет благополучно.

— Я боюсь!

Голос прозвучал совсем тихо и глухо, но ему стало ужасно больно. Природа с маленькой буквы вселила страх в эту девочку, которую он так любит. Природа безбожно грохотала над ее бедной головкой!

— Родная, тебя усыпят, и ты ничего не почувствуешь И сразу станешь веселая, как птичка.

Флер высвободила руку.

— Нет, нельзя усыплять, если ему это вредно. Или это не вредно?

— Думаю, что нет, родная. Я узнаю. А почему ты решила?

— Просто потому, что это неестественно. Я хочу, чтобы все было как следует. Держи мою руку крепче, Майкл. Я... я не буду глупить. Ой! Кто-то стучит, поди взгляни!

Майкл приотворил дверь. На пороге стоял Сомс — какой-то неестественный, в синем халате и красных туфлях.

— Как она? — шепнул он.

— Ничего, ничего.

— Ее нельзя оставлять одну в этой неразберихе.

— Нет, сэр, конечно, нет. Я буду спать на диване.

— Позовите меня, если нужно.

— Хорошо.

Сомс заглянул через его плечо в комнату. В горле у него застрял комок и мешал ему сказать то, что ему хотелось. Он только покачал головой и пошел. Его тонкая фигура, казавшаяся длиннее обычного, проскользнула по коридору мимо японских гравюр, которые он подарил им. Закрыв дверь, Майкл подошел к кровати. Флер уже улеглась; ее глаза были закрыты, губы тихо шевелились. Он отошел на цыпочках. Гроза уходила к югу, и гром рокотал и ворчал, словно о чем-то сожалея. Майкл увидел, как дрогнули ее веки, как губы перестали шевелиться и потом опять задвигались. «Куэ!» подумал он.

Он прилег на диван, недалеко от кровати, откуда он мог бесшумно привстать и посмотреть на нее. Много раз он подымался. Она задремала, дышала ровно. Гром стихал, молния едва мерцала. Майкл закрыл глаза.

Последний слабый раскат разбудил его — и он еще раз приподнялся и поглядел на нее. Она лежала на подушках, в смутном свете затененной лампы — такая юная-юная! Без кровинки, словно восковой цветок! Никаких предчувствий, никаких страхов — совсем спокойная! Если бы она могла вот так проспать и проснуться, когда все будет кончено! Он отвернулся и снова увидел ее — далеко, смутно отраженную в зеркале; и справа — тоже она. Она была везде в этой прелестной комнате, она жила во всех зеркалах, жила неизменной хозяйкой в его сердце.

Стало совсем тихо. Сквозь чуть раздвинутые серо-голубые занавески были видны звезды. Большой Бэн пробил час.

Майкл уже спал или только задремал и что-то видел во сне. Тихий звук разбудил его. Крохотная собачонка с опущенным хвостом, желтенькая, низенькая, незаметная, проходила по комнате, пробираясь в свой уголок. «А-а, — подумал Майкл, закрывая глаза, — это ты!»

XII. ИСПЫТАНИЕ

На следующий день, войдя в «Аэроплан», где его ждал сэр Лоренс, подчеркнуто элегантный, Майкл подумал: «Добрый старый Барт! Нарядился для гильотины!» — По этой белой полосочке они сразу поймут, с кем имеют дело, — сказал он, — у «Старого Форсайта» тоже сегодня хороший галстук, но не такой шикарный.

— А-а! Как поживает «Старый Форсайт»? В хорошем настроении?

— Неудобно было его спрашивать, сэр. А вы сами как?

— Совершенно как перед матчем Итона с Уинчестером. Я думаю, что мне надо за завтраком выпить.

Когда они уселись, сэр Лоренс продолжал:

— Помню, я видел в Коломбо, как человека судили за убийство. Этот несчастный положительно весь посинел. Мне кажется, что самый мой любимый момент в истории, это когда Уолтер Рэйли попросил другую рубашку. Кстати, до сих пор не установлено наверняка — были ли придворные в те времена вшивыми или нет. Что ты будешь есть, мой милый?

— Холодный ростбиф, маринованные орехи и торт с вареньем.

— Делает тебе честь. Я буду есть пилав; здесь превосходно жарят утку! Думаю, что нас сегодня выставят, Майкл. «*Nous sommes trahis*» — было когда-то прерогативой французов, но боюсь, что и мы попали в такое же положение. Всему виной — желтая пресса.

Майкл покачал головой.

— Мы так говорим, но мы поступаем по-другому. У нас климат не такой.

— Звучит глубокомысленно. Смотри, какой хороший пилав, не возьмешь ли и ты? Тут иногда бывает старик Фонтеной, его денежные дела не блестящи. Если нас выставят, для него это будет серьезно.

— Чертовски странно, — вдруг сказал Майкл, — как все-таки еще титулы в ходу. Ведь не верят же в их деловое значение?

— Репутация, дорогой мой, — добрый, старый английский джентльмен. В конце концов в этом что-то есть.

— Я думаю, сэр, что у пайщиков это просто навязчивая идея. Им еще в детстве

родители показывают лордов.

— Пайщики, — повторил сэръ Лоренс, — понятие широкое. Кто они, что они такое, когда их можно видеть?

— Когда? Сегодня в три часа, — сказал Майкл, — и я собираюсь их хорошенько рассмотреть.

— Но тебя не пропустят, мой милый.

— Неужели?

— Конечно, нет.

Майкл сдвинул брови.

— Какая газета там наверняка не будет представлена? — спросил он.

Сэръ Лоренс засмеялся тоненьким, пискливым смехом.

— «Нива», — сказал он, — «Охотничий журнал», «Садовник».

— Вот я и проскочу за их счет.

— Надеюсь, что если мы и умрем, то смертью храбрых, — сказал сэръ Лоренс, внезапно став серьезным.

Они вместе взяли такси, но, не доехав до отеля, расстались.

Майкл передумал насчет прессы и просто решил занять наблюдательный пост в коридоре и ждать случая. Мимо него проходили толстые люди в темных костюмах, по которым сразу было видно, что они ели на завтрак палтус, филе и сыр. Он заметил, что каждый подавал швейцару бумажку. «Я тоже суну ему бумажку и проскочу», — подумал Майкл. Высмотрев группу особенно толстых людей, он спрятался между ними и прошел в дверь, держа в руке объявление о выходе в свет «Подделок». Показав ее через плечо осанистого толстяка, он быстро проскользнул в зал и сел. Он видел потом, как швейцар заглядывал в дверь. «Нет, мой милый, — подумал он, — если бы ты умел отличать всякий сброд от пайщиков, тебя бы тут не держали».

Он нашел на своем месте повестку и, прикрывшись ею, стал рассматривать присутствующих. Ему казалось, что это помещение — помесь концертного зала с железнодорожной станцией. В глубине была эстрада с длинным столом, за которым стояло семь пустых стульев; на столе — семь чернильниц с семью гусиными перьями, торчавшими стоймя. «Гусиные перья! подумал Майкл. — Наверно, это просто символ: теперь у каждого есть вечная ручка».

Сзади эстрады была дверь, а перед эстрадой, пониже, — столик, за которым четыре человека поигрывали блокнотами. «Оркестр», — подумал Майкл. Он стал разглядывать пайщиков, рассеявшихся в восемь рядов. Весь их облик выдавал в них пайщиков — Майкл сам не знал почему. Лица у них были самые разнообразные, но у всех было выражение, как будто они ждут чего-то, чего им, наверно, не получить. Какую жизнь они ведут? Или жизнь ведет их? Почти у всех у них усы. Справа и слева от него сидели те самые толстяки, с которыми он проскользнул в зал; у них были пухлые ушные мочки, а шеи были еще шире, чем плоские, широкие затылки. Майкл был подавлен. Среди пайщиков маячило несколько женщин и два-три пастора. Никто не разговаривал, из чего он заключил, что никто друг друга не знает. Он подумал, что, появившись в зале собака, обстановка стала бы более человеческой. Он рассматривал зеленоватые стены с коричневым бордюром и золотыми орнаментами, когда дверь за эстрадой распахнулась и семь человек в черных сюртуках вошли и с легким поклоном уселись за стол, против гусиных перьев. Майклу они напомнили военных, садящихся на коней, или пианистов перед игрой — Так они пристраивались. Этот — справа от председателя — наверно, старый лорд Фонтеней. Какие у него подвижные черты лица! Майклу пришла в голову нелепая фантазия: внутри черепа сидит маленький человечек в белом цилиндре и правит этими чертами, как четверкой. Следующее лицо словно сошло с портрета «Министры ее величества королевы Виктории в 1850 году» — круглое и розовое, с прямым носом, маленьким ртом и беленькими бачками. Справа, в конце, сидел человек с выступающим подбородком и глазами, буравившими стену сзади Майкла. «Юрист!» — подумал Майкл. Он перевел взгляд на председателя. Еврей он или нет?

Бородатый человек, рядом с председателем, начал что-то читать по книге, быстро и монотонно. Должно быть, секретарь — строчит как пулемет свои протоколы. Дальше сидел, очевидно, новый директор-распорядитель, возле которого Майкл увидел своего отца. Темная закорючка над правым глазом сэра Лоренса была чуть-чуть приподнята, и губы поджаты под ровной линией коротких усов. В его внешности, живой и в то же время спокойной, чудилось что-то восточное. В левой руке, между большим и указательным пальцами, он держал свой черепаховый монокль. «Не совсем подходит к обстановке, — подумал Майкл, — бедный старый Барт!» Наконец, он перешел к последнему, крайнему слева. «Старый Форсайт» сидел, точно он был один на свете; правый угол рта был чуть опущен, левая ноздря чуть приподнята. Майклу понравился его вид удивительно независим и все-таки не выпадает из общего тона. В этой спокойной, аккуратной фигуре, в которой живым казался только чуть подрагивающий кончик лакированного ботинка, была полная сосредоточенность, полное уважение ко всему происходившему, и в то же время странное презрение ко всему на свете. Он походил на статую действительности, вылепленную скульптором, не верившим в действительность. «Около него замерзнуть можно, — подумал Майкл. — И все же, черт побери! Не могу не восхищаться им».

Председатель встал. «Еврей? Нет, не еврей. Не знаю», — думал Майкл. Он едва слушал, что говорил председатель, решая, еврей он или нет, хотя сам прекрасно понимал, что это безразлично. Председатель продолжал говорить. Майкл рассеянно ловил его слова: «Положение в Европе — ошибочная политика — французы — совершенно неожиданно — создававшаяся конъюнктура директор — непредвиденные обстоятельства, которые сейчас нам разъяснят, — будущее этого крупного предприятия — нет оснований сомневаться...» «Подмасливает, — подумал Майкл, — кажется, он все-таки... а впрочем...» — Теперь я попрошу одного из наших директоров, мистера Форсайта, изложить сущность этого тягостного дела.

Сомс, бледный и решительный, достал из внутреннего кармана листок бумаги и встал — ну, как-то он выпутается?

— Я буду краток в изложении фактов, — проговорил он голосом, напомнившим Майклу старое, терпкое вино. — Одиннадцатого января сего года ко мне явился клерк, служивший в нашем Обществе...

Знакомый с этими подробностями, Майкл слушал невнимательно, стараясь уловить на лицах пайщиков какую-нибудь реакцию. Но он ничего не увидел и вдруг понял, зачем они носят усы: они не доверяют своим ртам. Характер сказывается в складе рта. Усы вошли в моду, когда люди перестали говорить, как герцог Веллингтон: «А, думайте обо мне что хотите, черт побери!» Перед войной бритые губы начали было опять входить в моду, но ни у майоров, ни у пайщиков, ни у рабочих успеха не имели. Майкл услышал слова Сомса:

— Ввиду таких обстоятельств, мы пришли к заключению, что остается только ждать у моря погоды.

Майкл увидел, как по всем усам, словно ветер по лугу, пробежала внезапная дрожь. «Неудачно сказано, — подумал он, — мы все так поступаем, но не любим, когда нам об этом напоминают».

— Однако шесть недель назад, — продолжал Сомс, повысив голос, — из случайного инцидента ваш бывший директор-распорядитель, очевидно, понял, что сэр Лоренс Монт и я еще не отказались от наших подозрений, ибо я получил от него письмо, в котором он фактически признает, что брал втайне комиссионные за эти германские страховки, и просит меня уведомить правление, что он уехал за границу, не оставив никакого имущества. Мы постарались все это проверить. При таких обстоятельствах нам не оставалось никакого выхода, как только созвать вас всех и изложить перед вами факты.

Голос, не изменившийся ни на йоту, замолк; и Майкл увидел, как его тесть вернулся в свое одиночество. Аист на одной ноге, собирающийся клюнуть насекомое, и тот не казался бы таким одиноким. «Ужасно похоже на первый отчет о Ютландском бое, — подумал Майкл, — он перечислил все потери и не внес ни одной человеческой нотки».

Наступила пауза, как бывает, когда человек оказывается перед чужим забором и еще не нашел ворот. Майкл окинул взглядом всех членов правления. Только один из них проявил признаки жизни: он поднес платок к носу. Громкий звук сморкания нарушил оцепенение. Два пайщика сразу вскочили на ноги, один из них — сосед Майкла справа.

— Слово принадлежит мистеру Содри, — сказал председатель, и второй пайщик сел. Громогласно откашливаясь, сосед Майкла обратил к Сомсу свою тупую красную физиономию.

— Разрешите спросить вас, сэр, почему вы не уведомили правление, как только слышали об этом?

Сомс привстал.

— Надеюсь, вам небезызвестно, что такое обвинение без достаточных обоснований рассматривается как подсудное дело?

— Нет, вас бы не выдали.

— Члены правления — конечно; но малейшие слухи могли дать повод обвинить нас в клевете. Мы знали все только с чужих слов.

— Может быть, сэр Лоренс Монт изложит нам свое мнение?

У Майкла забилось сердце. Что-то легкомысленно-веселое было в фигуре его отца, когда он встал.

— Вы не должны забывать, сэр, что мистер Элдерсон в течение многих лет пользовался нашим полным доверием; он был настоящим джентльменом, и, будучи его старым школьным товарищем, я лично предпочел поверить его слову и одновременно... гм... не упускать из виду того, что мы узнали.

— Ага, — сказал сосед Майкла, — а что имеет сказать председатель насчет того, что правление держали в неведении?

— Мы вполне удовлетворены, сэр, той позицией, которую заняли наши директора в столь щепетильном положении. Соблаговолите принять во внимание, что злоупотребление было уже совершено, и излишняя торопливость не была бы ничем оправдана.

Майкл заметил, что шея его соседа покраснела еще больше.

— Я не согласен, — сказал он. — «Ждать у моря погоды»! Да мы могли бы у него отнять эти коммиссионные, если бы его сразу захватить. — И он сел.

Не успел он опуститься в кресло, как встал второй пайщик.

— Слово мистеру Боттерилу, — сказал председатель.

Майкл увидел узкую, прилизанную голову на волосатой, вдавленной с боков шее и слегка согнутую спину, как у врача, когда он выслушивает больного.

— Если я вас правильно понял, сэр, — начал он, — эти два директора представляют общую позицию правления, и правление ничего не имело возразить против того, что находившийся на подозрении человек оставался директором-распорядителем. Джентльмен крайний слева, — кажется, мистер Форсайт, — говорил о «случайном инциденте». Если бы не этот инцидент, мы бы до сих пор оставались в руках беззастенчивого афериста. Это очень тревожный симптом. Очевидно, мы слишком слепо доверяли нашему правлению; пример такого рода излишнего доверия, вероятно, всем вам памятен. Политика страхования иностранных операций была явно затеяна директором-распорядителем в его собственных интересах. Мы потерпели на этом значительные убытки. И перед нами встает вопрос: может ли правление, которое доверяло подобному лицу и продолжало ему доверять после того, как против него возникли подозрения, — может ли такое правление стоять во главе солидного предприятия?

Майклу даже стало жарко во время этой речи.

«Старый Форсайт» был прав в конце концов, — подумал он, — они все-таки взбеленились» Стул его левого соседа вдруг скрипнул.

— Мистер Толби, — произнес председатель.

— Это, джентльмены, дело серьезное. Я предлагаю правлению удалиться и дать нам посоветоваться.

— Поддерживаю, — сказал сосед Майкла справа.

Обводя глазами стол правления, Майкл поймал взгляд Сомса, узнавшего его, и приветственно ухмыльнулся.

Заговорил председатель:

— Если вам так угодно, джентльмены, мы будем счастливы пойти вам навстречу. Кто за это предложение, прошу поднять руку!

Все подняли руки, за исключением Майкла, двух женщин, которым оживленный разговор помешал услышать предложение, и одного пайщика, который сидел впереди Майкла неподвижно, как мертвый.

— Принято, — сказал председатель и поднялся с места.

Майкл увидел, что его отец встал и с улыбкой говорит что-то «Старому Форсайту». Правление вышло гуськом, и дверь закрылась.

«Что бы ни случилось, надо молчать, а то еще ляпнешь что-нибудь», подумал Майкл.

— Может быть, представители печати тоже соблаговолят удалиться? сказал кто-то.

Обиженно вздернув подбородки, как будто ни у кого не желая спрашивать разрешения, четверо репортеров захлопнули блокноты. Когда они с явной неохотой удалились, среди пайщиков поднялось движение, как в стае уток, когда сзади подбежит собака. Майкл сразу догадался о причине: они сидели спиной друг к другу. Один из них сказал:

— Может быть, мистер Толби, внесший предложение, возьмет на себя роль председателя?

Сосед Майкла слева тяжело засопел.

— Хорошо, — сказал он, — кто захочет говорить, пусть повернется ко мне.

Все заговорили сразу, как будто желая узнать мнение всех, прежде чем выступить. Мистер Толби так сопел, что Майкл положительно ощущал сквозняк.

— Слушайте, джентльмены, — вдруг объявил он. — Так нельзя! Можно и без лишних формальностей, но надо сохранять порядок. Я выскажусь первым. Я не хотел обижать директоров, говоря в их присутствии. Но, как сказал вон тот джентльмен, мы должны защищаться и от жуликов и от разгильдяев. Мы все знаем, что было и что будет в других обществах, если мы, пайщики, за себя не постоим. Так вот, во-первых, я скажу: нечего им было затевать дела с немчурой — это раз; во-вторых, они оказались недалёковидными это два; а в третьих, я должен сказать, что все они уж слишком держатся друг за дружку. Рука руку моет По-моему, надо вынести вотум недоверия.

В смешанный шум возгласов: «Слушайте! Слушайте!» — и каких-то неопределенных звуков вдруг ворвалось резкое «нет» со стороны пайщика, казавшегося мертвым. Майкл всей душой ему сочувствовал, тем более что тот все еще казался мертвым. Затем поднялся худой вылощенный человек с короткими седыми усиками.

— Вы меня извините, сэр, — начал он, — но ваше предложение кажется мне непродуманным. Мне любопытно было бы узнать, как бы вы сами стали действовать на месте нашего правления. Очень легко осуждать других.

— Слушайте! Слушайте! — сказал Майкл и сам удивился.

— Очень легко, — продолжал вылощенный джентльмен, — когда случается такая история, бранить правление, но я сам состою директором и хотел бы знать, кому можно доверять, как не своему директору-распорядителю? Что же касается страхования иностранных операций, то нам об этом сообщали на двух заседаниях, и мы в течение двух лет преспокойно получали с них дивиденды. Разве мы возражали против этого?

Мертвый пайщик так громко сказал «нет», что Майкл чуть не погладил его по голове.

Встал пайщик с докторской спиной.

— Я не схожусь в диагнозе с предыдущим оратором. Предположим, что он прав, и рассмотрим дело глубже. Всякий судит по результатам. Когда правительство делает ошибку, избиратели восстают против него, как только почувствуют на себе последствия этой ошибки. Это прекрасная проверка системы управления — может быть, слишком примитивная, но из двух зол это меньшее. Правление ответственно за свою политику: когда она убыточна —

правление должно платить. Мистер Толби, будучи нашим неофициальным председателем, может быть, нарушил порядок, самолично предложив вотум недоверия; в таком случае я с радостью вношу это предложение от своего лица.

«Нет!» мертвого пайщика раздалось на этот раз так громогласно, что все замолчали, ожидая, что он заговорит, Однако он и тут не шевельнулся. Оба соседа Майкла вскочили с мест. Они закивали друг на Друга над его головой, и мистер Толби сел.

— Мистер Содри, — сказал он.

— Слушайте, джентльмены, — сказал мистер Содри, — и леди тоже! Мне кажется, мы нашли компромисс. Директоры, которые знали об управляющем, должны уйти; но на этом можно и остановиться. Джентльмен, сидящий впереди меня, все время говорит «нет». Пусть он выскажет свое мнение.

— Нет! — сказал мертвый пайщик уже не так громко.

— Ежели человек не может высказать своих взглядов, — закончил мистер Содри, чуть не сев на Майкла, — так нечего ему, по-моему, перебивать других.

Один пайщик из переднего ряда повернулся лицом к собранию.

— Я думаю, — сказал он, — что продолжать дискуссию — бесполезная трата времени, поскольку у собравшихся имеется два, если не три разных мнения по этому вопросу. Весь строй нашей страны основан на системе выбора доверенных представителей; хорош такой порядок или плох, но факт остается фактом. Кому-нибудь надо доверять. В нашем частном случае у нас пока что нет оснований не доверять правлению; и, как я сужу, у правления не было в прошлом никаких причин не доверять бывшему директорураспорядителю. Мы зашли бы слишком далеко, если бы в настоящее время предложили что-нибудь определенное, вроде вотума недоверия; мне кажется, мы могли бы предложить правлению вернуться в зал и выслушать, какие они нам дадут гарантии против повторения чего-либо подобного в будущем.

Гомон, вызванный этой умеренной речью, был так неразборчив, что Майкл не мог уяснить его смысл. Последовавшая затем речь была совсем иного рода. Произнес ее пайщик справа, рыжеволосый, со светлыми ресницами, подстриженными усами и нечистым цветом лица.

— Я бы ничего не имел против того, чтобы пригласить директоров, — начал он с некоторой насмешкой в голосе, — и провести вотум недоверия в их присутствии. Но возникает другой вопрос, которого еще никто не коснулся: можем ли мы, дав им отставку, взыскать с них убытки? Дело было бы спорное, однако не безнадежное. Если же мы их не отставим, то совершенно очевидно, что мы, при всем желании, ничего не сможем предпринять против них.

Эта речь произвела совсем иной эффект. Пайщики вдруг замолкли, как будто услышав наконец, нечто действительно важное. Майкл покосился на мистера Толби. Выпученные круглые глаза толстяка застыли в напряженной задумчивости. «Смотрит, как форель на муху», — подумал Майкл. Мистер Толби вдруг встал.

— Правильно, — сказал он, — надо их позвать!

— Да, — сказал мертвый пайщик.

Возражений не было. Майкл увидел, что кто-то взошел на эстраду.

— Впустите представителей печати, — добавил мистер Толби.

XIII. СОМС ПРИЖАТ К СТЕНЕ

Когда за удалившимися директорами закрылась дверь, Сомс отошел к окну, как можно дальше от буфета, где они завтракали перед собранием.

— Похоронное настроение, а, Форсайт? — сказал голос у его уха. — Полагаю, что теперь нам крышка. У бедного Мозергилла ужасно унылый вид. По-моему, он, как Рэйли, должен попросить другую рубашку.

Сомс почувствовал, как все его упорство встало на дыбы.

— Нужно было взяться за дело как следует, — проворчал он. — Председатель для этого совершенно не годится.

Эх, старый дядя Джолион! Он бы живо с ними справился — тут нужна была крепкая рука.

— Это нам всем предупреждение против излишней лояльности. Слишком уж это несовременно. А-а, Фонтеной!

Подняв голову. Сомс увидел подвижное лицо Фонтеноя.

— Ну-с, мистер Форсайт! Надеюсь, вы удовлетворены. Прескверная история. Будь я председателем, я бы ни за что не покинул зал. Никогда не спускайте глаз с собак, Монт. Отвлекитесь — и они на вас накинутся. Я бы с наслаждением прошелся по рядам с хлыстом и непременно бы отхлестал тех двух толстомордых типов — они-то главные заправилы! Если у вас нет какого-нибудь запасного аргумента, мистер Форсайт, мы пропали!

— Какой же у меня может быть запасной аргумент? — холодно спросил Сомс.

— Черт возьми, сэр! Ведь это вы заварили всю кашу, теперь ваше дело ее расхлебывать! Я не могу лишиться директорского жалованья.

Сомс услышал, как сэр Лоренс пробормотал: «Слишком резко, мой милый Фонтеной», — и сказал сердито:

— Может быть, вам придется потерять больше, чем ваше директорское жалованье!

— Не могу! Пускай они тогда забирают Иглскорт хоть завтра и избавят меня от убытков. — Обида вдруг вспыхнула в глазах старика. — Государство прижимает вас к стенке, обирает до нитки и еще ждет, чтобы вы ему служили без всякого вознаграждения. Так нельзя, Монт, нельзя!

Сомс отвернулся; у него не было ни малейшего желания разговаривать будто он стоял перед открытой могилой и следил, как медленно опускается гроб. Конец его непогрешимости! Сомс не обольщался. Завтра все это попадет в газеты — и его репутация дальновидного человека будет навсегда подорвана. Горько! Уж Форсайты больше никогда не скажут: «Сомс полагает...» Не будет больше старый Грэдмен следить за ним глазами преданной собаки, иногда ворча, но всегда подчиняясь непогрешимому хозяину. Тяжелый удар для старика! Деловые знакомые — правда, их не так уж много осталось — не будут больше смотреть на него с завистливым уважением. Интересно, достигнут ли слухи Думетриуса и торговцев картинами. Единственное утешение, что Флер не узнает. Флер! Ах, если бы у нее все прошло благополучно! На минуту он забыл обо всем остальном. Потом действительность снова нахлынула на него. Почему они все разговаривают так, как будто в комнате покойник? Впрочем, пожалуй, в комнате и правда покойник — его бывшая непогрешимость! Денежные потери казались ему делом второстепенным, отдаленным, неправдоподобным, как будущая жизнь. Монт что-то сказал насчет лояльности. Какое отношение имеет ко всему этому лояльность? Но если они думают, что он собирается трусить, — они жестоко ошибаются. Он ощутил прилив упрямой решимости. Пайщики, директора — пусть воют, пусть потрясают кулаками: он собой помыкать не позволит! Он услышал голос:

— Прошу пожаловать, джентльмены.

Сомс снова занял место перед торчавшим без употребления гусиным пером; его поразила тишина. Пайщики ждали, что скажут директора, а директора ждали пайщиков. «Я бы с наслаждением прошелся по их рядам с хлыстом!» Нелепые слова произнесла эта «старая морская свинка», но какой-то смысл в них есть.

Наконец председатель, чей голос напоминал Сомсу кислый винегрет, политый маслом, иронически произнес:

— Что же, мы к вашим услугам, джентльмены.

Толстый краснолицый человек, сидевший подле Майкла, раскрыл пасть.

— Коротко говоря, господин председатель, мы совершенно не удовлетворены; но прежде чем принять решение, мы бы желали послушать, что вы скажете.

Кто-то вскочил под носом у Сомса и добавил:

— Мы бы хотели знать, сэр, какие гарантии вы можете нам дать против повторения чего-либо подобного в будущем.

Сомс увидел, как председатель улыбнулся, — нет у него настоящей выдержки!

— Разумеется, никакой, сэр, — проговорил председатель. — Вряд ли вы полагаете, что если бы мы знали, как наш директор-распорядитель злоупотребляет нашим доверием, мы держали бы его на службе лишнюю минуту.

«Не годится, — подумал Сомс, — он сам себе противоречит, и этот толстомордый тип, наверно, заметил».

— В том-то и дело, сэр, — сказал он. — Двое из вас знали, и все-таки этот мошенник сидел несколько месяцев на своем посту, обдывая свои дела и обкрадывая Общество, как только мог.

Все вдруг словно сорвались с цепи:

— А помните, что вы говорили?

— Вы взяли на себя коллективную ответственность.

— Вы говорили, что вполне одобряете поведение ваших содиректоров в этом деле.

Настоящая свора собак!

Сомс увидел, что председатель в сомнении наклонил голову, старик Фонтеной что-то бормотал, старик Мозергилл сморкался, Мэйрик пожимал острыми плечами. Вдруг их заслонил от него сэр Лоренс Монт, вставший с места.

— Разрешите мне слово! Что касается меня лично, то я считаю невозможным принять великодушную попытку председателя, которому угодно взять на себя часть ответственности, целиком лежащей на мне. Если я допустил ошибку, не рассказав о наших подозрениях, я должен за нее расплатиться, и я думаю, что могу... м-м... упростить ситуацию, если попрошу собрание принять мою отставку.

Он слегка поклонился, вставил монокль в глаз и сел.

Слова были встречены ропотом одобрения, удивления, порицания, восхищения. Это был благородный жест. Но Сомс не верил в благородные жесты в них всегда была Доля хвастовства. Неожиданно его охватило бешенство.

— По-видимому, — сказал он вставая, — я являюсь вторым обвиняемым директором. Очень хорошо. Я полагаю, что от начала до конца выполнял только свой долг. Я убежден, что не допустил никакой ошибки. Я считаю в корне неправильным, что я должен за что-то расплачиваться. Я и так достаточно беспокоился и тревожился, а теперь становлюсь козлом отпущения для пайщиков, которые безропотно приняли политику иностранных страхований еще раньше, чем я вступил в правление, а теперь возмущаются, что она принесла им убытки. Я добился того, что эта политика была прекращена; я добился того, что мошенник не стоит больше во главе Общества, и, наконец, я добился того, что вас сегодня созвали для обсуждения этого вопроса. Я отнюдь не намерен петь перед вами Лазаря. Но существует и другая сторона дела. Я не считаю возможным отдавать свои услуги людям, которые их не ценят. Меня возмущает ваше сегодняшнее поведение. Если кто-нибудь считает, что у него есть ко мне претензии — пусть подаст в суд. Я с удовольствием доведу это дело до Палаты лордов, если нужно. Я всю жизнь работаю в Сити и не привык к подозрениям и неблагодарности. Если то, что произошло здесь, — образец современных нравов, то больше меня в Сити не увидят. Я не прошу собрание принять мою отставку — я ухожу!

Поклонившись председателю и оттолкнув свой стул, он твердо пошел к двери, распахнул ее и вышел. Он отыскал свою шляпу. Он ни на секунду не сомневался, что преподнес им хороший сюрприз. Как эти толстомордые разинули рты! Ему очень хотелось посмотреть, что там творится, но он решил, что еще раз открыть дверь — несовместимо с чувством собственного достоинства. Вместо этого он взял сэндвич и начал уничтожать его, став спиной к двери, со шляпой на голове. Вдруг рядом послышался голос:

— «И что произошло дальше — его не интересовало».

Вот не думал, Форсайт, что вы такой оратор! Вы им здорово задали. Первый раз видел, чтобы собрание так бесилось. Что ж, вы спасли правление, отведя всю их досаду на себя

лично. Это был удивительно благородный жест, Форсайт.

— Ничего подобного, — буркнул Сомс, дожевывая сэндвич. — Вы тоже ушли?

— Да, я настоял на своей отставке. Когда я выходил, этот красномордый человек предлагал вотум доверия правлению — и вотум пройдет, Форсайт, вот увидите. Кстати, они что-то говорили о материальной ответственности.

— Говорили? — Сомс сердито усмехнулся. — Ну, этот номер не пройдет. Единственное, что они могли еще сделать, — это предъявить иск правлению за заключение иностранных контрактов *ultra vires*; а раз они утвердили правление после того, как вопрос был поднят на общем собрании, они сами себя закопали. А нас с вами, конечно, нельзя притянуть за то, что мы не раскрыли наших подозрений, — это факт!

— И то хорошо, — вздохнул сэр Лоренс. — Но вы, Форсайт, вы никогда в жизни не произносили лучшей речи!

Сомс и сам это знал — и все-таки покачал головой. Он не только боялся, что о нем заговорят газеты, он еще вдруг почувствовал, что вел себя экстравагантно: никогда не следует выходить из себя! Горькая усмешка тронула его губы. Никто, даже Монт, не понимает, как несправедливо с ним обошлись.

— До свидания, — сказал он, — я ухожу.

— Я, пожалуй, подожду, Форсайт, посмотрю развязку.

— Развязку? Назначат двух других дураков и распустят слюни от умиления. Пайщики!

Прощайте!

Он двинулся к выходу.

Проходя мимо Английского банка, он почувствовал, будто уходит от своей собственной жизни. Его пронизательность, его осведомленность, его деловой опыт — все опозорено! Не хотят? Что ж, и не надо! Попробуйте заставить его еще когда-нибудь вмешиваться в эти дела. И это и вообще все современное положение вещей — одно и то же: крохоборство; а настоящих людей оттесняют к стенке — людей, для которых фунт есть фунт, а не случайный клочок бумаги, людей, которые знают, что благо страны — это честное, строгое ведение своих собственных дел. Такие люди больше не нужны. Одного за другим их выставят, как выставили его, ради всяких проходимцев, революционеров, беззаботных типов или ловких, беспринципных людей вроде Элдерсона. Это настоящее поветрие. Честность! Нельзя обыкновенную честность подменить сидением меж двух стульев.

Он свернул в Полтри, не подумав, зачем он туда идет. Что ж, пожалуй, надо сразу сказать Грэдмену, что он может теперь вести дела по собственному усмотрению. На углу переулка он еще раз остановился, как будто хотел запечатлеть его в памяти. Да, он откажется от всех доверенностей, и частных и других. Он не желает, чтобы над ним подсмеивались его собственные родственники. Но волна воспоминаний заставила его сердце сжаться от боли. Сколько было подписано доверенностей, возобновлено договоров, продано домов, распределено вкладов там, в его кабинете; какое удовлетворение он испытывал от правильного управления имуществом! Что ж, он и будет управлять своим собственным имуществом. А другие пусть сами заботятся о себе. Туго же им придется при нынешних настроениях!

Он медленно поднялся по каменной лестнице.

В святилище форсайтских дел он увидел непривычное зрелище: Грэдмена не было, а на большом тяжелом столе рядом с соломенной кошелкой лежала большая, тяжелая дыня. Сомс понюхал воздух. Дыня пахла изумительно. Он поднес ее к окну. Зеленовато-желтый цвет, кружевная сетка жилок — что-то в ней совсем китайское! Будет ли старый Грэдмен так же разбрасывать корки, как та белая обезьяна?

Он еще держал дыню в руках, когда раздался голос:

— А-а! Я вас не ждал нынче, мистер Сомс. Я собирался уйти пораньше, у моей жены сегодня гости.

— Как же, вижу, — сказал Сомс, водворяя дыню на место. — Сейчас вам и нечего

делать, я только зашел просить вас составить отказы от доверенностей по форсайтским делам.

На лице старика появилось такое выражение, что Сомс не мог сдержать улыбки.

— Пожалуй, оставьте дела Тимоти; от остальных я отказываюсь. Можно их передать молодому Роджеру. Ему делать нечего.

Ворчливо и угодливо старик сказал:

— Ох, не понравится им это!

Сомс рассердился.

— Ничего, утешатся. Я хочу отдохнуть.

Он не собирался входить в объяснения — Грэдмен сам все прочтет завтра в «Вестнике финансов», или что он там выписывает.

— Значит, я теперь вас буду редко видеть, мистер Сомс? По делам мистера Тимоти ничего обычно не бывает. Ах, боже мой! Я просто огорчен. А как же с доверенностью вашей сестры?

Сомс посмотрел на Грэдмена и ощутил легкие угрызения совести — как всегда, когда чувствовал, что его ценя г.

— Ну, ее можно сохранить. Свои дела я тоже, разумеется, буду вести сам. Всего лучшего, Грэдмен! Дыня прекрасная.

Он вышел, не дожидаясь ответа. Вот старик! Но и он недолго продержится, хотя вид у него бравый. Трудно будет подобрать другого такого.

Выйдя снова в Полтри, он решил идти на Грин-стрит и повидать Уинифрид — странно и неожиданно он почувствовал тоску по Парк-Лейн, по прежним спокойным дням, по своему замкнутому и благополучному детству под крылышком Джемса и Эмили. Уинифрид одна воплощала теперь его прошлое; ее твердый характер никогда не менялся, как бы она ни гонялась за модой.

Он застал ее в платье, не совсем подходящем ей по возрасту, за чашкой китайского чая; она его, правда, терпеть не могла, но что поделаешь, всякий другой чай — вульгарность. Она завела себе попугая: попугаи опять входили в моду. Птица нестерпимо шумела. Под влиянием ли этого, или от китайского чая, заваренного по-английски из смеси, специально изготавливаемой в Китае для иностранцев, и плохо действовавшего на Сомса, последний неожиданно для себя рассказал ей всю историю.

Когда он кончил, Уинифрид успокаивающе проговорила:

— И отлично сделал, Сомс; так им и надо.

Понимая, что представил дело не в том свете, в каком его покажут публике, Сомс заметил:

— Все это превосходно, но в финансовых газетах ты найдешь совершенно другую версию.

— О, но ведь их никто не читает. Я бы лично не беспокоилась. Ты делаешь упражнения Куэ? Такой приятный человечек. Я вчера ходила его слушать. Иногда скучновато, но это последнее слово науки.

Сомс сделал вид, что не слышит, — он никогда не признавался в своих слабостях.

— А как Флер, как ее дела? — спросила Уинифрид.

— Дела! — отозвался голос над головой. Эта птица!

Она висела на парчовой занавеси, вертя головой вниз и вверх.

— Полли! — прикрикнула Уинифрид. — Не шали!

— Сомс! — крикнула птица.

— Слышишь, как я ее выучила? Ну не душка ли?

— Нет, — буркнул Сомс. — Я бы ее посадил в клетку, она испортит тебе занавеси.

Все сегодняшние обиды вдруг вспомнились ему. Что такое жизнь? Кривлянье попугаев. Разве люди видят правду? Они просто повторяют друг друга, как эта свора пайщиков, или вычитывают свои драгоценные убеждения в «Ежедневном вруне». На одного вожака приходится сотня баранов, идущих за ним.

— Оставайся обедать, мой дорогой, — сказала Унифрид.

Да! Он останется обедать. Не найдется ли у нее случайно дыни? Ему совершенно не хотелось обедать наедине с женой на Саут-сквер. Флер, наверно, не выйдет из своей комнаты. Что же касается Майкла — он сам все видел и слышал; нечего еще раз пережевывать.

Он мыл руки перед обедом, когда горничная за дверью сказала:

— Вас просят к телефону, сэр!

Голос Майкла прозвучал по телефону напряженно я хрипло.

— Это вы сэр?

— Да, в чем дело?

— У Флер началось. В три часа. Я вас никак не мог найти.

— Что? — крикнул Сомс. — Говорите скорее, как?

— Говорят, идет нормально. Но это такой ужас. Теперь, говорят, скоро кончится. —

Голос оборвался.

— Господи! — пробормотал Сомс. — Где моя шляпа?

У двери горничная спросила:

— Вы вернетесь к обеду, сэр?

— Обед! — буркнул Сомс и вышел.

Он шел быстро, чуть не бегом, ища глазами такси. Конечно, ни одного нет. Ни одного! Против «Айсиум-Клуба» он поймал машину с опущенным верхом по случаю хорошей погоды после вчерашней грозы. Ох, эта гроза! Надо было предвидеть. На десять дней раньше срока! Почему, черт возьми, он не пошел прямо туда или по крайней мере не позвонил сказать, где он будет? Все, что случилось в этот день, развеялось как дым. Бедная девочка! Бедная крошка! Как же насчет обезболивания? Почему он не был там вовремя? Он мог бы... хотя... природа! Природа, черт бы ее побрал! Как будто она не могла оставить в покое Флер!

— Скорее! — бросил он шоферу. — Заплачу вдвойне.

Мимо «Клуба знатоков», мимо дворца, по Уайтхолу, мимо всех заповедных мест, откуда была изгнана природа, охваченный самыми примитивными чувствами, ехал Сомс, посеревший от волнения. Мимо Большого Бэна — без пяти восемь! Пять часов! Пять часов такой муки!

— Скорее бы все кончилось, — пробормотал он вслух, — скорее бы, господа!

XIV. ПЫТКА

Когда его тесть поклонился председателю и вышел, Майкл еле удержался, чтоб не крикнуть «браво!». Кто бы подумал, что старик так разойдется! Да, он им показал ал, что и говорить! Несколько минут стоял сплошной гул голосов, прежде чем его соседу, мистеру Содри, удалось всех перекричать.

— Теперь, когда замешанный в это дело директор подал в отставку, я имею предложить вотум доверия остальным членам правления.

Майкл увидел, как его отец поднялся, чуть фатоватый и улыбающийся, и поклонился председателю.

— Я считаю свою отставку также принятой, если разрешите, я присоединюсь к мистеру Форсайту.

Кто-то сказал:

— Я охотно поддержу вотум доверия.

Задев колени мистера Содри, Майкл пошел к выходу. Обернувшись, он увидел, как почти все подняли руки за вотум доверия. «Брошены на растерзание пайщикам!» — подумал он и вышел из зала. Из деликатности он не стал разыскивать своих стариков. Они спасли свое достоинство, зато все остальное полетело к черту.

Шагая по улице, он размышлял о тернистых путях справедливости. Конечно, пайщики были в обиде; кто-нибудь должен был получить по шее, чтобы удовлетворить их чувство

справедливости. Они прицепились к «Старому Форсайту», который меньше всех виноват. Ведь если бы Барт держал язык за зубами, они, конечно, и его бы включили в вотум доверия. Все очень естественно и нелогично. И уже четыре часа.

«Подделки!» Старое чувство к Уилфриду проснулось в нем сегодня, в день выхода книги. Надо сделать все, что можно, чтобы его книгу пустить в ход. Бедный старый дружище! Просто нельзя допустить, чтобы ее холодно приняли.

Он зашел к двум крупным книготорговцам, потом отправился в свой клуб и заперся в телефонной будке. В прежнее время обычно брали кэб и объезжали всех. Звонить по телефону быстрее — впрочем, как ли? С бесконечными затруднениями он наконец поймал Сибли, Нэйзинга, Эпшира, Мастера и еще с полдюжины избранных. Он нарочно подчеркивал то, что их могло затронуть. Эта книга, говорил он, обязательно должна вызвать злобу старой гвардии и вообще всяких снобов; поэтому надо, чтобы сочувствующие ее поддержали. С каждым из них он говорил так, как будто на свете только его мнение играло роль.

«Если вы еще не дали рецензии на книгу, дорогой, сделайте это сегодня же. Ваше мнение особенно важно.» И каждому он говорил: «Мне решительно все равно, как пойдет книга, но я хочу, чтобы Уилфриду отдали должное». Он и вправду так думал. В течение этого часа разговоров по телефону издатель в нем молчал, зато друг бился за своего друга. Он вышел из будки, вытирая ручьи пота со лба. Было уже половина шестого!

«Выпить чаю — и домой!» — подумал он. Он пришел домой в шесть часов. Тинг-а-Линг, совершенно незаметный, сидел в дальнем углу холла.

— Что с тобой, дружище?

В ответ послышался звук из спальни, от которого у него похолодела кровь, — протяжный, тихий стон.

— Боже мой! — ахнул он и полетел наверх.

В дверях его встретила Аннет. Он слышал, как она говорит что-то по-французски, называя его «mon cher», слышал слова «vers trois heures... и доктор сказал, что не надо беспокоиться, все в порядке». Снова этот стон! Дверь закрылась у него перед носом: Аннет ушла. Майкл остался у дверей; совершенно холодный пот катился по его лицу, и ногти впивались в ладони.

«Вот как становишься отцом! — подумал он. — Вот как я стал сыном!» Опять этот стон! Он не мог оставаться у двери, он не мог решиться уйти. Ведь это может длиться еще очень долго! Он повторял все время: «Не надо волноваться, не надо волноваться!» Легко сказать! Какая бессмыслица! Его мозг, его сердце в поисках облегчения вдруг напали на странную мысль: что если бы там родился не его ребенок, не его, а Уилфрида; как бы он чувствовал себя здесь, на пороге? А ведь это могло случиться, вполне могло, — ведь теперь нет ничего священного. Ничего. Да, кроме того, что человеку дороже его самого, — кроме того, что вот так стонет там за дверью. Он не мог выдержать этого стояния у двери и пошел вниз. Он ходил взад и вперед по медному полу, с сигарой во рту, в бессильной ярости. Почему рождение должно быть таким? И в ответ пришло: «Не везде это так например, в Китае». Думать, что все на свете чепуха, — и потом вот так напороться! То, что рождается такой ценой, должно и будет иметь значение. Об этом он позаботится! Но мозг Майкла отказывался работать; и он стоял неподвижно, весь превратившись в слух. Ничего! Он не мог выдержать хождения по комнате и снова пошел наверх. Сначала — ни звука, потом опять этот стон! На этот раз он убежал в кабинет и метался по комнате, смотря на карикатуры Обри Грина. Он ничего не видел и вдруг вспомнил о «Старом Форсайте», Надо ему сказать!

Он позвонил в «Клуб знатоков», в «Смену» и во все клубы отца, думая, не пошли ли они туда вместе после собрания. И все напрасно. Было уже половина восьмого. Сколько же это еще будет длиться? Он вернулся к дверям спальни: ничего не было слышно. Он пошел в холл. Теперь Тинг-а-Линг лежал у входной двери. «Ему надоело! — подумал Майкл, поглаживая его по спине, и машинально открыл ящик для писем. Только одно письмо —

почерк Уилфрида! Он прочел его у лестницы, лишь частью сознания воспринимая письмо и непрерывно думая о том, другом...

«Дорогой Монт, завтра отправляюсь в путь — хочу пересечь Аравию. Подумал, что надо тебе написать, на случай если Аравия „пересечет“ меня. Я совсем образумился. Здесь слишком чистый воздух для всяких сентиментов, а страсть в изгнании быстро чахнет. Прости, что я тебе доставил столько волнений. С моей стороны было ошибкой вернуться в Англию после войны и слоняться без дела, сочиняя стишки для развлечения светских дам и чернильной братии. Бедная старая Англия — невеселые настали для нее времена! Передай ей привет — и вам обоим тоже.

Твой Уилфрид Дезерт.

P.S. Если ты издал то, что я оставил, передай, что мне причитается, моему отцу. У.Н.» Майкл мельком подумал: «Ну вот и хорошо. А книгато сегодня выходит из печати». Странно! Неужели Уилфрид прав и все это — чистейший вздор, чернильные потоки? Не усугубляется ли этим еще больше болезнь Англии? Может быть, всем надо сесть на верблюдов и пуститься в погоню за солнцем? А все же книги — радость и отдых; и они нужны; Англия должна держаться должна! «Все вперед, все вперед. Отступления нет. Победа или смерть! «... Боже! Опять!.. Стоны смолкли, Аннет вышла к нему.

— Отца, mon cher, отыщите ее отца.

— Пробовал — нигде нет! — задыхаясь, сказал Майкл.

— Попробуйте позвонить на Грин-стрит, к миссис Дарти. Courage! Все идет нормально — теперь уж совсем скоро.

Позвонив на Грин-стрит и добившись наконец ответа, он пошел в кабинет и, открыв дверь, стал ждать «Старого Форсайта». Мельком он заметил круглую дырочку, выжженную в левой штанине, — он даже не заметил запаха гари, он даже не помнил, что курил. Надо подтянуться ради старика. Он услышал звонок и полетел открывать дверь.

— Ну? — спросил Сомс.

— Еще нет. Пойдемте в кабинет — там ближе!

Они поднялись вместе. Седая аккуратная голова, с глубокой складкой между бровями, и глаза, словно углубленные страданием, успокоили Майкла. Бедный старик! Ему тоже нелегко. Оба они, видно, с ума сходят!

— Хотите выпить, сэр? У меня тут есть коньяк.

— Давайте, — сказал Сомс, — все равно что.

С рюмками в руках, привстав, оба прислушались — подняли рюмки — выпили залпом. Они двигались автоматически, как две марионетки на одной веревочке.

— Папиросу, сэр?

Сомс кивнул.

Зажгли папиросы — поднесли их ко рту — прислушались — затянулись выпустили дым. Майкл прижимал левую руку к груди. Сомс — правую. Так они сидели симметрично рядом.

— Ужасно трудно, сэр, извините!

Сомс кивнул головой. Его зубы были стиснуты. Вдруг его рука разжалась.

— Слышите? — сказал он.

Звуки — совсем другие — смутные!

Майкл крепко схватил и сжал что-то холодное, тонкое — руку Сомса.

Так они сидели рука в руке и смотрели на дверь неизвестно сколько времени.

Вдруг просвет двери исчез, на пороге появилась фигура в сером — Аннет!

— Все в порядке! Сын!

XV. ПОКОЙ

Когда Майкл на следующее утро очнулся от глубокого сна, первой его мыслью было: «Флер снова со мной!» Потом он вспомнил.

На его «все хорошо?», шепотом сказанное у дверей, сиделка выразительно закивала головой.

Несмотря на лихорадочное ожидание, он все-таки сумел остаться современным и сказать себе: «Нечего распускаться! Ступай и спокойно позавтракай».

В столовой Сомс презрительно щурился на надбитое яйцо. Он взглянул на вошедшую Майкла и уткнулся в свою чашку. Майкл прекрасно его понимал: ведь вчера они сидели, держась за руки! Он увидел, что у прибора Сомса лежит развернутая финансовая газета.

— Что-нибудь о собрании, сэр? Вашу речь, наверно, расписывают всюю.

Сомс кашлянул и протянул газету. Заголовки гласили: «Бурное собрание — отставка двух директоров — вотум доверия». Майкл бегло просмотрел отчет, пока не дошел до слов:

«Мистер Форсайт, замешанный в это дело директор, в своей довольно длинной речи сказал, что не намерен петь Лазаря. Он заявил, что возмущен поведением пайщиков, что не привык к подозрениям. Он подал прошение об отставке».

Майкл опустил газету.

— Черт возьми! «Замешанный», «подозрения». Они этому придали такой оборот, точно...

— Газеты! — сказал Сомс и снова принялся за еду.

Майкл сел и начал очищать банан. «А ведь сумел красиво умереть, — подумал он. — Бедный старик».

— Знаете, сэр, — сказал он. — Я там был, и вот что я могу сказать: из всех только вы и мой отец возбудили во мне уважение.

— Гм! — промычал Сомс и положил ложку.

Майкл понял, что ему хочется побыть одному, и, проглотив банан, ушел к себе в кабинет. Пока его не позвали к Флер, он решил позвонить отцу.

— Как вы себя чувствуете после вчерашнего, Барт?

Голос сэра Лоренса, ясный, тонкий и высокий, ответил:

— Беднее и мудрее. Каков бюллетень?

— Лучше некуда.

— Поздравляем вас обоих. Мама спрашивает, есть ли у него волосы.

— Еще не видел. Сейчас пойду к нему.

И в самом деле, Аннет кивнула ему из приоткрытой двери.

— Она просит вас принести ей собачку, mon cher.

С Тинг-а-Лингом под мышкой, ступая на цыпочках, Майкл вошел. Одиннадцатый баронет! Он еще ничего не видел, потому что голова Флер склонилась над ребенком. Определенно — волосы у нее стали темнее. Майкл подошел к кровати и благоговейно коснулся ее лба.

Флер подняла голову и открыла его взгляду ребенка, бодро сосавшего ее мизинец.

— Чем не обезьянка? — послышался ее слабый голос.

Майкл кивнул. Конечно, обезьянка — но белая ли, вот вопрос!

— А ты как, дорогая?

— Теперь отлично, но что было... — она перевела дыхание, и ее глаза потемнели. — Тинг, смотри!

Китайская собачка, деликатно наморщив ноздри, попятилась под рукою Майкла. Во всей ее повадке сквозило хитрое осуждение.

«Щенята, — казалось, говорила она. — У нас в Китае это тоже бывает. Мнение свое оставляю при себе».

— Что за глаза! — сказал Майкл. — Ему мы можем и не говорить, что ребенка принес доктор из Челси.

Флер еле слышно засмеялась.

— Пусти его, Майкл.

Майкл поставил собачку на пол, и она убежала в свой угол.

— Мне нельзя разговаривать, — сказала Флер, — но страшно хочется, как будто я

несколько месяцев была немая.

«То же чувство, что и у меня, — подумал Майкл, — она и вправду была где-то далеко-далеко, совсем не здесь».

— Как будто тебя что-то держит, Майкл. Совсем не своей становишься.

— Да, — мягко проговорил Майкл, — устарелая процедура. Есть у него волосы? Мама спрашивала.

Флер обнажила голову одиннадцатого баронета, покрытую темным пушком.

— Как у моей бабушки, но они посветлеют. Глаза у него будут серые. Майкл, а как насчет крестных? Матерью, конечно, Элисон, а кто будет крестным отцом?

Майкл помолчал немного, прежде чем ответить:

— Я вчера получил письмо от Уилфрида. Хочешь, возьмем его? Он все еще там, но я могу держать за него губку в церкви.

— Он пришел в себя?

— По его словам — да.

Майкл не мог прочесть выражение ее глаз, но губы ее слегка надулись.

— Хорошо, — сказала она, — и, по-моему, совершенно достаточно одного крестного. Мои мне никогда ничего не дарили.

— А мне моя крестная дала библию, а крестный — нагоняй. Значит, решено — Уилфрид.

И он наклонился к ней.

В ее глазах ему почудилось насмешливое и чуть виноватое выражение. Он поцеловал ее в голову и поспешил отойти.

У двери стоял Сомс, ожидая своей очереди.

— Только на одну минуту, сэр, — сказала сиделка.

Сомс подошел к кровати и остановился, глядя на дочь.

— Папочка, дорогой! — услышал Майкл.

Сомс погладил ей руку и, как бы выражая свое одобрение младенцу, кивнул и пошел к двери, но в зеркале Майкл увидел, что губы у него дрожат.

Когда Майкл опять спустился в нижний этаж, им овладело сильнейшее желание запеть. Но нельзя было; и, войдя в китайскую комнату, он стал смотреть в окно на залитый солнцем сквер. Эх, хорошо жить на свете! Что ни говори, а этого не станешь отрицать. Пусть задирают носы перед жизнью и смотрят на нее сверху вниз. Пусть возьмется с прошлым и с будущим; ему подавай настоящее!

«Повешу опять „Белую обезьяну“, — подумал он. — Не так-то легко будет этому животному нагнать на меня тоску».

Он пошел в чулан под лестницей и из-под четырех пар пересыпанных нафталином и завернутых в бумагу занавесок достал картину. Он отставил ее немного, чтобы посмотреть на нее в полусвете чулана. И глаза же у этой твари! Все дело в этих глазах.

— Ничего, старина, — сказал он. — Едем наверх, — и он потащил картину в китайскую комнату.

Сомс оказался там.

— Я хочу повесить ее, сэр.

Сомс кивнул.

— Подержите, пожалуйста, пока я закручу проволоку.

Сойдя на медный пол, Майкл сказал:

— Вот и хорошо, сэр, — и отступил посмотреть.

Сомс подошел к нему. Стоя рядом, они глядели на «Белую обезьяну».

— Она не успокоится, пока не получит своего, — сказал наконец Майкл. — Но вот беда — она сама не знает, чего хочет.

Интерлюдия: ИДИЛЛИЯ

В феврале 1924 года Джон Форсайт, только что перенесший испанку, сидел в салоне гостиницы в Кэмдене, штат Южная Каролина, и его светлые волосы медленно вставали дыбом. Он читал о случае линчевания.

Голос у него за спиной сказал:

— Поедьте с нами сегодня на пикник, знаете — к этим древним курганам?

Он поднял голову и увидел своего знакомого, молодого южанина по имени Фрэнсис Уилмот.

— С удовольствием. А кто будет?

— Да только мистер и миссис Пэлмер Харисон, и этот английский романист Гэрдон Минхо, и девочки Блэр и их подруги, и моя сестра Энн и я. Если хотите поразмяться, можете ехать верхом.

— Отлично! Сегодня утром сюда прислали новых лошадей из Колумбии.

— О, да это чудесно! Тогда и мы с сестрой поедем верхом и кто-нибудь из девочек Блэр. А остальных пусть забирают Хэрисоны.

— Про линчевание читали? — сказал Джон. — Какой ужас!

Молодой человек, с которым он говорил, сидел на окне. Джону очень нравилось его лицо цвета слоновой кости, его темные волосы и глаза, тонкий нос и губы и изящная, свободная манера держаться.

— Все вы, англичане, с ума сходите, когда читаете о линчеваниях. У вас там, в Южных Соснах, нет негритянского вопроса. В Северной Каролине он вообще почти не возникает.

— Это правда, я и не считаю, что разбираюсь в нем. Но я не понимаю, почему бы не судить негров таким же судом, как белых. Есть, наверно, случаи, когда просто надо пристрелить человека на месте. Но мне непонятно, как вы можете защищать самосуд. Раз уж человека поймали, надо судить его как следует.

— В этом вопросе, знаете ли, рисковать не рекомендуется.

— Но если человека не судить, как же вы установите его вину?

— Нет, мы считаем, что лучше пожертвовать одним безвинным негром, чем подвергать опасности наших женщин.

— По-моему, нет ничего хуже, как убить человека за то, чего он не делал.

— В Европе — может быть. Здесь — нет. Очень еще все неустойчиво.

— А что говорят о суде Линча на Севере?

— Пишат понемножку, но совершенно напрасно. У нас негры, у них индейцы; думаете, они с ними церемонятся?

Джон Форсайт откинулся в качалке и растерянно нахмурился.

— У нас тут еще слишком много места, — продолжал Фрэнсис Уилмот.

Человеку есть куда скрыться. Так что если мы в чем уверены, то действуем не спрашиваясь.

— Да, каждая страна живет по-своему. А на какие это мы курганы едем?

— Остатки индейских поселений; им, говорят, несколько тысяч лет. Вы с моей сестрой не знакомы? Она приехала только вчера вечером.

— Нет. Когда выезжаем?

— В двенадцать; туда лесом ехать около часа.

Ровно в двенадцать, переодевшись для верховой езды, Джон вышел из отеля. Лошадей было пять, так как верхом пожелали ехать две девочки Блэр. Он поехал между ними, а Фрэнсис Уилмот с сестрой — впереди.

Девочки Блэр были молоденькие и по-американски хорошенькие — в меру яркие, круглолицые, румяные — тип, к которому он привык за два с половиной года, проведенных в Соединенных Штатах. Они сначала были слишком молчаливы, потом стали слишком много болтать. Верхом ездили по-мужски, и очень хорошо. Джон узнал, что они, как и организаторы пикника мистер и миссис Харисон, живут на Лонг-Айленде. Они задавали ему много вопросов об Англии, и Джону, уехавшему отсюда девятнадцати лет, приходилось

выдумывать много ответов. Он начал с тоской поглядывать через уши лошади на Фрэнсиса Уилмота и его сестру, которые ехали впереди в молчании, издали казавшемся чрезвычайно приятным. Дорога шла сосновым лесом, между стройных редких деревьев, по песчаному грунту; солнце светило ясное, теплое, но в воздухе еще был холодок. Джон ехал на гнедом иноходце и чувствовал себя так, как бывает, когда только что выздоровеешь.

Девочки Блэр интересовались его мнением насчет английского романиста — им до смерти хотелось увидеть настоящего писателя. Джон читал только одну его книгу и из действующих лиц помнил только кошку. Девочки Блэр не читали ни одной; но они слышали, что кошки у него «восхитительные».

Фрэнсис Уилмот придержал лошадь и указал на большой холм, по виду действительно насыпанный когда-то людьми. Они все придержали лошадей, посмотрели на него две минуты молча, решили, что это «очень интересно», и поехали дальше. Публика, высадившаяся из двух автомобилей, распаковывала в ложбинке еду. Джон отвел лошадей в сторону, чтобы привязать их рядом с лошадьми Уилмота и его сестры.

— Моя сестра, — сказал Фрэнсис Уилмот.

— Мистер Форсайт, — сказала сестра.

Она посмотрела на Джона, а Джон посмотрел на нее. Она была тоненькая, но крепкая, в длинном темно-коричневом жакете, бриджах и сапогах; волосы короткие, темные, под мягкой коричневой фетровой шляпой. Лицо, бледное, сильно загорелое, выражало какое-то сдержанное напряжение; лоб широкий, чистый, носик прямой и смелый, рот ненакрашенный, довольно большой и красивый. Но особенно поразили Джона ее глаза — как раз такие, какими в его представлении должны быть глаза у русалки. С чуть приподнятыми уголками, немигающие, и карие, и манящие. Он не мог разобрать, не косит ли она самую малость, но если и так, это только украшало ее. Он смутился. Оба молчали. Фрэнсис заявил: «А я, знаете ли, голоден», — и они вместе направились к остальным.

Джон вдруг обратился к сестре:

— Так вы только что приехали, мисс Уилмот?

— Да, мистер Форсайт.

— Откуда?

— Из Нэйзби. Это между Чарлстоном и Саванной.

— А, Чарлстон! Чарлстон мне понравился.

— Энн больше нравится Саванна, — сказал Фрэнсис Уилмот.

Энн кивнула. Она была, по-видимому, неразговорчива, но пока, в небольших дозах, ее голос звучал приятно.

— Скучновато у нас там, — сказал Фрэнсис. — Все больше негры. Энн никогда еще не видела живого англичанина.

Энн улыбнулась. Джон тоже улыбнулся. Разговор замер. Они подошли к еде, разложенной с таким расчетом, чтобы вызвать максимум мускульной и пищеварительной энергии. Миссис Пэлмер Харисон, дама лет сорока, с резкими чертами лица, сидела, вытянув вперед ноги; Гэрдон Минхо, английский романист, пристроил свои ноги более скромно; а дальше сидело множество девушек, все с хорошенькими и отнюдь не скромными ножками; немного в стороне мистер Пэлмер Харисон кривил маленький рот над пробкой большой бутылки. Джон и Уилмоты тоже сели. Пикник начался.

Джон скоро увидел, что все ждут, чтобы Гэрдон Минхо сказал что-нибудь, кроме «да», «да что вы!», "а", "вот именно! ". Этого не случилось. Знаменитый романист был сначала чуть не болезненно внимателен к тому, что говорили все остальные, а потом словно впал в прострацию. Патриотическое чувство Джона было уязвлено, ибо сам он держался, пожалуй, еще более молчаливо. Он видел, что между тремя девочками Блэр и их двумя подругами готовится заговор — на свободе отвести душу по поводу молчаливых англичан.

Бессловесная сестра Фрэнсиса Уилмота была ему большим утешением. Он чувствовал, что она не захочет, да и не вправе будет примкнуть к этому заговору. С горя он стал передавать закуски и был рад, когда период насыщения всухомятку пришел к концу. Пикник

— как рождество в будущем и прошлом лучше, чем в настоящем. Затем корзины были вновь упакованы, и все направились к автомобилям. Обе машины покатали к другому кургану, как говорили — в двух милях от места привала. Фрэнсис Уилмот и две девочки Блэр решили, что поедут домой смотреть, как играют в поло. Джон спросил Энн, что она думает делать. Она пожелала увидеть второй курган.

Они сели на лошадей и молча поехали по лесной дороге. Наконец Джон сказал:

— Вы любите пикники?

— Определенно — нет.

— Я тоже. А ездить верхом?

— Обожаю больше всего на свете.

— Больше, чем танцы?

— Конечно. Ездить верхом и плавать.

— А! Я думал... — и он умолк.

— Что вы думали?

— Ну, я просто подумал, что вы, наверно, хорошо плаваете.

— Почему?

Джон сказал смутившись:

— По глазам.

— Что? Разве они у меня рыбы?

Джон рассмеялся.

— Да нет же! Они, как у русалки.

— Еще не знаю, принять ли это за комплимент.

— Ну конечно.

— Я думала, русалки малопочтенные создания.

— Ну что вы, напротив! Только робкие.

— У вас их много в Англии?

— Нет. По правде сказать, я их раньше никогда не видел.

— Так откуда же вы знаете?

— Просто чувствую.

— Вы, наверно, получили классическое образование, в Англии ведь это, кажется, всем полагается?

— Далеко не всем.

— А как вам нравится Америка, мистер Форсайт?

— Очень нравится. Иногда нападает тоска по родине.

— Мне бы так хотелось попутешествовать.

— Никогда не пробовали? Она покачала головой.

— Сижу дома, хозяйничаю. Но старый дом, вероятно, придется продать хлопком больше не проживешь.

— Я развожу персики около Южных Сосен. Знаете, в Северной Каролине. Это сейчас выгодно.

— Вы живете там один?

— Нет, с матерью.

— Она англичанка?

— Да.

— А отец у вас есть?

— Четыре года как умер.

— Мы с Фрэнсисом уже десять лет сироты.

— Хорошо бы вы оба приехали как-нибудь к нам погостить; моя мать была бы так рада.

— Она похожа на вас?

Джон засмеялся.

— Нет. Она красавица.

Глаза серьезно посмотрели на него, губы чуть-чуть улыбнулись.

— Я бы поехала с удовольствием, но нам с Фрэнсисом нельзя отлучаться одновременно.

— Но ведь сейчас вы оба здесь.

— Завтра уезжаем; мне хотелось увидеть Кэмден. — Глаза опять стали внимательно разглядывать лицо Джона. — Может, наоборот, вы поедете с нами и посмотрите наш дом? Он старый. И Фрэнсису доставили бы удовольствие.

— Вы всегда знаете, что доставит вашему брату удовольствие?

— Конечно.

— Вот это здорово. Но вам правда хочется, чтобы я приехал?

— Ну да.

— Я-то очень хотел бы; ненавижу отели. То есть... ну, вы знаете.

Но так как он и сам не знал, трудно было ожидать, что она знает. Она тронула лошадь, и иноходец Джона перешел на легкий галоп. В просветы нескончаемого соснового леса солнце светило им в глаза; пахло нагретыми сосновыми иглами, смолой и травой; дорога была ровная, песчаная; лошади шли бодро. Джон был счастлив. Странные у этой девушки глаза, манящие; и верхом она ездит даже лучше, чем девочки Блэр.

— Англичане, наверно, все хорошо ездят? — спросила она.

— Почти все, если вообще ездят; но сейчас у нас верховая езда не в почете.

— Так хотелось бы побывать в Англии! Наши предки приехали из Англии в тысяча семисотом году — из Вустершира. Где это?

— Это наш Средний Запад, — сказал Джон. — Только совсем не такой, как у вас. Там много фруктовых садов — красивая местность: белые деревянные домики, пастбища, сады, леса, зеленые холмы. Я как-то на каникулах ездил туда гулять с одним школьным товарищем.

— Должно быть, чудесно. Наши предки были католики. У них было имение Нэйзби; вот мы и свое назвали Нэйзби. А бабушка моя была французская креолка из Луизианы. Правда, что в Англии считают, будто в креолах есть негритянская кровь?

— Мы очень невежественны, — сказал Джон. — Я-то знаю, что креолы это старые испанские и французские семьи. В вас обоих есть что-то французское.

— Во Фрэнсисе — да. А мы не проехали этот курган? Мы уже сделали добрых четыре мили, а говорили — до него только две.

— А не все ли равно? Тот, первый, по-моему, не был так уж потрясающе интересен.

Ее губы улыбнулись; она, наверно, никогда не смеялась по-настоящему.

— А какие в этих краях индейцы? — спросил Джон.

— Наверно не знаю. Если есть, так должно быть, семинолы. Но Фрэнсис думает, что эти курганы были еще до прихода теперешних племен. Почему вы приехали в Америку, мистер Форсайт?

Джон прикусил губу. Сказать причину — семейная распря, неудачный роман — было не так-то просто.

— Я сначала поехал в Британскую Колумбию, но там дело не пошло. Потом услышал о персиках в Северной Каролине.

— Но почему вы уехали из Англии?

— Да просто захотелось посмотреть белый свет.

— Да, — сказала она.

Звук был тихий, но сочувственный. Джон был рад, тем более что она не знала, чему сочувствует. Образ его первой любви редко теперь тревожил его — уже год, даже больше, как это кончилось. Он был так занят своими персиками.

Кроме того, Холли писала, что у Флер родился сын. Вдруг он сказал:

— По-моему, надо поворачивать — посмотрите на солнце.

Солнце, и правда, было уже низко за деревьями.

— Ой, да.

Джон повернул коня.

— Давайте галопом, через полчаса сядет; а луны еще долго не будет.

Они поскакали назад по дороге. Солнце зашло еще скорее, чем он думал, стало холодно, свет померк. Вдруг Джон придержал лошадь.

— Простите, пожалуйста; кажется, мы не на той дороге, по которой ехали с пикника. Я чувствую, что мы сбились вправо. Дороги все одинаковые, а лошади только вчера из Колумбии, знают местность не лучше нашего.

Девушка засмеялась.

— Мы заблудимся.

— Хм! Это не шутка в таком лесу. Ему что, конца нет?

— Наверно, нет. Прямо приключение.

— Да, но вы простудитесь. Ночью здорово холодно.

— А у вас только что была испанка!

— О, это неважно. Вот дорога влево. Поедем по ней или прямо?

— По ней.

Они поехали дальше. Для галопа было слишком темно, скоро и рысью ехать стало невозможно. А дорога извивалась бесконечно.

— Вот так история, — сказал Джон. — Ой, как неприятно!

Они ехали рядом, но он еле-еле разглядел ее улыбку.

— Ну что вы! Страшно забавно.

Он был рад, что она так думает, но не совсем с ней согласен.

— Так глупо с моей стороны. Брат ваш меня не поблагодарит.

— Он же знает, что я с вами.

— Если б еще у нас был компас. Так всю ночь можно проплутать. Опять дорога разветвляется! О черт, сейчас совсем стемнеет.

И не успел он сказать это, как последний луч света погас; Джон едва различал девушку на расстоянии пяти шагов. Он вплотную подъехал к ее лошади, и Энн дотронулась до его рукава.

— Не надо беспокоиться, — сказала она, — вы этим только все портите.

Переложив поводья, он сжал ее руку.

— Вы молодчина, мисс Уилмот.

— О, зовите меня Энн. От фамилий как-то холодно, когда собьешься с дороги.

— Большое спасибо. Меня зовут Джон, по-настоящему — Джолион.

— Джолион — Джон, это хорошо.

— А я всегда любил имя Энн. Подождем, пока взойдет луна, или поедем дальше?

— А она когда взойдет?

— Часов в десять, судя по вчерашнему. И будет почти полная. Но сейчас только шесть.

— Поедем, пусть лошади сами ищут дорогу.

— Ладно. Только если уж они нас куда-нибудь привезут, так в Колумбию, а это не близко.

Они поехали шагом по узкой дороге. Теперь совсем стемнело. Джон сказал:

— Вам не холодно? Пешком идти теплее. Я поеду вперед; не отставайте, а то потеряете меня из виду.

Он поехал вперед и скоро спешился, потому что сам замерз. Ни звука нельзя было уловить в нескончаемом лесу, ни проблеска света.

— Вот теперь я озябла, — послышался голос Энн. — Я тоже слезу.

Так они шли с полчаса, ведя лошадей в поводу и чуть не ошупью находя дорогу; вдруг Джон сказал:

— Посмотрите-ка! Что-то вроде поляны! А что там налево чернеется?

— Это курган.

— Только какой, интересно? Тот, что мы видели, или второй, или еще новый?

— Пожалуй, побудем здесь, пока не взойдет луна, а тогда, может быть, разберемся и

найдем дорогу.

— Правильно! Тут, наверно, и болота есть. Я привяжу лошадей и поищем, где укрыться. А холодно!

Он привязал лошадей с подветренной стороны, а когда повернулся, она была рядом с ним.

— Жутко здесь, — сказала она.

— Найдем уютное местечко и сядем.

Он взял ее под руку, и они двинулись в обход кургана.

— Вот, — сказал вдруг Джон, — здесь копали. Здесь не будет ветра. Он пощупал землю — сухо. — Присядем здесь и поболтаем.

Прислонившись к стенке вырытой ямы, они закурили и сидели бок о бок, прислушиваясь к тишине. Лошади пофыркивали, тихо переступали, больше не было слышно ни звука. Деревья не шумели — лес был редкий, да и ветер стих, и живого было — только они двое и лошади. Редкие звезды на очень темном небе да чернеющие в темноте стволы сосен — больше они ничего не видели. И еще светящиеся кончики папирос и время от времени — в свете их — лица друг друга.

— Вы, наверно, никогда мне этого не простите, — мрачно сказал Джон.

— Ну что вы! Мне страшно нравится.

— Очень мило, что вы так говорите, но вы, наверно, ужасно озябли. Знаете что, возьмите мой пиджак.

Он уже начал снимать его, когда она сказала:

— Если вы это сделаете, я убегу в лес и заблужусь всерьез.

Джон покорился.

— Просто случай, что это вы, а не кто-нибудь из девочек Блэр, — сказал он.

— А вам бы хотелось?

— Для вас — конечно. Но не для меня, нет, право же!

Они повернулись друг к другу, так что кончики их папирос чуть не столкнулись. Едва различая ее глаза, он вдруг ощутил четкое желание обнять ее. Это казалось так нужно и естественно — но разве можно!

— Хотите шоколаду? — сказала она.

Джон съел малюсенький кусочек: шоколад нужно сберечь для нее.

— Настоящее приключение. Ой, как темно! Одна я бы испугалась, тут страшновато.

— Духи индейцев, — проговорил Джон. — Только я не верю в духов.

— Поверили бы, если б вас растила цветная нянька.

— А у вас была?

— Ну да, и голос у нее был мягкий, как дыня. У нас есть один старый негр, который в детстве был рабом. Самый милый из всех наших негров; ему скоро восемьдесят лет, волосы совсем белые.

— Ваш отец ведь уже не мог участвовать в Гражданской войне?

— Нет; два деда и прадед.

— А вам сколько лет, Энн?

— Девятнадцать.

— Мне двадцать три.

— Расскажите мне про свой дом в Англии.

— Теперь у меня там ничего и нет.

Он рассказал ей историю своей юности в сокращенном издании и решил, что она слушает замечательно. Потом попросил ее рассказать о себе и, пока она говорила, все думал, нравится ли ему ее голос. Она запинаясь и проглатывала слова, но голос был мягкий и очень приятный. Когда она кончила свою немудрую повесть — она почти не уезжала из дому, — наступило молчание, потом Джон сказал:

— Еще только половина восьмого. Пойду взгляну на лошадей. А потом вы, может быть, поспите.

Он стал обходить курган и, добравшись до лошадей, постоял, поговорил с ними, погладил их морды. В нем шевелилось теплое чувство покровителя. Хорошая девочка, и храбрая. Такое лицо запомнишь, в нем что-то есть, вдруг он услышал ее голос, тихий, словно она не хотела показать вида, что зовет: «Джон! Ау, Джон!» Он ощупью пошел обратно. Она протянула вперед руки.

— Очень страшно! Шуршит что-то! У меня мурашки по спине бегают.

— Ветер поднялся. Давайте сядем спина к спине, вам будет теплее. Или знаете как — я сяду у стены, а вы прислонитесь ко мне и сможете уснуть.

Только два часа осталось, потом поедem при луне.

Они сели, как он предлагал, она прислонилась к нему, головой уткнулась ему в плечо.

— Уютно?

— Очень. И мурашки кончились. Тяжело?

— Ни капельки, — сказал Джон.

Они еще покурили и поболтали. Звезды стали ярче, глаза привыкли к темноте. И они были благодарны друг Другу за тепло. Джону нравился запах ее волос — как от сена — у самого его носа. Он с удовольствием обнял бы ее и прижал к себе. Но он этого не сделал. Однако ему было нелегко оставаться чем-то теплым, безличным, чтобы ей только было к чему прислониться. В первый раз после отъезда из Англии он испытывал желание обнять кого-нибудь — так сильно он тогда обжегся. Ветер поднялся, прошумел в деревьях, опять улегся; стало еще тише. Ему совсем не хотелось спать, и казалось странным, что она спит — ведь спит, не двигается! Звезды мерцали, он стал пристально смотреть на них. Руки и ноги у него затекли, и вдруг он заметил, что она и не думает спать. Она медленно повернула голову, и он увидел ее глаза — серьезные, манящие.

— Вам тяжело, — сказала она и приподнялась, но его рука вернула ее на место.

— Ни капельки, только бы вам было тепло и уютно.

Голова легла обратно; и бдение продолжалось. Изредка они переговаривались о всяких пустяках, и он думал: «Занятно — можно прожить месяцы со знакомыми людьми и знать их хуже, чем мы теперь будем знать друг друга».

Опять наступило долгое молчание; но теперь Джон обхватил ее рукой, так было удобнее обоим. И он начал подумывать, что луне, собственно, и не к чему всходить. Думала ли Энн то же самое? Он не знал. Но если и думала, луне было все равно, так как он вдруг понял, что она уже тут, где-то за деревьями, — странное спокойное мерцание стало излучаться в воздухе, поползло по земле, исходило из стволов деревьев.

— Луна! — сказал он.

Энн не двинулась, и сердце его заколотилось. Вот как! Ей, как и ему, не хотелось, чтобы луна всходила! Медленно неясное мерцание наливалось светом, кралось между стволами, окутало их фигуры; и мрак рассеялся. А они все сидели не шевелясь, словно боясь нарушить очарование. Луна набралась сил и в холодном сиянии встала над деревьями; мир ожил. Джон подумал: «Можно ее поцеловать?» — и сейчас же раздумал. Да разве она позволит! Но, словно угадывая его мысль, она повернула голову и посмотрела ему в глаза. Он сказал:

— Я за вас отвечаю.

Послышался легкий вздох, и она встала. Они стояли, потягиваясь, вглядываясь в побелевший таинственный лес.

— Посмотрите, Энн, курган тот самый! Вот тропинка к тому овражку, где мы ели. Теперь-то мы найдем дорогу.

— Да, — Интонация была для него непонятной, Они подошли к лошадям, отвязали их и сели. Вдвоем они теперь, конечно, найдут дорогу; и они тронулись в путь. Ехали рядом.

Джон сказал:

— Ну вот, будет что вспомнить.

— Да, я никогда не забуду.

Больше они не говорили, только советовались о дороге, но скоро стало ясно, куда

ехать, и они поскакали. Вот и луг, где играли в поло, — у самой гостиницы.

— Ступайте успокойте вашего брата. Я отведу лошадей и сейчас вернусь.

Когда он вошел в салон, Фрэнсис Уилмот, лицо не переодевшись после поездки, сидел там один. У него было странное выражение лица — не то чтобы враждебное, но, уж конечно, и не дружелюбное.

— Энн прошла наверх, — сказал он. — Вы, по-видимому, неважно ориентируетесь. Я сильно беспокоился.

— Простите меня, пожалуйста, — смиренно сказал Джон, — я забыл, что лошади не знают местности.

— Что ж, — сказал Фрэнсис Уилмот и пожал плечами.

Джон в упор посмотрел на него.

— Уж вы не воображаете ли, что я отстал нарочно? А то у вас это на лице написано.

Фрэнсис Уилмот опять пожал плечами.

— Простите, — сказал Джон, — но вы, кажется, забыли, что ваша сестра — порядочная женщина, с которой не станешь вести себя, как последний мерзавец.

Фрэнсис Уилмот не отвечал; он отошел к окну и глядел на улицу. Джон был очень зол; он присел на ручку кресла, внезапно почувствовав страшную усталость. Сидел и хмуро смотрел в пол. Вот черт! Он и сестре устроил сцену? Если так...

Голос за его спиной произнес:

— Я, знаете, не то хотел сказать! Извините, пожалуйста, я просто очень беспокоился. Руку!

Джон вскочил, и они обменялись рукопожатием, глядя прямо в глаза друг другу.

— Вы, наверно, совсем вымотались, — сказал Фрэнсис Уилмот. — Пойдемте ко мне; у меня там есть фляжка. Я уж и Энн дал глотнуть.

Они поднялись наверх. Джон сел на единственный стул, Фрэнсис Уилмот на кровать.

— Энн говорила, что звала вас ехать к нам завтра. Надеюсь, вы не раздумаете?

— Я бы с наслаждением.

— Ну, вот и отлично!

Они выпили, поболтали, покурили.

— Спокойной ночи, — вдруг сказал Джон, — а то я здесь у вас засну.

Они опять пожали друг другу руки, и Джон, пошатываясь, отправился к себе. Он уснул мгновенно.

На следующий день они втроем поехали через Колумбию и Чарлстон в имение Уилмотов. Дом стоял в излучине красноватой реки, окруженный хлопковыми полями и болотами, на которых росли вечнозеленые дубы, унылые, обвешанные флоридским мхом. Прежние лачуги рабов, в которых теперь жили только собаки, еще не были снесены. Дом был двухэтажный, с двумя деревянными лестницами, ведущими на увитую систарией веранду; он сильно нуждался в покраске. Комнаты все были проходные, в них висели старые портреты умерших Уилмотов и де Фревилей, да бродили негры, переговариваясь тягучими, мягкими голосами.

Джону ни разу еще не было так хорошо, с самого приезда в Новый Свет, три с половиной года назад. По утрам он возился на солнышке с собаками или пытался писать стихи, так как молодые хозяева были заняты. После обеда он ездил верхом с ними обоими или с одной Энн. Вечерами учился у нее играть на гавайской гитаре перед камином, который топили, когда заходило солнце, или слушал, как Фрэнсис рассказывал о разведении хлопка с ним, после той минутной размолвки, он был опять в самых лучших отношениях.

С Энн он говорил мало; они как бы снова погрузились в то молчание, которое началось, когда они сидели в темноте у старого индейского кургана. Но он следил за ней; он все время старался поймать серьезный, манящий взгляд ее темных глаз. Она казалась ему все менее и менее похожей на других знакомых девушек; была быстрее их, молчаливее, самостоятельнее. Дни бежали, солнце грело, по ночам пахло дымом лесных пожаров; и каникулы Джона подходили к концу. Он уже умел играть на гавайской гитаре, и под ее аккомпанемент они

исполняли негритянские песни, арии из опереток и прочие бессмертные произведения искусства.

Настал последний день, и Джона охватило смятение. Завтра рано утром он уезжает в Южные Сосны, к своим персикам! В тот день, когда он в последний раз ездил с ней верхом, молчание было почти неестественное, и она даже не смотрела на него. Джон пошел наверх переодеваться, унося в душе ужас. Теперь он знал, что хочет увезти ее с собой, и был уверен, что она не поедет. Как скучно думать, что нельзя будет больше ловить на себе ее взгляд. Он изголодался от желания поцеловать ее. Он сошел вниз угрюмый и сел в кресло перед горящим камином; теребил за уши рыжего сеттера, смотрел, как в комнате темнеет. Может быть, она даже не придет попеть напоследок. Может быть, ничего больше не будет — только ужин и вечер втроем; не удастся даже сказать, что он любит ее, и услышать в ответ, что она его не любит. И он тоскливо думал: «Я сам виноват — дурак, зачем молчал, упустил случай».

В комнате стемнело, только камин горел; сеттер уснул. Джон тоже закрыл глаза. Так, казалось, было лучше ждать... самого худшего. Когда он открыл глаза, она стояла перед ним с гитарами.

— Хотите поиграть, Джон?

— Да, — сказал Джон, — давайте поиграем. В последний раз, — и он взял гитару.

Она села на коврик перед камином и стала настраивать. Джон соскользнул на пол, где лежал сеттер, и тоже стал настраивать. Сеттер встал и ушел.

— Что будем петь?

— Я не хочу петь, Энн. Пойте вы. Я буду аккомпанировать.

Она не смотрит на него! И не будет смотреть! Все кончено! Дурак, что он наделал!

Энн запела. Она пела протяжную песню — зов испанской горянки. Джон щипал струны, а мелодия щипала его за сердце. Она допела до конца, спела еще раз, и ее взгляд передвинулся. Что? Она смотрит на него наконец! Не надо показывать вида, что он заметил. Уж очень хорошо — этот долгий, темный взгляд поверх гитары. Между ними была ее гитара и его. Он отшвырнул эту гадость. И вдруг, подвинувшись на полу, обнял девушку. Она молча уронила голову ему на плечо, как тогда, у индейского кургана. Он наклонился щекой к ее волосам. От них пахло, как и тогда, сеном. И как тогда, в лунном свете, Энн закинула голову, так и теперь она повернулась к нему. Но теперь Джон поцеловал ее в губы.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке TheLib.Ru](http://TheLib.Ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

[Другие книги серии «Сага о Форсайтах»](#)